

Нобелевская
премия
по литературе
2013 года

Элис Манро

Давно хотела тебе сказать

18+

PREMIUM

Давно хотела тебе сказать (сборник)

Элис Манро

Аннотация
Элис Манро. Давно хотела тебе сказать (сборник)
Давно хотела тебе сказать. Перевод Нины Жутовской
Материал. Перевод Андрея Степанова
Как я познакомилась со своим будущим мужем. Перевод Наталии Роговской
Хождение по водам. Перевод Андрея Степанова
Умение прощать. Перевод Наталии Роговской
Просто скажи – да или нет. Перевод Ирины Комаровой
Лодка-находка. Перевод Александры Глебовской
Палачи. Перевод Александры Глебовской
Марракеш. Перевод Александры Глебовской
Испанка. Перевод Сергея Сухарева
Зимняя непогода. Перевод Наталии Роговской
Поминки. Перевод Андрея Степанова
Долина Оттавы. Перевод Ирины Комаровой

Аннотация

Элис Манро давно называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. В тринадцати рассказах сборника Манро «Давно хотела тебе сказать» события дня сегодняшнего часто связаны с прошлым, о котором никто, кроме рассказчика, не знает. Как и в жизни, свет и тьма, признания и умолчания тесно соседствуют в этих обманчиво-простых историях, способных каждый раз поворачиваться к нам новой гранью. Литературный критик «Нью-Йорк таймс» назвал рассказы Манро трагикомедиями нравов, а их автора – создательницей нового оригинального жанра, не похожего на все, что читатели знали раньше.

Элис Манро
Давно хотела тебе сказать (сборник)

Alice Munro
SOMETHING I'VE BEEN MEANING TO TELL YOU
Copyright © 1974, copyright renewed 2002 by Alice Munro
All rights reserved

© А. Глебовская, перевод, 2015
© Н. Жутовская, перевод, 2015
© И. Комарова, перевод, 2015
© Н. Роговская, перевод, 2015
© А. Степанов, перевод, 2015
© С. Сухарев, перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

* * *

Давно хотела тебе сказать
Перевод Нины Жутовской

— Уж он-то знает, как окрутить женщину, — сказала Эт, обращаясь к Чар.

Не факт, что Чар побледнела, услышав эти слова: Чар от природы была ужасно бледная. Теперь, с поседевшими волосами, она и вовсе была похожа на привидение. Однако все так же красива, этого не отнять.

— Ему неважно, молодая или старая, худая или толстая, — не унималась Эт. — Для него пускать женщинам пыль в глаза — все равно что дышать. Надеюсь только, что бедняжки не клюнут на эту удочку.

— Я бы за них не беспокоилась, — ответила Чар.

Накануне Эт воспользовалась приглашением Блейки Нобла съездить с ним на экскурсию и послушать, что он там болтает. Чар тоже была приглашена, но, конечно, не пошла. Блейки Нобл сам водил свой автобус. Внизу автобус был покрашен красной краской, а поверху шли полосы, как на маркизе. Сбоку надпись: «Экскурсии на бе-

рег озера. Индейские захоронения. Каменные сады. Особняк миллионера. Водитель и экскурсовод Блейки Нобл». Блейки жил в гостиничном номере и вместе с помощником следил за гостиничной территорией — косил траву, подрезал живую изгородь и копал клумбы. «Так низко пасть!» — сказала Эт, когда в начале лета они узнали, что Блейки вернулся. Эт и Чар были давно с ним знакомы.

Вот так Эт оказалась втиснутой в автобус вместе с незнакомыми экскурсантками; впрочем, еще до наступления вечера она успела со многими подружиться, и кое-кто пообещал прислать ей жакеты, которые требовалось выпустить, как будто у нее и без того мало работы. Но это так, к слову. Главное в поездке было приглядеться к Блейки.

Что, в сущности, он мог показать экскурсантам? Несколько поросших травой курганов над мертвыми индейцами, место со странными по форме и мерзкими на вид серовато-белыми камнями, не слишком напоминающими растения (с таким же успехом можно было объявить это древним кладбищем), и старый уродливый дом, построенный на деньги от продажи алкоголя. Блейки старался изо всех сил. Исторический

очерк об индейцах, затем научный доклад об известняке. Эт понятия не имела, сколько правды в том, что он говорит. Артур бы знал. Но Артура с ней не было. Не было никого, кроме глупых женщин, мечтавших пройтись с Блейки от одной достопримечательности до другой, перемолвиться с ним словечком за чашкой чая в Известняковом павильоне, предвкушая, как сильная рука экскурсовода подхватит их под локоток, а другая легонько придержит за талию, когда они станут выходить из автобуса. («Я не экскурсантка, — зашипела Эт, когда он попытался испробовать на ней этот приемчик.)

Блейки рассказывал, будто в особняке обитает привидение. Эт слышала об этом впервые, хотя всю жизнь прожила в десяти милях от «достопримечательности». Якобы некая женщина убила здесь своего мужа, сына миллионера. По крайней мере, все думают, что убила.

— Как? Как убила? — заверещала одна дамочка, впадая в экстаз.

— Ах, женщинам всегда нужно знать подробности — как убили, чем убили, — заворковал Блейки масляным голосом, насмешливым и обожающим. — Смерть несчастного наступила от медленнодействующего яда. Во всяком случае,

так говорят. Но это все слухи, местные сплетни. — («*Местные?* Вот уж не ври!» — про себя подумала Эт.) — Жене, видите ли, не нравились дамочки, с которыми он водил дружбу. Ой не нравились.

Блейки поведал, что привидение бродит по саду, между рядами голубых елей. Причем это не убитый, а его жена, которая скорбит об отравленном супруге. И Блейки печально улыбнулся сидевшим в автобусе. Поначалу Эт казалось, что в его внимании к дамам нет ни капли искренности, что это обычное заигрывание по долгу службы, отработка затраченных экскурсантками денег. Но постепенно у нее сложилось иное впечатление. К каждой женщине, с которой он разговаривал, — и неважно, толстуха она, худышка или дурочка, — Блейки обращался с таким видом, словно в ней есть что-то, что ему непременно нужно отыскать. У него был нежный, смеющийся, но, в сущности, серьезный и пристальный взгляд (возможно, такой взгляд появляется у мужчин, когда они наконец переходят к физической близости, чего Эт уже никогда не узнает?), как будто ему вдруг вздумалось стать глубоководным ныряльщиком и погружаться все ниже и ниже, сквозь пустоту, холод и обломки кораблекрушений ради того, чтобы найти то

единственное, к чему лежит его сердце, что-то небольшое и ценное, но трудноразличимое, вроде рубина на океанском дне. Ей очень хотелось описать Чар этот взгляд. Уж та наверняка его видела. Но знает ли Чар, с какой легкостью Блейки раздает его направо и налево?

В то лето Чар и Артур планировали съездить посмотреть Йеллоустонский парк и Большой каньон, но так и не поехали. К концу учебного года у Артура начались приступы головокружения, и врач велел ему лежать в постели. У него обнаружилось сразу несколько проблем — анемия, перебои в сердце и неполадки с почками. Эт волновалась, нет ли у Артура лейкемии. От переживаний она даже стала просыпаться ночью.

— Не дури, — спокойно сказала ей Чар. — Он просто устал.

Вечерами, поднявшись с постели, Артур выходил к ним в халате. И тут как раз являлся с визитом Блейки Нобл. Говорил, что его гостиничный номер — это конура над кухней и его скоро сварят там на пару́. Тем приятнее ему посидеть на крыльце в прохладе. Они играли в игры, которые любил Артур, — игры школьного учителя. Кто больше знает названий городов, кто составит больше слов из имени Бетховен. То-

гда выиграл Артур. Он составил тридцать четыре слова. И сиял от счастья.

— Можно подумать, ты святой Грааль нашел, — сказала Чар.

Потом они сыграли в игру «Угадай, кто я». Каждый должен был задумать какого-нибудь — реального или вымышленного, умершего или ныне здравствующего — человека или животное, а остальным следовало догадаться, кто это, задав самое большее двадцать вопросов. Эт поняла, кто Артур, после тринадцатого вопроса: сэр Галахад[1].

— Не ожидал, что у тебя получится так быстро.

— Просто я вспомнила, как Чар упомянула святой Грааль.

— «Я силой десяти богат, — процитировал Блейки Нобл, — поскольку чист душой»[2]. Надо же, до сих пор помню.

— Ты бы лучше выбрал короля Артура. Он твой тезка.

---

[1] Сноски: 1

В легендах о короле Артуре и рыцарях Круглого стола Галахад — рыцарь, сын Ланселота, воплощение отваги и благородства, единственный, кому явился священный Грааль. — *Здесь и далее — примеч. переводчиков.*

[2] Сноски: 2

Строки из стихотворения А. Теннисона «Сэр Галахад» (перевод Светланы Лихачевой).

— Это верно! Король Артур был женат на самой красивой женщине на свете.

— Ха! — сказала Эт. — Всем известно, чем их история закончилась.

Чар пошла в гостиную и в темноте села за пианино.

Цветы, что весною цветут, тра-ля,
В этом деле совсем ни при чем...[3]

Однажды, в прошлом июне, Эт, запыхавшись, примчалась домой и крикнула: «Знаешь, кого я встретила на улице в центре города?», и Чар, которая, стоя на коленях, собирала клубнику, ответила: «Блейки Нобла».

— Ты его видела!

— Нет, — сказала Чар. — Просто догадалась по твоему голосу.

Его имя они не произносили тридцать лет. Эт была слишком потрясена, чтобы найти объяснение, оно пришло к ней позже. Почему Чар должна была удивиться? В стране ведь существует почтовая служба. Ее никто не отменял.

— Я спросила его про жену, — сказала она. — Про ту, с куклами. — (Как будто Чар могла

---

[3] Сноски: 3

Слова из комической оперы У. Гилберта и А. Салливана «Микадо» (1885).

забыть.) — Говорит, она давно умерла. Мало того, он снова женился, так и эта тоже умерла. Вряд ли жены его были богатые. А куда делись деньги Ноблов от продажи гостиницы?

— Этого нам знать не дано, — сказала Чар и съела клубничину.

Гостиница только недавно снова открылась. Ноблы продали ее в двадцатых, и некоторое время город использовал здание под больницу. Теперь ее купили какие-то люди из Торонто, отремонтировали столовую, добавили коктейльный зал, привели в порядок лужайки и сад, хотя теннисный корт, похоже, не подлежал восстановлению. Вновь появилась площадка для игры в крокет. В летние месяцы гостиницу заполняли постояльцы. Но это была уже совсем не та публика, что когда-то. Пожилые пары. Много вдов и одиноких женщин. Народ уже не сбегался встречать их к причалу, что в квартале от гостиницы. Да и пароходики больше не ходили.

Когда Эт в первый раз лицом к лицу столкнулась на улице с Блейки Ноблом, она оторопела и с трудом сохраняла невозмутимость. На нем был кремовый костюм, а волосы, которые раньше выгорали на солнце, теперь были выбелены навсегда — сединой.

— Блейки! Смотрю на тебя и думаю: это или ты, или трубочка с ванильным мороженым. Могу поспорить, ты не знаешь, кто я такая.

— Ты Эт Десмонд и ничуть не изменилась, только остригла косички.

Он чмокнул ее в лоб, нахал.

— Так, значит, ты решил наведаться к призракам прошлого, — сказала Эт, думая, не заметил ли их кто.

— Не наведаться, а самому явиться таким призраком.

Он рассказал ей, как до него дошли слухи, что гостиница снова открылась, и что до этого он работал водителем на экскурсионном автобусе, возил туристов во Флориде и Банфе. И в ответ на ее вопрос сообщил, что у него было две жены. Но не спросил ее, замужем ли она, считая само собой разумеющимся, что замуж она не вышла. Замужем ли Чар, он не спрашивал, но Эт сама ему сказала.

Эт хорошо помнила, когда впервые осознала, что Чар красавица. Она разглядывала фотографию: Чар, она сама и их брат — тот, что утонул. На фото Эт было десять, Чар четырнадцать, а Сэнди семь, и старше он не стал. Их сфотографировали всего за несколько недель до того

дня, дольше которого брату не суждено было прожить. Эт сидела в кресле без подлокотников, а Чар стояла позади нее, опершись на спинку. Сэнди в матросском костюмчике расположился, скрестив ноги, на полу — или на мраморной террасе, как можно было подумать благодаря всего лишь пыльной пожелтевшей ширме, создававшей на снимке иллюзию колонны, драпировки и пейзажа из тополей и фонтанов на заднем плане. Перед съемкой Чар заколола челку и подняла волосы повыше, надела ярко-голубое шелковое платье — цвет, конечно, на фотографии не был виден, — доходившее ей до щиколоток и отделанное сложным бархатным узором. Она слегка улыбалась, спокойная и уверенная в себе. Ей можно было дать лет восемнадцать, а то и все двадцать два. Ее красота не имела ничего общего с прелестью аппетитных милашек, которую в те времена тиражировали в календарях и на крышках коробок для сигар: ее красота была пронзительная и хрупкая, непокорная и дразнящая.

Эт долго смотрела тогда на снимок, а потом пошла в кухню взглянуть на Чар. Был день стирки. Женщина, приходившая помогать по хозяйству, проворачивала выстиранную одежду через

валки для выжимания, мать села передохнуть и смотрела невидящим взглядом сквозь прозрачную дверь (она так и не пережила гибель Сэнди, да никто и не надеялся, что переживет). Чар крахмалила отцовские воротнички. Отец держал на главной площади табачно-конфетную лавку, и ему каждый день требовался свежий воротничок. Эт приготовилась увидеть перемену в Чар, ведь теперь и фон был совсем не тот, что на фотографии. Но ничего такого не произошло. Почти надменная гармония, замеченная Эт на снимке, и теперь была видна в лице наклонившейся над крахмальным тазом Чар, молчаливой и недовольной (она ненавидела дни стирки, жару и пар, тяжелые мокрые простыни, чавканье стиральной машины… по правде говоря, она вообще не любила домашнюю работу). Эт пришлось понять, без особого, впрочем, удовольствия, что волшебство имеет вполне реальные черты и они проступают там и тогда, где и когда ты этого вовсе не ожидаешь. Она почти уверовала в то, что красавицы существуют только в сказках. Они с Чар бегали смотреть, как по воскресеньям пассажиры сходили с прогулочного пароходика и шли к гостинице. Столько было белого, что слепило глаза, — платья и зон-

тики дам, летние костюмы и панамы мужчин, не говоря о солнечных бликах на воде, и все это под звуки оркестра. Но внимательно разглядывая дам, Эт обнаруживала недостатки. Грубая кожа или толстый зад, цыплячьи шеи или тусклые волосы, закрученные в пышные прически, скорее всего с помощью бигудей. Эт всегда все подмечала, с ранней юности. В школе ее уважали за самообладание и острый язычок. Когда кого-то из девочек вызывали к доске, именно Эт неизменно сообщала ей, что у нее на чулке дырка или распоролась подшивка на подоле. Именно Эт передразнивала учительницу (но всегда в углу школьного двора, в безопасном месте, чтобы никто не услышал), как та читала в классе «На погребение сэра Джона Мура»[4].

И все же Эт было бы приятнее обнаружить красавицу среди приезжих дам, чем признать ее в Чар. Так было бы куда правильнее. Куда уместнее. Только не Чар в мокром переднике, с недовольным видом наклонившаяся над тазом с крахмалом! Эт была из тех, кто не любит противоречий, не любит, когда что-то оказывается не на своем месте, не любит загадок и крайно-

[4] Сноски: 4

Хрестоматийное английское стихотворение, написанное Чарльзом Вулфом (1816) и переведенное на русский язык И. Козловым (1829).

стей.

Ей не нравилось, что в людском сознании гибель Сэнди смутно связана с ней, не нравилось, что кто-то помнит, как отец нес с пляжа тело брата. Кое-кто мог даже видеть, как в сумерках она, надев спортивные штаны, крутила «колесо» на лужайке перед погруженным в траур домом. Недаром однажды в парке она скривила губы — правда, никто этого не заметил, — когда Чар сказала: «Это мой младший братик. Это он утонул».

Из парка был виден пляж. Они стояли втроем с Блейки Ноблом, сыном владельца гостиницы, и Блейки сказал: «Такие волны бывают очень опасны. Года три-четыре назад здесь утонул ребенок».

А Чар сказала — надо отдать ей должное, в ее голосе не было трагизма, скорее, легкое удивление, что он так мало наслышан о жителях Мок-Хилла: «Это мой младший братик. Это он утонул».

Блейки Нобл был не старше Чар — будь он старше, то сражался бы во Франции, — но и жить всю жизнь в Мок-Хилле у него нужды не было. Местных он знал гораздо хуже, чем постоянных клиентов в гостинице отца. Каждую зиму он с родителями уезжал на поезде в Калифорнию.

Видел брызги прибоя на берегу Тихого океана. Присягнул на верность американскому флагу. У него были демократичные манеры, загорелая кожа. В те времена загар обычно приобретали не на отдыхе, а во время работы. Волосы Блейки выгорели на солнце. Его красота бросалась в глаза почти так же, как красота Чар, только была подпорчена чрезмерной обходительностью, которой Чар не страдала.

На те годы пришелся расцвет Мок-Хилла, как и других городков, расположенных вокруг озер, а с ними вместе и гостиниц, которые позднее превратятся в оздоровительные лагеря благотворительной сети «Саншайн» для больных городских детей, туберкулезные санатории и бараки для пилотов-инструкторов британских ВВС в годы Второй мировой войны. Каждую весну гостиницу заново красили белой краской, вдоль ограды ставили выдолбленные бревна с посаженными в них цветами, на цепях подвешивали цветочные горшки. На лужайках расставляли воротца для игры в крокет, устанавливали деревянные качели и раскатывали теннисный корт. А те горожане, кому гостиница была не по карману, — молодые рабочие, продавщицы и девушки с фабрик — снимали небольшие коттеджи, сто-

явшие в ряд и соединенные забором из сетки: за ним скрывались мусорные ведра и дворовые уборные. Эти коттеджи растянулись далеко по пляжу. Местные девицы, которым матери объясняли, что можно делать, а чего нельзя, твердо знали, что ходить в ту сторону не следует. Но Чар никто не указывал, что ей делать, поэтому она гуляла среди бела дня по пляжной прогулочной дорожке перед коттеджами и для компании брала с собой Эт. Стекол в окнах коттеджей не было, только деревянные ставни, закрывавшиеся на ночь. Из темных проемов до них пару раз доносились нечленораздельные, грустные и пьяные приглашения зайти в гости, не более того. Внешность Чар и ее манера держаться не привлекали мужчин, скорее смущали. В старших классах мок-хиллской школы у нее не завелось ни одного дружка. Блейки Нобл был первым, если был.

До чего дошло дело у Чар с Блейки Ноблом тем летом 1918 года? Эт точно не знала. Он не бывал у них дома, разве что заглядывал раз-другой. Он все время трудился в гостинице. Каждый день возил по дороге от озера открытый экскурсионный фургон с тентом, показывал отдыхающим индейские захоронения и каменный сад, а также — сквозь деревья — готический особняк,

построенный винокуром из Торонто и прозванный Замком грога. Он также отвечал за эстрадное представление в гостинице, устраиваемое раз в неделю силами местных талантов и приглашенных гостей, певцов и комиков, которых привозили специально для такого случая.

Получается, в распоряжении Блейки и Чар было лишь позднее утро.

— Пойдем, — говорила Чар, — мне нужно в центр.

И она действительно шла на почту, проходила полдороги вокруг площади и только потом сворачивала в парк. Вскоре и Блейки Нобл появлялся из боковой двери гостиницы и бежал к ним вприпрыжку по крутой тропинке. Иногда он игнорировал тропинку и просто перемахивал через забор, чтобы произвести впечатление. Бегал он вприпрыжку и прыгал через забор совсем не так, как это делал бы обычный школьник из Мок-Хилла, неуклюже, но естественно. Блейки Нобл вел себя как подражающий мальчику взрослый мужчина; посмеиваясь над собой, он двигался грациозно, словно артист.

— Он себя слишком любит, правда, Чар? — сказала Эт, глядя на Блейки. Она с самого начала всем своим поведением давала понять, что тот

ей не нравится.

— Еще как любит, — согласилась Чар.

И передала ее слова Блейки:

— Эт говорит, что ты себя слишком любишь.

— И что ты ей сказала?

— Что у тебя нет другого выхода, раз больше тебя некому любить.

Но Блейки не обиделся. Он-то, напротив, с самого начала вел себя так, будто Эт ему нравится. Одним быстрым движением он срывал ленточку с ее волос и трепал ее аккуратно заплетенные баранками косички. Он рассказывал сестрам про выступавших на гостиничных концертах артистов. Говорил, что исполнитель шотландских баллад — пьяница и носит корсеты, что пародистка даже в гостиничном номере надевает голубой пеньюар с перьями, а чревовещательница разговаривает со своими куклами — их зовут Альфонс и Алиса, — как будто это живые люди, и сажает их на постель по обе стороны от себя.

— А ты откуда знаешь? — спросила Чар.

— Я приносил ей завтрак.

— Я думала, у вас для этого есть горничные.

— Наутро после выступления завтрак приношу я. Тогда же вручаю им конверт с гонораром и уведомление об окончании контракта. Некото-

рые норовят остаться на неделю, если не получат официального извещения. Представляете — она сидит в постели, кормит кукол кусочками бекона и разговаривает с ними, а потом за них отвечает. Вы бы в обморок упали, если бы увидели.

— Наверное, она чокнутая, — спокойно сказала Чар.

В то лето Эт как-то раз проснулась ночью и вспомнила, что на веревке осталось висеть ее розовое кисейное платье, которое она днем постирала в тазу. Ей показалось, будто начинается дождь и она слышит, как застучали первые капли. Она ошиблась: это шуршали листья; но, встав посреди ночи, она не сразу сообразила, что к чему. Ей померещилось, что уже глубокая ночь, однако позже, размышляя о случившемся, она пришла к выводу, что на самом деле, наверное, было около двенадцати. Эт встала, спустилась вниз по лестнице, включила свет в кухне и вышла через черный ход. Стоя на веранде, она потянула к себе бельевую веревку. И тут, считай, прямо у нее под ногами из травы рядом с верандой, в том месте, где разрастался большой, как дерево, лохматый куст сирени, приподнялись две фигуры — они не встали и даже не сели, а только подняли головы, словно с крова-

ти, все еще сплетенные телами, хотя их не было видно. Свет из кухни падал не прямо во двор, но освещал его достаточно, чтобы Эт разглядела лица. Блейки и Чар.

Она не видела, в каком состоянии их одежда, и не могла понять, насколько далеко они зашли или собирались зайти. Она и не хотела видеть. Ей хватило их лиц. Большие и распухшие губы, измятые и шершавые щеки, провалы вместо глаз. Эт оставила платье, убежала в дом, бросилась в постель и, к собственному удивлению, тут же заснула. На следующий день Чар не сказала ей ни слова о том, что произошло. Только сообщила:

— Я занесла в дом твое платье, Эт. Подумала, что может пойти дождь.

Как будто она не видела Эт на веранде, когда та тянула бельевую веревку! Эт задумалась. Она знала, что, если скажет: «Ты же меня видела», Чар скорее всего ответит, что ей, Эт, все приснилось. Она решила: пусть Чар думает, что смогла ее провести, если Чар и в самом деле так думает. Зато Эт теперь кое-что знает: она знает, какой становится Чар, когда теряет свою власть, отрекается от нее. Утопленник Сэнди с забившейся в ноздри зеленой тиной и тот не казался таким потерянным.

Перед Рождеством в Мок-Хилл пришло известие, что Блейки Нобл женился. Его женой стала чревовещательница, та, что с Альфонсом и Алисой. Куклы, наряженные в вечерние платья, с набриолиненными прическами в стиле Вернона и Айрин Касл[5], запомнились обитателям городка гораздо лучше, чем сама артистка. Единственное, что люди помнили точно, — это что ей было не меньше сорока. И девятнадцатилетний мальчик! А все потому, что его воспитывали не так, как других: разрешали самому вести гостиничный бизнес, возили в Калифорнию, позволяли общаться с кем попало. А в результате — разврат. Как и следовало ожидать.

Чар выпила отраву. Так она думала. Синьку для белья. Первое, что попалось ей под руку на полке в кухонной кладовке. Эт вернулась из школы домой (новость она услышала еще в полдень от самой Чар, которая, усмехнувшись, спросила: «Ну что, похоже, это удар в самое сердце?») и обнаружила, что Чар тошнит в туалете.

— Пойди принеси медицинский справочник, — велела ей Чар, непроизвольно издав жуткий рык. — Прочитай, что там пишут про отравле-

---

[5] Сноски: 5
Знаменитые американские танцоры начала XX века.

ние.

Эт не послушалась и хотела звонить доктору. Чар, покачиваясь, вышла из туалета, держа бутыль с отбеливателем, которая всегда стояла за ванной.

— Если не повесишь трубку, я выпью всю бутыль, — шепотом прохрипела она.

Мать скорее всего спала за закрытой дверью.

Эт повесила трубку и открыла уродливую старую книгу, в которой давным-давно прочла о том, как рождаются дети, каковы признаки смерти и что ко рту умирающего надо подносить зеркало. Эт по ошибке подумала, что Чар уже выпила отбеливателя, и потому прочитала все про отбеливатель. Потом выяснилось, что речь идет о синьке. Про синьку в книге ничего не говорилось, но, похоже, самое правильное было вызвать рвоту, что советовалось делать при любом отравлении (только Чар и без того рвало, ничего вызывать не требовалось), а потом выпить литр молока. Как только Чар влила в себя молоко, ее снова начало рвать.

— Я не из-за Блейки Нобла, — выдавила она между спазмами. — Не смей даже думать. Не такая я дура. Из-за этого извращенца. Просто мне надоело жить.

— А почему тебе надоело жить? — задала Эт вполне логичный вопрос, пока Чар вытирала лицо.

— Надоел мне этот город, и люди здешние тупые надоели, и мама с ее водянкой, и уборки, и стирка каждый день. Кажется, рвота прошла. Надо выпить кофе. Там написано: кофе.

Эт сварила целый кофейник, а Чар достала две самые красивые чашки. Они пили кофе и хихикали.

— Мне надоела латынь, — заявила Эт, — мне надоела алгебра. Я тоже выпью синьки.

— Жизнь — тяжкое бремя, — ответила Чар. — «Жизнь! Где твое жало?»

— Это про смерть. «Смерть! Где твое жало?»

— А я сказала «жизнь»? Я хотела сказать «смерть». «Смерть! Где твое жало?»[6] Прошу прощенья.

Однажды, пока Чар ходила по магазинам и меняла книги в библиотеке, Эт осталась сидеть с Артуром. Она решила сделать ему хмельной гоголь-моголь и стала рыться у Чар в буфете в поисках мускатного ореха. На полке вместе с ванилином, миндальным экстрактом и ромовым

---

[6] Сноски: 6
Слова из Первого послания к Коринфянам апостола Павла (15: 55–56).

ароматизатором она обнаружила маленькую бутылочку со странной жидкостью. *Фосфид цинка*. Она прочла этикетку и повертела пузырек в руках. Родентицид. Судя по всему, это означает «крысиный яд». Она и не знала, что Чар и Артура донимают крысы. У них жил котяра Том, который сейчас спал, свернувшись у ног Артура. Эт отвинтила пробку и принюхалась, чтобы понять, как отрава пахнет. Никак. Ничего удивительного. Наверное, еще и безвкусная, иначе крыс обмануть не удастся.

Она положила пузырек на место. Сделала Артуру гоголь-моголь и смотрела, как он пьет. Медленный яд. Она запомнила все, что на экскурсии болтал об этом Блейки. Артур пил с жадностью, причмокивая, как ребенок, — больше, подумалось ей, чтобы порадовать ее, чем потому, что сам испытывал удовольствие. Этот выпьет все, что ему дадут. Можно не сомневаться.

— Как ты себя чувствуешь, Артур?

— Ох, Эт! В какие-то дни силы вроде бы прибавляются, а потом опять начинаю сдавать. Нужно время.

Но ядом не пользовались. Пузырек оставался полным. Что за ужасная чушь! Похоже на детективный роман, прямо какая-то Агата Кристи.

Надо просто спросить Чар, и та расскажет, зачем ей пузырек с ядом.

— Хочешь, я тебе почитаю? — предложила она Артуру, и он согласился.

Она села у его кровати и стала читать книгу о герцоге Веллингтоне. Артур сам ее читал, но руки устали держать том. Все эти битвы, войны и прочие ужасы — что знал Артур о таких вещах, почему они его вдруг заинтересовали? Ничего он не знал. Не знал, почему так бывает на свете, почему люди не могут вести себя разумно. Он был слишком хороший. Он разбирался в истории, но не в том, что происходит у него под носом, в его собственном доме, да где угодно. В отличие от Артура, Эт знала, что что-то происходит, хотя не могла сказать почему; в отличие от него, она знала, что кое-кому доверять нельзя.

В конце концов она ничего не сказала Чар. Но каждый раз, наведываясь к ним, она находила предлог оказаться на кухне, открыть буфет, встать на цыпочки и, заглянув поверх прочих склянок, удостовериться, что жидкость в пузырьке не убывает. Да, она допускала, что, наверное, ведет себя несколько странно, такое случается со старыми девами. Ее страх был сродни тем абсурдным и безобидным страхам, которые иногда

находят на молоденьких девушек: а вдруг они выпрыгнут из окна или задушат сидящего в коляске младенца? Эт, впрочем, боялась не за себя.

Эт смотрела на Чар, Блейки и Артура — они втроем сидели на крыльце и решали, стоит ли войти в дом, включить свет и поиграть в карты. Она хотела удостовериться в собственной глупости. Волосы Чар — как и волосы Блейки — сияли в темноте белизной. Артур теперь почти полностью облысел, а у Эт волосы были тонкие и темные. Чар и Блейки представлялись ей животными одной породы — высокие, легкие, властные, склонные к опасной чрезмерности. Они сидели порознь, но словно светились в темноте. *Любовники*. Слово вовсе не ласковое, как думают многие, а жестокое, убийственное. Вот Артур в кресле-качалке со стеганым одеялом на коленях, нелепый, как зверек, у которого так и не отросла взрослая, самая необходимая шерсть. Из-за таких, как Артур, чаще всего и случаются неприятности.

— Моя любовь на «Р», поскольку он *разбойник*. По имени он *Рекс*, живет он… в *ресторане*[7].

[7] Сноски: 7

Игра основана на английском детском стишке «Моя любовь на „А“», в котором все характеристики персонажа начинаются с одной буквы.

— Моя любовь на «А», поскольку он *абсурден*. По имени он *а́ртур*, живет на *антресолях*.

— Вот это да, Эт! — сказал Артур. — А я и не подозревал. Хотя не уверен, что мне понравилось про антресоли.

— Такое впечатление, что нам всем лет двенадцать, — сказала Чар.

После истории с синькой к Чар пришла популярность. Она начала принимать участие в постановках Любительского драматического общества и общества певцов «Оратория», хотя никогда не имела особенных актерских или музыкальных талантов. В пьесах она всегда изображала холодных красавиц или хрупких и утонченных светских дам. Она научилась курить, потому что этого требовала сцена. В одной пьесе, которая навсегда врезалась Эт в память, Чар изображала статую. Вернее, она играла девушку, которой надо было притвориться статуей, чтобы в нее влюбился молодой человек. Впоследствии он, испытав смущение и, возможно, разочарование, должен был обнаружить, что его любовь — всего лишь обычная девушка. Целых восемь минут Чар, задрапированной белым крепом, пришлось стоять на сцене совершенно неподвижно, повернув к зрителям свой прекрас-

ный холодный профиль. Все были в восторге от того, как у нее это получалось.

Душой обоих обществ был недавно приехавший в Мок-Хилл школьный учитель по имени Артур Комбер. В выпускном классе он преподавал Эт историю. Все говорили, что она получила высший балл, потому что учитель был влюблен в ее сестру, но Эт знала, что на самом деле причина была в ее усердии — так много она никогда не занималась. За всю свою жизнь она ничего не изучила так подробно, как историю Северной Америки. Миссурийский компромисс. Попытки Маккензи в 1793 году найти водный путь к Тихому океану. Она до сих пор все помнит.

Артуру Комберу было около тридцати: высокий лоб с залысинами, красное лицо, хотя он не пил (позже лицо побледнело); вел он себя неловко и экзальтированно. Вечно сбивал со стола чернильницу, и пол в кабинете истории в итоге покрылся чернильными пятнами. «Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!» — приговаривал он, нагнувшись над расплывающейся кляксой и промакивая ее носовым платком. Эт передразнивала: «Ай-ай-ай! Что я наделал!» Копировала все его нервные восклицания и суматошные жесты. Но когда, прочтя ее эссе, он весь просиял и, не скупясь на востор-

ги, расхвалил ее работу и ее саму, Эт пожалела о своих насмешках. Вероятно, именно поэтому она и начала усердно учиться. Чтобы загладить свою вину перед ним.

На уроки поверх костюма Артур Комбер надевал черную университетскую мантию. Но даже когда он ее не носил, Эт все равно казалось, что он в мантии. Когда учитель с неизменным энтузиазмом спешил по улице на одно из своих бесчисленных мероприятий, или размахивал руками перед певцами из «Оратории», или прыгал по сцене — от чего дрожал весь пол, — чтобы показать актерам, как надо играть, Эт представлялось, будто у него за спиной действительно хлопают смешные и длинные вороньи крылья. Он так отличался от прочих людей, был таким нелепым и в то же время необыкновенным, прямо как священник католической церкви! После свадьбы Чар заставила его отказаться от мантии. Она узнала, что он споткнулся, наступив на подол, когда бежал вверх по школьной лестнице, и растянулся во весь рост. Этого было достаточно. Чар ее разорвала.

— Я боялась, что рано или поздно ты разобьешься.

На что Артур сказал:

— Да ладно уж, ты просто думала, что я выгляжу по-дурацки.

Чар спорить не стала, хотя глядевшие на нее глаза Артура и его наивная улыбка так просили об этом. Ее рот непроизвольно искривился. Презрение. Ярость. Эт видела — они оба видели, — как Чар захлестнула мутная волна, прежде чем она смогла улыбнуться и сказать: «Не говори глупостей». Потом, все еще улыбаясь, она взглянула на него, пока бурлящая волна не нахлынула снова и не унесла ее невесть куда, она словно пыталась задержаться на его лице, зацепиться за то хорошее, что в нем было (Чар, как и все остальные, видела это хорошее, но оно, по мнению Эт, лишь выводило ее из себя, как и все в нем — и потный лоб, и резвый оптимизм).

В первый год брака у Чар случился выкидыш, и потом она долго болела. Больше беременностей не было. К тому времени Эт уже не жила в родительском доме; у нее было собственное жилье на площади, но она приходила к Чар раз в неделю в день стирки, чтобы помочь снимать с веревки постельное белье. Родители уже умерли — мать до свадьбы, а отец после, — но Эт всегда казалось, что Чар стирает белье с двух постелей.

— Так тебе приходится слишком много сти-

рать.

— Что значит «так»?

— Когда без конца меняешь белье.

Эт часто бывала у них по вечерам. Она играла в карты с Артуром, а Чар в другой комнате в темноте перебирала клавиши пианино. Или они с Чар беседовали и читали библиотечные книги, а Артур проверял контрольные. Домой ее провожал Артур.

— Зачем тебе понадобилось съезжать и жить отдельно? — упрекал он ее. — Возвращайся и живи с нами.

— Третий лишний.

— Это же ненадолго. Скоро появится какой-нибудь молодой человек и по уши в тебя влюбится.

— Если он окажется настолько глуп, я никогда в него не влюблюсь, так что мы вернемся к тому, с чего начали.

— Посмотри на меня: я, как дурак, по уши влюбился в Чар, и в конце концов она за меня вышла.

По тому, как он произносил имя Чар, было ясно, что эта женщина выше любых рассуждений, за гранью всякой обыденности — чудо, тайна. Никто не смеет даже надеяться понять ее, и счастлив тот, кому позволено быть рядом.

Эт чуть было не брякнула: «Однажды она выпила синьку из-за мужчины, которому оказалась не нужна», но подумала, какой с этого прок: Чар взойдет для него на новый пьедестал, вроде шекспировской героини. Артур чуть сжал талию Эт, словно желая подчеркнуть их общее товарищеское изумление, невольное преклонение перед ее сестрой. Потом она не раз вспоминала то ощущение, когда на кожу надавили бугорки его пальцев и как будто оставили вмятинки как раз над застежкой юбки. Словно кто-то рассеянно тронул клавиши пианино.

Эт занялась шитьем женской одежды. У нее была длинная узкая комната на площади, в бывшей лавочке, где она устраивала примерки, шила, кроила и утюжила, а за шторкой спала и готовила. Теперь она могла лежать в постели и разглядывать штампованные металлические квадратики на потолке, их цветочный узор — свою собственность. Артуру не нравилось, что Эт стала портнихой, потому что он считал ее для этого слишком умной. Она так старательно изучала историю, что у него сложилось преувеличенное мнение о ее способностях.

— И вообще, — сказала она ему, — чтобы платье было удачно скроено и хорошо сидело, требуется

больше ума, чем для изложения школьникам истории войны 1812 года. Потому что про войну выучил один раз — и все, ничего ведь не изменится. А каждая сшитая тобой вещь — совершенно новая задача.

— И все же мне странно видеть, — ответил Артур, — как ты устроила свою жизнь.

Всем было странно, но только не самой Эт. Перемена произошла легко — от девочки, крутящей «колесо», до главной портнихи в городе. Других портних Эт вытеснила. Да что о них говорить: слабые, безропотные создания, ходили по домам и работали в темном углу за тарелку супа. За все годы у нее была только одна серьезная соперница — финка, называвшая себя «модным дизайнером». Некоторые клиентки переметнулись к ней, потому что люди никогда не бывают довольны тем, что имеют, но вскоре выяснилось, что ее платья, может, и стильные, но сидят безобразно. Эт о финке никогда не упоминала, она предоставила дамам самим разобраться, что к чему, но когда та уехала из Мок-Хилла в Торонто — где, судя по тому, что Эт наблюдала на улицах, никто не мог отличить хороший покрой от плохого, — Эт дала себе волю. Во время примерки она могла сказать заказчице:

— Вижу, вы все еще носите тот шеврон, который моя иностранная коллега сметала на живую нитку. Я давеча встретила вас на улице.

— Ах, знаю, знаю, — отвечала заказчица. — Но должна же я его сносить.

— Конечно. Да и какая вам разница — сзади-то себя не видно!

Клиентки терпели выходки Эт и даже привыкли к ним. Ужасная женщина, говорили о ней, Эт — ужасная женщина. Перед своей портнихой они представали в самом невыгодном свете, в сорочках и корсетах. Дамы, которые выглядели весьма уверенно и внушительно за стенами ее ателье, у Эт цепенели и стеснялись, демонстрируя затянутые в корсеты дрожащие хилые бедра, жалкие и отвислые груди, животы, раздутые или разодранные детьми и операциями.

Эт всегда плотно задергивала занавески на окнах и даже закалывала щель булавками.

— Чтобы мужчины не подглядывали.

Дамы нервно смеялись.

— И чтобы Джимми Сондерс не расшибся, когда споткнется, на вас заглядевшись.

Джимми Сондерс, ветеран Первой мировой, держал по соседству небольшую лавку, где продавалась упряжь и прочие кожевенные товары.

— Эт, ведь у Джимми Сондерса деревянная нога!

— Но глаза-то не деревянные. Да и все прочее тоже, насколько я знаю.

— Эт, вы ужасная женщина!

Эт следила за тем, чтобы Чар всегда была одета безупречно. Две неизменные претензии к Чар в Мок-Хилле касались ее слишком элегантных нарядов и курения. Она ведь была женой учителя, а потому ей надлежало воздерживаться и от того и от другого, но Артур, конечно, позволял ей делать все, что угодно, и даже купил мундштук, чтобы она стала похожей на даму из журнала. Она курила на танцевальном вечере в старшей школе, одетая в атласное вечернее платье с голой спиной. И танцевала с парнем, от которого забеременела одна из учениц, но Артуру было все равно. Он так и не выбился в директора. Дважды школьный совет отвергал его кандидатуру и приглашал кого-то со стороны, и директорский пост ему предоставили, да и то временно, лишь в 1942 году, потому что многих учителей забрали в армию.

Все эти годы Чар старалась сохранить фигуру. Только Эт и Артур знали, чего ей это стоило. И только Эт было известно все до мелочей. Их ро-

дители были грузные, и Чар унаследовала от них склонность к полноте. Эт же всегда оставалась худой как щепка. Чар занималась гимнастикой и каждый раз перед едой выпивала стакан теплой воды. Но иногда у нее отказывали тормоза. Эт своими глазами видела, как Чар за один присест уминала дюжину слоек со взбитыми сливками, полкило арахисовой карамели или целый лимонно-меренговый торт. Потом, бледная и испуганная, она принимала английскую соль в дозировке в три, в четыре, а то и в пять раз превышающей обычную. Два или три дня ей было совсем худо, организм обезвоживался, очищаясь от грехов, как говорила Эт. Тогда Чар вообще не могла смотреть на еду, и Эт должна была приходить и готовить Артуру ужин. Артур ничего не знал о торте, арахисовой карамели и прочем, как и об английской соли. Он думал, что жена набрала фунт-другой и теперь с непонятным фанатизмом истязает себя диетой. Это его беспокоило.

— Какая разница? Какое это имеет значение? — говорил он Эт. — Она все равно останется красавицей.

— Никакого вреда ей не будет, — успокаивала его Эт, с удовольствием уплетая ужин и радуясь,

что беспокойство о жене не испортило аппетит и Артуру. Эт всегда кормила его вкусно и сытно.

На неделе перед выходными, пришедшимися на День труда, Блейки уехал в Торонто — на денек-другой, как он сказал.

— Без него как-то тихо, — заметил Артур.

— Никогда не замечала, чтобы он был большим любителем поговорить, — сказала Эт.

— Я просто хотел сказать, что к человеку привыкаешь.

— Может, неплохо бы от него и отвыкнуть, — сказала Эт.

Артур был расстроен. В школу он пока возвращаться не собирался. Ему дали отпуск до конца рождественских каникул, но никто не предполагал, что он вернется на работу к началу занятий.

— Возможно, у него свои планы на зиму, — предположил Артур.

— Возможно, у него свои планы уже на сегодняшний день. Знаете, у меня есть клиентки из гостиницы. И приятельницы тоже есть. Начиная с той экскурсии до меня все время доходят о Блейки разные слухи.

Эт не сумела бы объяснить, откуда у нее возникло желание сказать то, что она сказала. Заранее она ничего не планировала, однако сло-

ва лились легко и уверенно.

— Говорят, он сошелся с состоятельной женщиной из гостиницы.

Интерес проявил Артур, не Чар.

— Она вдова?

— Кажется, дважды вдова. Как и он сам. И оба мужа оставили ей приличные средства. Ходили слухи, что между ними что-то есть, а она так даже говорила об этом открыто. Хотя он помалкивал. Ведь он и тебе ничего не сказал, правда, Чар?

— Не сказал, — ответила Чар.

— А сегодня я слышала, что он уехал. И она следом. Уже не в первый раз Блейки выкидывает такой фортель. Мы-то с Чар помним.

Артуру стало интересно, что она имеет в виду, и Эт рассказала историю о даме-чревовещательнице, припомнив даже имена кукол, хотя, конечно, о Чар она не упомянула. Та стоически выслушала все до конца и даже добавила от себя кое-какие подробности.

— Может, они и вернутся, но, по-моему, им будет неловко. Ему, во всяком случае. Ему-то уж точно будет неловко сюда явиться.

— Почему? — спросил Артур, немного развеселившись после истории о чревовещательнице. — Кто из нас когда был против, если мужчина

надумал жениться?

Чар встала и пошла в дом. Вскоре они услышали звуки фортепьяно.

В последующие годы Эт часто задавала себе вопрос: как бы она объяснила свою историю, если бы Блейки вернулся? Ибо у нее не было причин полагать, что он не вернется. Ответ прост: никаких планов у нее не было. Она ничего не продумывала заранее. Наверное, ей хотелось поссорить Блейки и Чар — подбросить Чар повод для недовольства, вызвать у нее подозрение, и неважно, что эти сплетни ничем не подтверждались. Следовало внушить Чар мысль, что Блейки способен снова повторить то, что уже сделал однажды. Эт не знала, чего именно она добивается. Наверное, смешать этим двоим все карты, поскольку ей тогда казалось, что кому-то непременно надо вмешаться, пока не поздно.

Артур поправлялся быстро, учитывая его возраст. Он вновь начал преподавать историю в старших классах, работал на полставки, пока не пришло время выйти на пенсию. Эт продолжала жить в швейной мастерской, на площади, но находила возможность приходить к Артуру готовить и убирать. Наконец, когда он стал пенсионером, она снова переехала в их старый дом,

оставив свою мастерскую только для работы. «Пусть люди болтают что хотят, — сказала она. — В нашем-то возрасте».

Артур все скрипел, хотя стал слабее и медлительнее. Раз в день он прогуливался до площади, заглядывал к Эт, потом шел посидеть в парке. Гостиницу закрыли и опять продали. Одно время поговаривали, что скоро ее вновь откроют, превратят в реабилитационный центр для наркоманов, но город выступил с петицией против такой идеи, и эти планы реализованы не были. В итоге гостиницу снесли.

Зрение у Эт стало сдавать, и потому ей пришлось брать меньше работы. Она была вынуждена кому-то отказывать. Но все же трудилась каждый день. По вечерам Артур смотрел телевизор или читал. Эт в теплую погоду сидела на крыльце, а зимой — в столовой, в кресле-качалке, давая отдых глазам. Заходила к Артуру, смотрела с ним новости и делала ему горячее какао или чай.

Пузырька нигде не было. Эт сразу бросилась к буфету, примчавшись в дом, как только рано утром позвонил Артур. Доктор, старый Макклейн, пришел одновременно с ней. Она выскочила проверить мусорный бак, но и там отраву не нашла.

Неужели Чар хватило времени закопать пузырек? Она лежала на кровати в красивом платье, с уложенными волосами. Никакого шума по поводу причины смерти не возникло, вопреки тому, как это обычно описывается в книгах. Накануне вечером, закрыв за Эт дверь, Чар пожаловалась Артуру на слабость, сказала, что, похоже, у нее начинается грипп. Старый доктор диагностировал сердечный приступ. На том и порешили. Эт так никогда и не узнала наверняка, что же произошло. Оставляет ли жидкость из бутылочки тело совершенно нетронутым — таким, каким оно было у Чар? Может, содержимое пузырька вовсе не соответствовало надписи на этикетке? Эт даже не была уверена, что он стоял на месте в тот последний вечер, она слишком увлеклась своим рассказом и забыла, как обычно, сходить и посмотреть, там ли он. Не исключено, что его выбросили раньше, а Чар приняла что-то другое, например таблетки. А может, причиной действительно стал сердечный приступ. Все эти бесконечные приемы слабительного подорвут чье угодно сердце.

Похороны состоялись в День труда, и на них, отменив свою автобусную экскурсию, пришел Блейки Нобл. Артур из-за переживаний забыл

рассказанную Эт историю про вдову и, увидев его, ничуть не удивился. Блейки вернулся в Мок-Хилл в тот день, когда Чар обнаружили мертвой. Опоздал всего на считаные часы, как в книжке. Эт, естественно, была в растрепанных чувствах и не могла вспомнить, в какой именно книжке. Потом решила, что, наверное, про Ромео и Джульетту. Но Блейки, конечно, не покончил с собой, он вернулся в Торонто. Год или два он посылал Эт рождественские открытки, а потом пропал навсегда. Эт не удивилась бы, если бы ее история про женитьбу Блейки оказалась в конце концов правдой. Она только немного ошиблась во времени.

Иногда, обращаясь к Артуру, Эт уже почти готова была произнести: «Знаешь, давно хотела тебе сказать…» Она считала, что нельзя позволить ему умереть в неведении. Надо открыть ему глаза. На своем письменном столе он держал фотографию Чар, ту, на которой она в костюме девушки-статуи. Но Эт все медлила, и так проходил день за днем. Они с Артуром, как и прежде, играли в карты, ухаживали за огородиком и кустами малины. Если бы они были мужем и женой, люди сказали бы, что они совершенно счастливая пара.

Материал
Перевод Андрея Степанова

Не могу сказать, что я постоянно слежу за творчеством Хьюго. Его имя иногда попадается мне на глаза — в библиотеке, на обложке какого-нибудь литературного журнала, который я откладываю не раскрывая: слава богу, вот уже десять лет, если не больше, я не заглядываю в подобные журналы. Его фамилию можно встретить в газете или на афише — тоже в библиотеке или в книжном магазине; как правило, это приглашение посетить круглый стол в университете, где Хьюго в числе других будет обсуждать состояние современной прозы или отражение идей «нового национализма» в отечественной литературе. Читая подобные анонсы, я искренне удивляюсь: неужели кто-то действительно туда пойдет? Вместо того чтобы поплавать в бассейне, или сходить выпить с друзьями, или, наконец, просто прогуляться — тащиться в университетский кампус, отыскивать там нужную аудиторию, а потом сидеть за партой среди таких же простаков и слушать самовлюбленных склочных мужчин?

Обрюзгших, надменных, неопрятных, донельзя избалованных академической и литературной жизнью, а также женщинами. От них только и слышишь, что такой-то исписался и читать его больше не стоит, зато такого-то, напротив, надо обязательно прочесть. Одних они сбрасывают с пьедесталов, других превозносят; без конца препираются, фыркают, пытаются кого-то эпатировать. А люди их слушают. Я говорю «люди», но подразумеваю женщин среднего возраста, таких как я сама, — с волнением внимающих каждому слову, мучительно придумывающих умный вопрос, чтобы не выставить себя полной дурой; и еще юных девушек с мягкими волосами, млеющих от восхищения, мечтающих встретиться взглядом с одним из этих вещающих с кафедры умников. Девушки, как и зрелые женщины, часто влюбляются в подобных мужчин — им чудится в них какая-то скрытая сила.

Жены этих мужчин в аудитории не сидят. Жены ходят по магазинам, занимаются уборкой или выпивают с подругами. В сферу их интересов входят еда, уборка, дом, машины, деньги. Им надо помнить, что пора сменить летнюю резину на зимнюю, съездить в банк или сдать пивные бутылки, поскольку их мужья столь блистательны,

столь талантливы и непрактичны, что нуждаются в постоянной заботе — ради драгоценных слов, которые они иначе не смогут производить. Женщины, сидящие в аудитории, замужем за инженерами, врачами и бизнесменами. Я их знаю, это мои приятельницы. Кто-то из них относится к литературе легко, такие тоже изредка встречаются, но большинство — с трепетом и затаенной надеждой. И презрение рассуждающих о литературе мужчин эти женщины принимают так, словно заслужили его. Они сами почти верят, что заслужили, — из-за своих ухоженных домов, дорогих туфель, из-за мужей, которые читают Артура Хейли[8].

Я и сама замужем за инженером. Вообще-то его зовут Габриель, но в нашей стране он предпочитает имя Гейб. Он родился в Румынии и жил там до конца войны — ему тогда исполнилось шестнадцать. Теперь он забыл румынский язык. Разве такое бывает? Неужели можно забыть язык своего детства? Сначала я думала, что это притворство: по-видимому, родная речь связана у него с тяжелыми переживаниями, о которых хотелось поскорее забыть. Но когда я вслух высказала

[8] Сноски: 8

Хейли Артур (1920–2004) — канадский прозаик, автор бестселлеров в жанре производственного романа («Отель», «Аэропорт» и др.).

свою догадку, Габриель заявил, что война была не такой уж и страшной, и рассказал о том, какой веселый переполох поднимался у них в школе, когда вдруг начинали выть сирены воздушной тревоги. Я ему не поверила. Мне хотелось, чтобы он был посланником из страшных времен и дальних стран. А потом я стала думать, что никакой он не румын, а просто прикидывается.

Это было еще до того, как мы поженились. Он тогда приходил в квартиру на Кларк-роуд, где я жила с маленькой дочкой. Ее зовут Клеа, и она, разумеется, дочь Хьюго, хотя как отец он давно потерял с ней всякую связь. Хьюго получал гранты, ездил по миру, потом снова женился — на женщине с тремя детьми. Снова развелся и снова женился. Новая жена была его студенткой, и у них родились еще трое детей, причем старший появился на свет в то время, когда Хьюго еще жил со второй женой. В таких обстоятельствах мужчина не способен контролировать всех и всё. Габриель стал частенько оставаться у меня на ночь — спал со мной на раскладном диване, который служил мне постелью в этой крошечной обшарпанной квартирке. Я смотрела на него, спящего, и думала: а что я, в сущности, о нем знаю? Он может оказаться и немцем, и русским,

и даже канадцем, который сочинил себе прошлое и научился говорить с акцентом, чтобы выглядеть поинтереснее. Загадка. Габриель стал моим любовником, потом мужем, прошло много лет, но он так и остался для меня загадкой. Несмотря на все, что я знаю о нем, включая интимные подробности и бытовые привычки. Гладкий овал лица, миндалевидные, неглубоко посаженные глаза под гладкими розоватыми веками. Все черты плавные, сглаженные, хотя на поверхности кожа иссечена мелкими морщинками, почти незаметными. Он крепко сбит, в движениях чувствуется спокойная уверенность. В прошлом Габриель был неплохим конькобежцем, хотя, наблюдая за ним со стороны, можно подумать, что он двигается как бы через силу. Мне трудно описать его, я заведомо знаю, что ничего не получится. Не могу — и все. А вот Хьюго, если кто-нибудь попросит, я запросто опишу во всех деталях. Хьюго, каким он был в восемнадцать, то есть двадцать лет назад, — коротко стриженный и страшно худой. Все его кости, даже кости черепа, казались соединенными ненадежно, на живую нитку. И в движениях, и даже в мимике было что-то опасно разболтанное, если иметь в виду его длинные, вечно ходившие ходуном

руки и ноги. В нем все держится на одних только нервах, — так сказала моя подруга по колледжу, когда я ее с ним познакомила. Верно подмечено: я потом чуть ли не воочию видела раскаленные добела струны его каркаса.

С первых дней нашего знакомства Габриель говорил, что всегда радуется жизни. Именно так: не просто верит в возможность счастливой жизни, а счастлив, что живет. Мне делалось даже как-то неловко. Я всегда с подозрением относилась к тем, кто выражается так высокопарно. Этим обычно страдают люди примитивные, самовлюбленные и втайне закомплексованные. Но Габриель ничуть не кривил душой. Нет, он вовсе не с приветом, просто всегда всему радуется и часто улыбается. Иногда улыбнется и скажет негромко: «Ну не волнуйся ты так. Разве тебя это касается?» Человек, который забыл язык своего детства. Его манера заниматься любовью казалась мне поначалу странной — совершенно бесстрастной. Он как бы не придает сексу особого значения, для него в этом нет ничего соблазнительного или порочного. Он не думает о том, как выглядит в этот момент. Такой человек не напишет об этом стихов и уже через полчаса ни о чем даже не вспомнит. Наверное, таких муж-

чин на свете немало, просто мне они не встречались. Иногда я спрашиваю себя: влюбилась бы я в него, если бы не его акцент, не его забытое или полузабытое прошлое? Что если бы он был обыкновенным студентом-технарем и учился бы со мной в колледже на одном курсе, только на другом факультете? Не знаю, не могу ответить. Что поделать, нас заставляют влюбляться такие неосновательные поводы, как румынский акцент, или миндалевидные глаза, или какая-нибудь тайна, наполовину вымышленная.

У Хьюго подобной тайны не имелось. Но мне и не нужна была тайна, тогда я не осознавала ее притягательности и если бы от кого-то об этом услышала, то не поверила бы. Для меня в то время важнее было другое. Я не то чтобы знала Хьюго как облупленного, но все, что мне становилось о нем известно, как бы бродило у меня в крови и время от времени ее портило. С Габриелем ничего подобного у меня не происходит, он всегда спокоен, и его спокойствие передается мне.

Именно Габриель отыскал и показал мне рассказ Хьюго. Мы зашли в книжный магазин, и он вдруг притащил толстый, дорогой том в мягкой обложке — сборник рассказов. Среди прочих на нем красовалась фамилия Хьюго. Удивитель-

ное дело: где Габриель откопал эту книгу и зачем он вообще отправился в отдел художественной литературы, которую никогда не читает? По-видимому, он интересуется Хьюго, его успехами. Точно так же он мог бы заинтересоваться успехами фокусника, или поп-певца, или политика, с которым через меня его что-то связывало бы. Думаю, это происходит оттого, что его собственные достижения могут оценить только коллеги. Поэтому его завораживают те, за кем наблюдают тысячи глаз, кому не скрыться за специальными знаниями — именно так должно казаться инженеру, — те, кто, полагаясь только на себя, придумывает все новые и новые фокусы в надежде обрести известность.

— Купи для дочки, — предложил он.

— А не слишком дорого за книгу в мягкой обложке?

Он улыбнулся.

Клеа делала себе на кухне тост, когда я протянула ей сборник:

— Смотри, вот портрет твоего отца, твоего настоящего отца. Здесь напечатан его рассказ, возьми почитай, может, понравится.

Дочери семнадцать лет. Она питается тостами с медом и арахисовым маслом, печеньем

с ванильной начинкой, сливочным сыром и сэндвичами с курицей. Попробуй скажи ей хоть что-нибудь про ее гастрономические привычки — тут же умчится к себе наверх и хлопнет дверью.

— Толстый какой, — сказала Клеа, откладывая книгу. — А ты говорила, что он худой.

Ее интерес к отцу ограничивается вопросами наследственности: какие гены могли ей передаться? У него был плохой цвет лица? А какой у него был ай-кью? А у женщин в его семье большие сиськи?

— Был худым в те годы, когда мы жили вместе, — ответила я. — Откуда мне знать, какой он теперь?

Честно говоря, Хьюго выглядел на фотографии так, как и должен был выглядеть, по моим представлениям. Когда мне попадалось его имя в газете или на афише, я мысленно видела Хьюго именно таким. Я догадывалась, каким образом время и образ жизни изменят его внешность. И меня не удивило, что он потолстел, хотя и не облысел, а напротив, отрастил буйную шевелюру и отпустил большую курчавую бороду. Мешки под глазами. Вид потасканный и замученный, даже когда смеется. Он на фотографии смеется

в объектив. Зубы у него и раньше были плохие, а теперь стали просто страшными. Он боялся дантистов как огня: уверял, что его отец умер от сердечного приступа в зубоврачебном кресле. Врал, конечно, как всегда, в смысле — сильно преувеличивал. Раньше он на всех фотографиях улыбался криво, стараясь скрыть отсутствие правого верхнего резца, который ему выбили еще в школе, ткнув головой в фонтанчик с питьевой водой. Теперь ему все нипочем: смеется, выставляя на всеобщее обозрение свои гнилушки. Странное сочетание мрачности и веселья в выражении лица. Писатель-раблезианец. Шерстяная рубашка в клетку, верхние пуговицы расстегнуты, видна майка. Раньше он маек не носил. Ты хоть изредка моешься, Хьюго? И запах изо рта у тебя наверняка противный, с такими-то зубами. Интересно, ты называешь студенток ласково-непристойными словами? Наверняка называешь, а потом в университет звонят возмущенные родители, и декану или кому-нибудь из администрации приходится объяснять, что ты ничего обидного не имел в виду, просто писатели — люди особенные. Может быть, и особенные, может быть, никто на них и не обижается. Писатели в наше время спокойно позволяют себе

любые выходки при всеобщем попустительстве, словно избалованные, распущенные дети, которым слишком многое сходит с рук.

Все это мои домыслы, и мне нечем их подтвердить. Я пытаюсь воссоздать образ человека по одной-единственной размытой фотографии и потому довольствуюсь набором штампов. У меня недостаточно развито воображение и нет большого желания придумывать альтернативные варианты. Но я замечаю — да и любой в моем возрасте замечает, — до чего банальны и примитивны те маски, или «идентичности», если угодно, которые цепляют на себя люди. В художественной литературе — области интересов Хьюго — такие клише совершенно не работают, а вот в жизни нам большего, похоже, и не надо, на большее мы не способны. Достаточно посмотреть на фотографию Хьюго, на эту его майку, достаточно почитать, что он пишет о себе:

Хьюго Джонсон родился и получил кое-какое образование в лесном краю, в городках шахтеров и лесорубов Северного Онтарио. Работал дровосеком, барменом в пивной, продавцом, телефонным мастером, бригадиром на лесопилке и время от времени имел отношение к разным академическим кругам. Теперь вместе с женой

и шестерыми детьми живет по большей части на склоне горы высоко над Ванкувером.

Жене-студентке, судя по всему, пришлось взять к себе всех детей. А что же случилось с Мэри Фрэнсис? Умерла? Бросила их? Или он довел ее до сумасшедшего дома? Но сколько же в этой коротенькой биографической справке вранья, полуправды и несуразностей! *Живет на склоне горы над Ванкувером…* Прочтешь — и подумаешь, будто Хьюго обитает в хижине посреди леса. А на самом деле, готова поспорить, он живет в обыкновенном комфортабельном доме в Северном или Западном Ванкувере: город теперь так разросся, что стал взбираться на горы. *Время от времени имел отношение к разным академическим кругам.* Ну и бред! Почему бы не сказать прямо, что много лет, большую часть сознательной жизни, он преподавал в университетах и что преподавание было для него единственной постоянной и хорошо оплачиваемой работой? А так можно подумать, наш дорогой Хьюго время от времени выходит из лесной чащи, дабы изречь пару мудрых слов и показать этим ученым, что такое настоящий *мужик* и *писатель*, истинный художник слова. Никак не угадаешь, что за этой фразой скрывается обычный препод.

Не знаю, работал ли он дровосеком, барменом или продавцом, но точно знаю, что телефонным мастером он не был. Как-то раз он подрядился красить телефонные столбы — и бросил через неделю: карабкаться на них в жару ему оказалось не по силам. Тогда выдался очень знойный июнь, это было сразу после нашего выпуска. И правильно сделал, что бросил. Его мутило от жары, дважды он едва доходил до дому и тут же шел блевать. Я и сама не раз бросала работу, которая была мне не по нутру. Тем же летом я устроилась в больницу Виктории и очень скоро уволилась. Сматывать бинты невыносимо скучно, я чуть не свихнулась. Но если бы я стала писательницей и мне понадобилось бы перечислить свои занятия, разве написала бы я — «мотальщица бинтов»? Думаю, это было бы не совсем честно.

Хьюго вскоре нашел другую работу: он проверял экзаменационные работы старшеклассников. Что же он не написал — «проверяльщик экзаменационных работ»? Это нравилось ему куда больше, чем карабкаться на телефонные столбы, и, по всей вероятности, больше, чем рубить лес, разливать пиво и прочее, чем он якобы занимался. Почему же не написал — «проверяльщик экзаменационных работ»?

Не был он, насколько мне известно, и бригадиром на лесопилке. Он подрабатывал на лесопилке у своего дядюшки летом — за год до того, как мы встретились. Там он таскал бревна и выслушивал ругань в свой адрес от настоящего бригадира, который его на дух не выносил, как племянника хозяина. По вечерам Хьюго, если еще мог волочить ноги, отправлялся на берег ручейка и играл там на блок-флейте. Его донимала мошкара, но он все равно сидел и играл. Мог исполнить «Утро» из «Пер-Гюнта», а также несколько старинных елизаветинских мелодий, названия которых я забыла. Помню только одно: «Уолси-уайлд». Я разучила аккомпанемент на пианино, и мы играли дуэтом. Откуда такое название? Может, в память о кардинале Уолси[9], а «уайлд» — название танца? Упомянул бы ты и это, Хьюго, — «на дуде игрец». Это было бы очень кстати, вполне в духе нашего времени. Насколько я понимаю, дудение на блок-флейте и другие чудаковатые занятия не только не вышли из моды, скорее наоборот. А что? Это было бы поэффектнее, чем все твои «дровосеки» и «бармены». Так-то, Хьюго: имидж, который ты себе

[9] Сноски: 9

Уолси (Вулси) Томас (1473–1530) — кардинал, архиепископ Йоркский, канцлер Англии в 1515–1529 гг.

создал, не только фальшив, но и архаичен. Надо было написать, что ты в течение года медитировал в горах штата Уттар-Прадеш в Индии или преподавал искусство драмы детям-аутистам. Надо было побрить голову налысо, сбрить бороду, нацепить монашескую рясу с капюшоном. А лучше всего бы тебе заткнуться, Хьюго.

Когда я была беременна, мы жили в доме на Арджил-стрит в Ванкувере. Стоявший на отшибе старый дом с серой штукатуркой так жалко смотрелся в дождливые зимние дни, что мы выкрасили все комнаты в живенькие, нарочито безвкусно подобранные цвета. Три стены в спальне стали нежно-голубыми, как веджвудский фарфор, а четвертая — красно-фиолетовой. Мы объявили, что проводим эксперимент: можно ли свести человека с ума с помощью одних только красок? Ванна оказалась оранжево-желтой.

— Сюда входишь, как мышь в сыр, — заметил Хьюго, закончив красить.

— Точно! — ответила я. — Отлично сказано, о великий мастер слова!

Он был польщен, хотя и меньше, чем когда слышал похвалы своим сочинениям. С тех пор каждый раз, показывая кому-нибудь из гостей

ванную, он спрашивал:

— Как тебе цвет? Сюда входишь, как мышь в сыр.

Или так:

— Тут писаешь, как мышь в сыре.

Я, конечно, иногда делаю то же самое: отмечаю удачно сказанную фразу, а потом повторяю ее многократно. Кстати, может быть, про «писать в сыре» придумал не он, а я. У нас было много общих словечек. Например, мы прозвали нашу квартирную хозяйку «зеленая оса», потому что в тот единственный раз, когда мы ее видели, на ней было ядовито-зеленое платье с отделкой из какого-то крысиного меха, украшенное букетиком фиалок, а звук, который она издавала, напоминал угрожающее жужжание. Ей было за семьдесят, и она держала в центре города пансионат для мужчин. Ее дочь Дотти мы прозвали «распутница-надомница». Странно, почему мы выбрали такое манерное слово — «распутница», оно ведь сейчас совсем не в ходу? Наверное, нам понравилось, как оно звучит: высокий стиль вступал в иронический контраст (а мы только и делали, что иронизировали) со всем обликом Дотти.

Она жила в двухкомнатной квартире в цоколь-

ном этаже нашего дома и должна была платить собственной матери сорок пять долларов в месяц. Дотти говорила мне, что хочет попытаться поработать няней.

— Я не могу ходить на работу, — объясняла она. — Я очень нервная. Мой последний муж полгода умирал у меня на руках — в доме моей матери. У него была болезнь почек… Я до сих пор должна матери триста долларов за постой. Она заставляла меня делать для него эгног[10] на обезжиренном молоке. Я вечно в долгах. Говорят, не надо денег, было бы здоровье, а как жить, если нет ни того ни другого? В три года я переболела бронхиальной пневмонией. В двенадцать — ревматической лихорадкой. В шестнадцать я в первый раз вышла замуж, и мужа убило бревном на лесоповале. Три выкидыша. Моя матка истерзана в клочья. У меня за месяц уходит три пачки гигиенических пакетов… Второй муж владел молочной фермой здесь неподалеку, в долине, так на его стадо напал мор. Мы разорились вчистую. Это тот самый муж, который умер от почек. Надо ли удивляться, что у меня нервы не в порядке!

---

[10] Сноски: 10
Напиток из взбитых яиц с сахаром и ромом.

Я, конечно, излагаю все в концентрированном виде. Она была гораздо многословнее, и ее рассказ ни в коем случае не звучал как слезливая жалоба. Скорее, Дотти сама себе удивлялась и даже гордилась своей необычной судьбой, когда произносила за столом такие монологи. Иногда она звала меня к себе вниз на чашку чая, потом стала звать на кружку пива. Что ж, такова реальная жизнь, думала я, жившая чтением книг, лекциями, курсовыми и диспутами. В отличие от своей матери, Дотти была плосколицая, пухленькая — такие созданы не для побед, а для поражений. Вроде тех бесцветных замученных женщин, которых видишь с кошелками на автобусной остановке. (Я и вправду видела ее как-то раз на остановке в центре и не сразу узнала в синем зимнем пальто.) Комнаты у нее были загромождены тяжелой мебелью, оставшейся после замужества, — пианино, диван, стулья, вечно чем-нибудь заваленные, ореховый сервант и обеденный стол, за которым мы с ней сидели. В центре стола возвышалась огромная лампа с расписным фарфоровым основанием и плиссированным абажуром из темно-красного шелка. Абажур был оригинальной формы, похожий на юбку-кринолин.

Я описала все это Хьюго и добавила:

— А лампа как из борделя.

Мне хотелось, чтобы он меня похвалил за точность деталей. Я ему говорила, что если он хочет стать писателем, то нельзя пропускать такой материал, как Дотти. Рассказала про ее мужей, про ее матку, про коллекцию сувенирных ложек. Хьюго ответил, что я сама могу ею заняться, если хочу. Он в это время писал драму в стихах.

Однажды я спустилась вниз, чтобы подбросить угля в печку, и увидела Дотти в розовом синелевом халате — она прощалась с мужчиной в форме: кажется, это был посыльный или заправщик с бензоколонки. Было еще только шесть вечера. Прощались они без всякого намека на страсть или похоть, я даже ничего не заподозрила и предположила, что это какой-то родственник. Но тут Дотти пустилась в объяснения. Из ее долгой, путаной и пьяноватой речи можно было понять только, что она на пути к матери попала под дождь, промокла и решила надеть что-то из материнских платьев, но они все ей узки, а свои вещи она оставила сохнуть у матери — и потому сейчас ходит в халате. А Ларри в таком виде ее и застал, когда принес заказ на шитье от своей жены, и я вот тоже застала, и теперь она,

Дотти, просто в ужасе оттого, что мы о ней можем подумать. Все это звучало очень странно, поскольку я и раньше много раз видела ее в халате. Посреди ее сбивчивых объяснений и смешков мужчина, который ни разу на меня не взглянул, не улыбнулся и не проронил ни слова, чтобы помочь Дотти, молча выскользнул за дверь.

— У Дотти любовник! — объявила я Хьюго.

— Ты слишком засиделась дома и потому пытаешься сделать жизнь интересней, чем она есть, — ответил он.

Всю следующую неделю я высматривала, не вернется ли тот мужчина. Нет, не вернулся. Зато я заметила трех других, причем один из них появлялся дважды. Они проходили к Дотти, опустив головы, быстро, не задерживаясь перед дверью, — дверь была уже открыта. Хьюго признал их существование. Он сказал, что жизнь опять подражает искусству, так все и должно быть, ведь в литературе постоянно описывают толстых шлюх с варикозными ногами. Вот тогда мы и прозвали ее «распутница-надомница» и разболтали про нее знакомым. Бывая у нас в гостях, наши друзья прятались за оконными занавесками, чтобы исподтишка на нее взглянуть, когда она выходила из дома.

— Не может быть! — говорили они. — Это точно она? Да кого она может завлечь в таком виде? У нее что, нет профессиональной одежды?

— Не будьте так наивны, — отвечали мы. — Вы думаете, они все носят боа и платья с блестками?

Когда Дотти играла на пианино, гости умолкали, чтобы послушать. Играя, она пела или без слов напевала мелодии — нетвердым, но громким, словно бы пародийным голосом, каким обычно поешь, когда тебя никто не слышит, вернее, когда ты думаешь, что тебя не слышат. Она распевала «Желтую розу Техаса» и «Ты это не всерьез, мой милый».

— Распутницы должны исполнять духовные гимны.

— Надо будет ее научить.

— Какие же вы все жалкие, вам бы только за другими подглядывать! — заявила нам девушка по имени Мэри Фрэнсис Шрекер.

Это была ширококостная, спокойная на вид девица с черными косами. Она состояла в браке с Элсвортом Шрекером, бывшим математическим гением, утратившим свой дар. Сама она работала диетологом. Хьюго говорил, что, когда смотрит на нее, ему на ум почему-то приходит

слово «люмпен», но при этом допускал, что она может быть полезна — как овсянка. Она стала его второй женой. Думаю, они очень подходили друг другу, и она могла бы и дальше приносить ему пользу, но явилась студентка и изгнала ее.

Игра на пианино развлекала наших гостей, и она же превращалась в проклятье в те дни, когда Хьюго оставался дома и садился за работу. Вообще-то ему полагалось писать диссертацию, но он вместо этого занимался своей пьесой. Сочинял он в нашей спальне, на карточном столике у окна, выходившего на деревянный забор. Послушав немного игру Дотти, Хьюго врывался на кухню и говорил мне негромким, нарочито спокойным тоном, демонстрируя, что он вполне может справиться со своей яростью:

— Сходи вниз и скажи ей, чтобы прекратила.

— Сам сходи.

— Черт, черт! Она же твоя подруга. Ты ее развиваешь. Ты ее поощряешь.

— Я никогда не поощряла ее игру на пианино.

— Я с трудом устроил все так, чтобы освободить день для работы. Это не само собой получилось. Я предпринял усилия. Близится решающий момент, после которого пьеса окажется либо живой, либо мертвой. А если я сам пойду вниз, то я про-

сто задушу ее.

— Не смотри, пожалуйста, *на меня* волком. И смотри, не придуши *меня* по ошибке. Ты уж прости, что я дышу тут и вообще существую.

Разумеется, я спускалась вниз, стучала в дверь Дотти и просила ее, если можно, не играть сегодня на пианино, потому что мой муж дома и работает. Я никогда не произносила слова «пишет» — Хьюго меня выдрессировал. Это слово было для нас как оголенный провод под током. Дотти каждый раз извинялась. Она боялась Хьюго и с почтением относилась к его работе и его интеллекту. Играть Дотти прекращала, но, увы: через час или даже полчаса она могла попросту забыть свое обещание, и все начиналось заново. Это меня нервировало и расстраивало. Я была беременна и все время хотела есть. Я сидела на кухне за обеденным столом, несчастная, ненасытная, и жевала разогретый испанский рис. Хьюго казалось, что весь мир сговорился помешать ему писать — не только человечество, но и все звуки, весь бытовой шум и гам устроен нарочно. Все вокруг сознательно и злонамеренно вредят ему, всячески отвлекают, не дают работать. И я обязана была защитить Хьюго, встать между ним и миром, но не справлялась

с этим — и по неспособности, и по зловредности. Я в него не верила. Я не понимала, как это важно — верить в него. На мой взгляд, он был умен и талантлив, что бы это ни значило, но я не верила, что из него получится писатель. У него отсутствовала та хватка, та харизма, которой, как мне казалось, должен обладать литератор. Он был слишком нервный, обидчивый, в нем слишком много было позерства. А писатели, по моему тогдашнему убеждению, — люди спокойные, меланхоличные, излишне образованные. Мне казалось, что все они отмечены свыше, что от них исходит сияние, а у Хьюго нимба не наблюдалось. И я полагала, что рано или поздно ему придется это признать и смириться. Впрочем, он жил в своем мире, со своей, неведомой мне, системой наказаний и поощрений, совершенно мне непонятной и чужой, как у лунатика. Вот он сидит за ужином весь бледный и с отвращением смотрит на пищу. Вот я на секунду захожу в комнату что-то взять, и он вцепляется в пишущую машинку и неподвижно замирает, как будто его от ярости разбил паралич. Или начнет вдруг скакать по гостиной, вопрошая — кто он такой (носорог, решивший, что он газель; председатель Мао, танцующий

боевой танец во сне Джона Фостера Даллеса[11]), а потом набросится на меня и давай целовать в шею с диким голодным урчанием. В чем была причина этих приступов радости или уныния, неизвестно. Во всяком случае, не во мне.

Я коварно допытывалась, подначивала его:

— Вот у нас родится ребенок, а потом, предположим, в доме начнется пожар. Что ты кинешься спасать — ребенка или пьесу?

— И то и другое.

— Ну а если надо выбрать одно из двух? Ладно, оставим в покое ребенка. Предположим, я горю в огне… Нет, предположим, я тону, а ты рядом, но можешь вытащить из воды что-то одно…

— Ты ставишь меня перед трудным выбором.

— Да, я понимаю, понимаю. Ты меня за это ненавидишь?

— Разумеется, ненавижу!

И мы отправлялись в постель — с воплями, дурачась, изображая потасовку, шалея от счастья. Вся наша совместная жизнь, то есть вся ее счастливая часть, прошла в сплошных играх. Мы разыгрывали диалоги, приводя в смятение пассажиров в автобусе. А однажды в пивной

---

[11] Сноски: 11

Даллес Джон Фостер (1888–1959) — государственный секретарь США в 1953–1959 гг.

он принялся распекать меня: дескать, я совсем совесть потеряла — гуляю с другими, бросаю детей одних, в то время как он рубит лес, чтобы нас прокормить. Он призывал меня вспомнить долг жены и матери. Я в ответ выдыхала дым ему в лицо. Посетители пивной смотрели на меня осуждающе и упивались скандалом. Когда мы выкатились на улицу, нас сразил такой приступ хохота, что ноги подкашивались, пришлось облокотиться о стену и вцепиться друг в друга, чтобы не упасть. Еще мы играли в постели в леди Чаттерли и Меллорса[12].

— Где этот негодник Джон Томас? — спрашивал он басом. — Не могу найти Джона Томаса!

— Весьма прискорбно, — отвечала я тоном настоящей леди. — Полагаю, я его проглотила.

В подвале дома находился насос, который не переставая глухо гудел. Дом стоял в низине неподалеку от реки Фрейзер, и в дождливые дни приходилось то и дело включать насос, чтобы не затопило цокольный этаж. Январь, как обычно в Ванкувере, выдался темный, ненастный, а за ним последовал такой же темный и ненаст-

[12] Сноски: 12

Персонажи романа английского писателя Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли», опубликованного в 1928 г.: светская дама и ее любовник-лесник.

ный февраль. Мы с Хьюго ходили мрачные. Я большую часть дня спала, а Хьюго не мог сомкнуть глаз и уверял, что в его бессоннице виноват насос. Из-за шума он не мог днем работать, а ночью спать. Таким образом, насос заменил пианино Дотти в качестве постоянного раздражителя. Дело было не только в шуме, но еще и в дополнительных расходах. Плата за электричество включалась в наш счет, хотя только Дотти на своем цокольном этаже получала пользу от насоса: ее не затапливало. Хьюго заявил, что я должна поговорить с Дотти, а я ответила, что Дотти не в состоянии оплатить даже те счета, которые уже приходят. Тогда он сказал: пусть улучшает свои профессиональные навыки. Я велела ему заткнуться. Живот мой рос, и я становилась все медлительнее и тяжелее на подъем и все больше привязывалась к Дотти. Я уже не коллекционировала ее перлы, чтобы потом повеселить знакомых. Мне с ней было хорошо, часто даже лучше, чем с Хьюго или с друзьями.

Ну что ж, ответил Хьюго, тогда придется позвонить хозяйке. Пожалуйста, звони, сказала я. Он тут же сослался на множество дел. В действительности нам обоим не хотелось вступать в переговоры с хозяйкой: мы знали заранее,

что толку не будет, она только заморочит нам голову своей уклончивой болтовней, и все останется на прежнем месте.

Дожди продолжались, и как-то раз я проснулась посреди ночи и в первую секунду не могла понять, что же меня разбудило. Потом сообразила: тишина.

— Хьюго, просыпайся! Насос сломался. Слышишь? Не шумит?

— Я и не сплю.

— Дождь льет по-прежнему, а насос не работает. Наверное, сломался.

— Нет, не сломался. Выключен. Я его выключил.

Я села в кровати и зажгла свет. Хьюго лежал на спине, поглядывая на меня искоса и одновременно пытаясь изобразить на лице суровость.

— Не может быть!

— Ну хорошо, не выключал.

— Значит, выключил.

— Да, я не мог больше терпеть, что мы за него платим. Даже думать об этом не мог. Не мог выносить этот чертов шум! Я не сплю уже целую неделю.

— Но внизу все зальет!

— Утром включу. Несколько часов покоя —

вот все, о чем я прошу.

— Утром будет поздно, дождь льет как из ведра.

— Не так уж и сильно.

— Подойди к окну.

— Ну и что? Да, льет. Но не как из ведра.

Я выключила свет и снова легла. Потом сказала спокойно и строго:

— Послушай, Хьюго, ты должен спуститься вниз и включить насос. Дотти зальет.

— Утром.

— Ты должен спуститься и включить его *сейчас.*

— Я не пойду.

— Если ты не пойдешь, пойду я.

— И ты не пойдешь.

— Пойду.

Но я не двинулась с места.

— Не будь такой паникершей.

– *Хьюго!*

— Не кричи.

— Все ее барахло зальет.

— Туда ему и дорога. Да и не зальет, тебе говорят.

Он лежал рядом со мной, напряженный и подозрительный, и ждал, что я вылезу из постели,

спущусь в подвал и в конце концов разберусь, как включить насос. А чем он ответит? Побить меня нельзя, я ведь беременная. Да он никогда не поднимал на меня руку, если только я не била его первая. Он просто встанет, спустится в подвал и снова выключит насос. А я включу. А он выключит. И так далее. Сколько это продлится? Он может попытаться удержать меня, но если я буду сопротивляться, то он испугается, побоится причинить мне какой-нибудь вред. Может устроить скандал и уйти из дома. Но машины у него нет, а на улице настоящий ливень, так что долго он там не проходит. А если будет дуться и беситься, то я возьму одеяло и пойду спать на диван в гостиную. Думаю, именно так поступила бы женщина с сильным характером. Женщина, желавшая сохранить свой брак, так бы и поступила. Но я так не сделала. Я сказала себе: я ведь понятия не имею, как работает насос, я не знаю, как его включить. Убедила себя, что боюсь Хьюго. Даже допустила, что он прав и ничего не случится. Хотя мне хотелось его проучить.

Когда я проснулась, Хьюго уже ушел, а насос в подвале шумел, как обычно. Дотти стучалась в нашу дверь.

— Ты не поверишь, там такое! Воды по колено!

Спускаю ноги с кровати — и по колено в воде. И что такое стряслось? Ты не слышала, может, насос выключился?

— Нет, не слышала, — ответила я.

— Ума не приложу, что случилось. Должно быть, насос переработался. Я-то выпила пива перед сном. А то бы, конечно, услышала. Сон у меня чуткий. Но вчера уснула как мертвая, а потом спускаю ноги с кровати, и — Господи Иисусе! Хорошо еще что не включила сразу лампу. А то меня бы током убило. Теперь все плавает.

На самом деле ничего не плавало, и вода, разумеется, была не по колено. В некоторых местах она поднялась дюймов до пяти, а в основном — всего на пару дюймов. Пол там был неровный. Остались следы внизу на диване, на ножках стульев. Вода проникла в нижние ящики буфета. Пианино снизу разбухло. Плитки на полу расшатались, коврики намокли, с края покрывала на кровати капало, обогреватель пола вышел из строя.

Я оделась, натянула сапоги Хьюго и спустилась вниз со шваброй в руках. Стала сгонять остатки воды наружу, за дверь. Дотти приготовила у меня на кухне чашку кофе, уселась на верхней ступеньке лестницы и, наблюдая за мной, снова

и снова повторяла все тот же монолог про пиво и крепкий сон, из-за которых она не слышала, как выключился насос. И с чего это он вдруг выключился, если действительно выключился? И как объяснить все произошедшее матери, которая, конечно, решит, что Дотти во всем виновата, и взыщет с нее убытки? Словом, мне стало ясно: нам повезло *(нам!)*. Привычка и даже пристрастие к несчастьям лишили Дотти всякого интереса к расследованию их причин. Как только воды стало поменьше, она пошла к себе в спальню, оделась, натянула сапоги (из них пришлось вылить воду), взяла швабру и начала мне помогать.

— Только со мной такое может случиться! Я даже никогда на картах не гадаю. У меня есть подружки, те все время гадают, а я говорю: мне не надо. Я и так знаю, что ничего хорошего не будет.

Я поднялась наверх и позвонила в университет. Сказала, что у нас произошел несчастный случай, и Хьюго разыскали в библиотеке.

— Нас залило.

— Что?

— Нас залило. Квартира Дотти вся залита.

— Я включил насос.

— Ага, включил! А когда это было? Утром?

— Утром пошел настоящий ливень, и насос не справился. Лить начало после того, как я его включил.

— Насос не справился ночью, потому что был выключен. И не надо рассказывать мне про ливень.

— Ливень пошел утром. Ты просто спала и не слышала.

— Ты что, не понимаешь, что наделал? И даже не задержался, чтобы посмотреть на потоп! Это я вынуждена на все любоваться. И слушать жалобы несчастной Дотти тоже должна я!

— Заткни уши.

— Сам заткнись, урод бесчувственный!

— Прости, пожалуйста. Я пошутил. Мне очень жаль.

— Жаль? Ах, ему, видите ли, жаль! Разве я тебе не говорила, чем все кончится? Жаль ему!

— Мне надо было ехать на семинар. Я прошу прощения. Извини, не могу больше говорить. С тобой сейчас нельзя разговаривать. Я просто не понимаю, что ты от меня хочешь.

— Я хочу, чтобы ты *понял*, что ты наделал.

— Хорошо-хорошо, я понял. Но только я все равно думаю, что это случилось уже утром.

— Ты ничего не понял. И никогда не поймешь.

— Не драматизируй.

— Это я драматизирую?

И снова нам повезло. Разумеется, мать Дотти, в отличие от дочери, не оставила бы без объяснений происшествие, в результате которого пострадали ее пол и стены. Однако она заболела: холодная сырая погода подкосила и ее. В то же утро, ни раньше ни позже, мать забрали в больницу с воспалением легких, и Дотти перебралась к ней, чтобы заботиться о постояльцах. В нижнем этаже нашего дома появился отвратительный запах плесени, и вскоре мы тоже оттуда съехали. Как раз перед тем, как родилась Клеа, мы сняли дом в Северном Ванкувере, принадлежавший нашим друзьям, уехавшим в Англию. Наша с Хьюго ссора немного забылась в суматохе переезда, но примирения так и не произошло. Мы остались на тех же позициях, что и во время памятного телефонного разговора. Я все говорила: ты не понимаешь и никогда не поймешь, а он спрашивал: что ты от меня хочешь? Из-за чего поднимать такую бучу? — удивлялся он. Наверное, другие тоже бы удивлялись. Спустя годы после расставания с ним я и сама уже удивляюсь.

Я ведь могла пойти и включить насос. Мог-

ла бы взять на себя ответственность за нас обоих, как полагается терпеливой и практичной женщине. Так поступила бы настоящая жена. Наверняка так не раз поступала Мэри Фрэнсис в те десять лет, когда была его женой. Я могла бы сказать Дотти правду, хотя она была не лучшим адресатом для таких признаний. Могла рассказать кому-нибудь еще, если мне это было так важно, и тем самым доставить Хьюго некоторые неприятности. Но я ничего этого не сделала. Я оказалась неспособна ни защитить, ни разоблачить его, а только ругала и стыдила его, сама доходя порой до исступления. Мне хотелось выцарапать ему глаза и вставить туда свои собственные, чтобы заставить его наконец понимать жизнь, как я ее понимаю. Какая самонадеянность, какая трусость, какое скудоумие!.. Дальнейшее было неизбежно.

— Вы не сошлись характерами, — заключил брачный консультант, к которому мы обратились немного погодя.

Выйдя от него в скучный холл муниципального здания в Северном Ванкувере, мы не могли удержаться от смеха. Хохотали до слез. Да, действительно, как хорошо, что для нашей проблемы наконец найдены слова — несходство

характеров.

В тот вечер я не стала читать рассказ Хьюго. Отдала книгу дочери, а та, как оказалось, к ней даже не притронулась. Я прочла его на следующий день, когда приехала домой около двух часов дня из частной школы для девочек, где веду уроки истории. Заварила себе чай и села на кухне отдохнуть, побыть немного в покое, пока мальчики, сыновья Габриеля, не вернутся из школы. Я увидела книгу — она по-прежнему лежала на холодильнике, — взяла ее и прочла рассказ Хьюго.

Рассказ был о Дотти. Разумеется, второстепенные детали Хьюго изменил, да и сам сюжет был выдуман или взят из другой жизни и привит к этой истории. Но лампа присутствовала, как и синелевый халат. И еще там мелькали подробности, которые я сама совсем забыла. Когда кто-нибудь говорил с Дотти, она слушала, чуть приоткрыв рот, а в конце предложения повторяла за вами последнее слово. Привычка одновременно трогательная и раздражающая. Она так спешила согласиться, так надеялась понять. И Хьюго это запомнил. Удивительно — он же ни разу толком не поговорил с Дотти.

Впрочем, неважно. Важно то, что рассказ был

очень хорош, насколько я могу судить, — а думаю, что могу. Честный и милый — приходилось то и дело признавать это, пока я читала. Да, надо отдать Хьюго должное. Его рассказ меня обрадовал и тронул. А фокусы меня обычно не трогают. Ну разве что очень милые и честные фокусы. В рассказе Дотти была как живая, взятая прямо из жизни и поданная в том волшебном прозрачном желе, которое Хьюго учился готовить много лет. Это было чудо, несомненно. Чудо настоящей, щедрой, лишенной всякой сентиментальности любви. Ясной, открытой человечности. Люди, которые поймут и оценят это чудо, могут даже позавидовать Дотти (хотя, конечно, поймут и оценят далеко не все). Ей посчастливилось в течение нескольких месяцев прожить в этом доме, способствуя совершению чуда. Правда, она об этом не знает, а если бы и узнала, то ее это скорее всего не тронуло бы. Она перешла из жизни в Искусство, а это случается не с каждым.

Не обижайся. Ирония прочно въелась в меня и стала второй натурой. Мне даже бывает неловко за нее. Я отношусь с уважением к сделанному: и к намерению, и к приложенным усилиям, и к результату. Прими мою благодарность.

Я думала, что напишу письмо Хьюго. Думала, пока готовила ужин, пока сидела за столом, беседуя с Габриелем и ребятами. Думала — напишу, как странно было узнать, что мы с ним до сих пор храним общие воспоминания. И то, что мне представлялось отрывками и обрывками, ненужным балластом, для него оказалось ценным вложением капитала. И еще я хотела извиниться, хотя бы и непрямо, за то, что не верила в него как в писателя. Точнее, так: не извиниться, а признать свою неправоту. Отдать ему должное. Несколько изящных и сердечных фраз.

За ужином я смотрела на своего мужа, Габриеля, и думала, что они с Хьюго вовсе не так различны, как мне казалось. Оба справились с жизнью. Оба нашли для себя нечто главное, и это научило их, как жить, как использовать или не замечать то, что встречается на пути. Пусть в чем-то ограниченным и сомнительным способом, но каждый добился своего. Они не зависели от чьей-то милости, они знали, чего хотят. По крайней мере, думали, что знают. И не мне осуждать их за то, что они поступали так, как поступали.

После того как мальчишки отправились спать, а Габриель и Клеа уселись смотреть телевизор,

я взяла карандаш и бумагу и села за письмо. Руки дрожали. Я начала писать короткими, неловкими, словно толкающимися предложениями — как вовсе не собиралась:

Этого недостаточно, Хьюго. Ты думаешь, достаточно, а этого недостаточно. Ты заблуждаешься, Хьюго.

Н-да, такое письмо не отправишь.

Нет, я все-таки осуждаю их. Завидую и презираю.

Габриель заглянул на кухню, прежде чем лечь спать, и увидел, что я сижу над экзаменационными листами, тут же лежат карандаши, которыми я их обычно исправляю. Он, наверное, хотел со мной поболтать, предложить выпить по чашечке кофе или чего-нибудь покрепче, но увидел мое расстроенное лицо и не стал мешать. Поверил в обман — в то, что я не в духе и занята проверкой экзаменационных работ. Он отправился спать, оставив меня одну справляться со своими проблемами.

Как я познакомилась со своим будущим мужем
Перевод Наталии Роговской

Самолет прилетел в полдень, ревом заглушил радионовости, и нам показалось, что еще миг — и он врежется в дом, поэтому все выбежали во двор. Мы увидели, как он идет на посадку, чуть не задевая верхушки деревьев, весь серебристо-красный, первый в моей жизни самолет крупным планом. Миссис Пиблс даже вскрикнула.

— Это называется «жесткая посадка»! — сказал ее сынишка. Джои, так его звали.

— Спокойно, — сказал доктор Пиблс, — пилот знает, что делает. — Доктор Пиблс был вообще-то лошадиный доктор, но он всегда умел успокоить — настоящие доктора это умеют.

Я первый раз нанялась на работу — к доктору и миссис Пиблс: они купили старый дом на Пятой линии, милях в пяти от города. Тогда у городских только-только пошла мода на старые фермы — их покупали не для того, чтоб заводить хозяйство, а просто чтоб жить.

Самолет приземлился через дорогу от нас, на бывшем ярмарочном поле. Место открытое, ровное, там раньше был ипподром, а разные сараи и балаганы давно растащили на дрова, так что самолет мог сесть без помех. Даже дощатые трибуны и те пошли в топку.

— Ну, хватит, — сказала миссис Пиблс ворчливо, у нее обычно был такой голос, когда она вдруг из-за чего-то разволнуется, а потом снова возьмет себя в руки. — Быстро в дом! Нечего стоять раскрыв рот, будто неучи деревенские. Что вы, самолета не видели?

Насчет деревенских — это она не нарочно. Ей и в голову не пришло бы, что я могу обидеться.

Я уже готовилась подавать десерт, как вдруг явилась запыхавшаяся Лоретта Берд и стала в дверях.

— Я перепугалась — думала, врежется в дом, всех вас тут поубивает!

Она жила по соседству, и Пиблсы держали ее за деревенскую. Не понимали, что Лоретта с мужем сельским трудом отродясь не занимались. Он был дорожный рабочий, и поговаривали — горький пьяница, а у них семеро детей. Местная лавка не отпускала им в кредит. Пиблсы сказа-

ли ей: «Заходите!» — не понимали они, с кем имеют дело, я же говорю, — и пригласили за стол как раз к десерту.

«Десерт» — громко сказано, настоящего десерта у них в доме не водилось. Выложат на блюдо покупное желе, или бананы кружка́ми, или консервированные фрукты из банки, и все.

«Не умеешь спечь пирог — гость не ступит на порог», — говаривала моя матушка, но миссис Пиблс жила по другим правилам.

Лоретта Берд увидала, что я выкладываю из жестянки персики.

— Ой, нет, спасибо, — стала отнекиваться она, — у меня живот такой чувствительный, я фабричное не ем, вот если домашние заготовки — тогда другое дело.

Так бы и дала ей затрещину. Можно подумать, она когда-нибудь сама делала заготовки на зиму.

— А я знаю, чего он к нам сюда прилетел, — сообщила она. — У него есть разрешение садиться на ярмарочном поле и катать людей по воздуху. Платишь доллар — и летишь. Летчик тот же самый, что на прошлой неделе был в Палмерстоне, а еще раньше — вверх по берегу Гурона. Но лично мне хоть приплати — не полечу!

— А вот я бы с превеликим удовольствием, —

сказал доктор Пиблс. — Интересно было бы увидеть с высоты все окрестности.

Миссис Пиблс высказалась в том духе, что согласна прокатиться по окрестностям в машине, не обязательно летать. Джои заявил, что хочет полететь, и Хизер тоже захотела. Старшему, Джои, было девять, а Хизер семь.

— А ты, Эди? — спросила Хизер.

Я ответила, что сама не знаю. Мне было страшно, но я не подавала виду, особенно перед детьми, за которыми смотрела.

— Сейчас как все понаедут в своих машинах, пылищу тут поднимут, всю траву у вас вытопчут, я бы на вашем месте сразу пожаловалась куда следует, — продолжала Лоретта Берд.

Она уселась поудобнее, зацепилась ногами за ножки стула, и я поняла, что это надолго. Мистер Пиблс уйдет к себе в лечебницу или уедет на вызов, миссис Пиблс приляжет соснуть на часок, а Лоретта будет тут отсвечивать и мешать мне прибираться. Начнет судачить о Пиблсах в их собственном доме.

— Некогда ей было бы днем разлеживаться, будь у нее семеро по лавкам, как у меня.

Она все допытывалась, часто ли они ссорятся и держат ли в комоде в спальне такие штучки,

чтобы не было детей. Если так, то это, мол, большой грех. Я притворялась, что не понимаю, о чем она толкует.

Мне было пятнадцать, я в первый раз жила не дома. За год до того родители поднатужились и отправили меня на два последних года в хорошую школу, чтобы подготовить к колледжу, но мне там не понравилось. Я никого не знала и очень стеснялась, учеба давалась мне тяжело, а в то время учителя с тобой не нянчились, не объясняли все по десять раз, как принято теперь. В конце года в местной газете напечатали показатели успеваемости, и я оказалась в самом конце — набрала всего тридцать семь процентов. Отец сказал: все, хватит, и я на него не в обиде. Так и так я не хотела дальше надрываться, чтобы в итоге выучиться на учительницу. Получилось так, что когда вышла газета с моими позорными результатами, доктор Пиблс у нас обедал — он в тот день помогал нашей корове отелиться, она двоих принесла. Доктор сказал, что я вроде девочка смышленая, его жена как раз ищет такую — помогать ей по дому. А то она связана по рукам и ногам, все-таки двое детей, нелегко одной в сельской глуши. Ну да, ну да, закивала мама из вежливости, но я по ее лицу

видела, что она не понимает, отчего жене доктора нужно сочувствовать: ребятишек всего двое, огород не копают, скотины не держат, на что жаловаться?

Когда я наведывалась домой и перечисляла свои обязанности, все покатывались со смеху. У миссис Пиблс была машина-автомат, стирально-сушильная, — я первый раз такую увидела. Теперь-то этим никого не удивишь, я сама столько лет машиной пользуюсь у себя дома, что с трудом вспоминаю, каким чудом она мне казалась в то далекое время, — подумать только, не надо выжимать вручную или возиться с валками, вешать тяжелое мокрое белье на веревки, а потом все снимать. Не говоря уж о том, что воду греть не надо! И еще — мне почти не приходилось печь. Миссис Пиблс призналась, что не умеет делать тесто для пирогов, — больше я такого ни от одной хозяйки не слышала. Сама-то я, конечно, печь умела — и слойки, и бисквит, хоть белый, хоть черный, только им ничего этого было не нужно: якобы они фигуру берегли. Оно бы и ладно, плохо только, что я там частенько ходила полуголодная. Приходилось запасаться чем-то из дома, мама давала мне с собой пончики, и я держала их в коробке под кроватью. Хозяйские

дети прознали, и я была не против поделиться, но на всякий случай взяла с них слово не выдавать наш секрет.

На следующий день после того, как приземлился самолет, миссис Пиблс посадила детей в машину и повезла в Чесли подстригаться. Там, в Чесли, была в то время одна хорошая парикмахерша. Она и сама, миссис Пиблс то есть, у нее завивалась и делала укладку, и по всему выходило, что домой они вернутся не скоро. Она всегда выбирала такой день, когда доктор Пиблс не ездил на дальние вызовы: собственной машины у нее не было. В первые годы после войны с машинами было туго.

Я любила оставаться одна в доме и хозяйничать в свое удовольствие. В кухне все было белое и ярко-желтое, а под потолком лампы дневного света. Это потом стали все белое менять на цветное, шкафчики отделывать под дерево и придумали боковую подсветку. Я любила, чтобы света было много. А в двойную раковину, для готовки и мойки, я просто влюбилась. Да и как не влюбиться, если ты всю жизнь мыла посуду в тазу, заткнув дырку-слив куском тряпки, и расставляла сушиться чашки-плошки на стол, на клеенку — и все это при керосиновой лампе!

А при такой-то благодати грех не стараться! Ну я и старалась, у меня все сверкало.

И еще, конечно, ванная комната. Я раз в неделю мылась в ванне. Хозяева были бы не против, если бы я мылась чаще, но мне казалось, что это слишком жирно, а может, я боялась превратить праздник в будни. Раковина, ванна, унитаз — все было розовое, и ванна закрывалась стеклянными дверцами с нарисованными фламинго. Даже освещение было розоватое. Под ногами коврик — пушистый и мягкий-премягкий, как снег, только теплый. Зеркало большое, трехстворчатое, во время мытья оно запотевало, и тогда воздух превращался в душистый пар (мне разрешали пользоваться вкусно пахнущими баночками и бутылочками). Я влезала на край ванны и сквозь туман любовалась собой в голом виде, с трех сторон сразу. Иногда я сравнивала жизнь у нас дома и здешнюю жизнь и думала: трудно представить себе, как живут другие, если сам привык жить иначе. Только мне казалось, что если живешь, как у нас дома, намного легче нарисовать себе что-нибудь шикарное — розовых фламинго, теплую ванную комнату и пушистый коврик, — чем наоборот: вообразить себя на месте бедняков. Почему так?

Я быстро управилась с делами, а напоследок почистила овощи к ужину и залила их холодной водой. Времени было еще полно, и я решила наведаться в хозяйкину спальню. Я сто раз там бывала, когда прибиралась, и всегда открывала ее стенной шкаф и рассматривала, что там у нее висит. В комод я бы нос совать не стала, нет, но шкаф не заперт, смотри сколько хочешь. Вообще-то вру. Я бы и в комод заглянула, только мне было стыдно и я боялась, что миссис Пиблс заметит.

Некоторые вещи, из тех, что висели спереди, она носила часто, и мне они были хорошо знакомы. А другие никогда не надевала, и они висели во втором ряду, сзади. Я огорчилась, что там нет свадебного платья. Но одно нарядное было — выглядывал только край длинной юбки, и мне не терпелось увидеть, какое оно целиком. Я запомнила, где оно висит, чтобы потом вернуть на место, и вытащила его наружу. Атласное, голубовато-зеленоватое, такое светлое, прямо серебристое. Я чувствовала в руках его приятную тяжесть. Фасон был самый модный: приталенное, с пышной юбкой, маленькие рукавчики и широкий воротник вдоль выреза-лодочки.

Дальше просто. Я сбросила с себя одежки

и натянула платье. В пятнадцать лет фигурка у меня была хоть куда — кто знает меня сейчас, наверно, не поверит! — и платье село на меня как влитое. К такому платью полагается лифчик без бретелек, но на мне был простой, обычный, — пришлось спустить лямочки с плеч, под платьем их было не видно. Потом я попробовала заколоть волосы повыше — для полноты картины. Лиха беда начало! Из хозяйкиного туалетного столика я достала румяна, помаду, карандаш для бровей и накрасилась. День был жаркий, платье тяжелое, да еще и волнение — в общем, мне страшно захотелось пить, и я вышла на кухню, вся расфуфыренная, налить себе газировки со льдом из холодильника. В доме у Пиблсов все пили имбирный или фруктовый лимонад как простую воду, ну и я тоже понемногу втянулась. Лед в морозилке не переводился, а мне эти прозрачные кубики так нравились, что я даже в стакан с молоком их кидала.

Я поставила ванночку со льдом обратно в морозилку, повернулась — и тут увидела, что на меня сквозь сетчатую дверь смотрит какой-то мужчина.

Я так вздрогнула, что чуть не расплескала лимонад и не залила им сплошь все платье. И он

это заметил и сказал:

— Я не хотел вас пугать. Я постучал, но вы доставали лед и не слышали.

Я не могла разглядеть его как следует, видела одну темную фигуру в проеме: так всегда бывает, если человек стоит вплотную к сетке, а сзади на него светит солнце. Я только поняла, что он нездешний.

— Я летчик, мой самолет стоит на поле недалеко от вашего дома. Меня зовут Крис Уоттерс, я хотел спросить, нельзя ли воспользоваться вашей колонкой.

У нас во дворе была колонка. В те времена все так набирали воду. Тут я заметила у него в руке ведро.

— Пожалуйста! — ответила я. — А если хотите, налью из крана, чтобы вам не качать. — Наверное, мне хотелось похвастаться, что у нас в доме водопровод и нам нет нужды самим качать воду.

— Я не прочь немного размяться. — Но он не двинулся с места, помолчал и сказал: — Вы собирались на танцы?

Приход чужого человека так меня переполошил, что я совсем позабыла, как я одета.

— А может, у вас тут принято каждый день ходить в таких нарядах?

Я тогда еще не умела ответить шуткой на шутку и окончательно сконфузилась.

— Вы здесь живете? Вы хозяйка дома?

— Нет, я у них работаю.

Многие, если услышат такое, сразу меняют свое отношение, начинают совсем по-другому на тебя смотреть и с тобой говорить, но он и бровью не повел.

— Я только хотел сказать вам, что вы шикарно выглядите. Я глазам своим не поверил, когда заглянул в дверь и увидел вас. Вы прямо красавица.

Я была совсем девчонка и не понимала, насколько это необычно, чтобы мужчина говорил такие слова — пусть не женщине, девочке. Он обращался ко мне как ко взрослой. Я не могла этого понять, не знала, что ответить, что делать, и хотела только одного — чтобы он поскорее ушел. Не то чтобы он мне не понравился, просто я вконец растерялась — стоит тут и смотрит на меня, а я словно язык проглотила.

Думаю, он догадался. Сказал мне спасибо, до свиданья и пошел с ведром к колонке. Я спряталась за жалюзи в столовой и оттуда следила за ним. Когда он ушел, я вернулась в хозяйкину спальню, сняла платье и повесила его на место.

Потом переоделась в свое, вытащила из волос шпильки, умылась и вытерла лицо бумажной салфеткой, а салфетку бросила в мусорное ведро.

Пиблсы стали выспрашивать, какой он, этот летчик. Молодой или средних лет? Высокий или не очень? Ответить толком я не могла.

— Симпатичный? — подтрунивал надо мной доктор Пиблс.

Я помалкивала и думала только о том, что рано или поздно он снова придет за водой, познакомится с доктором или с миссис Пиблс, разговорится с ними и между делом вспомнит, как увидел меня в тот первый день, разодетую точно на бал. Ему-то что? Для него просто повод посмеяться. Ему и в голову не придет, что мне эта забава выйдет боком.

После ужина Пиблсы отправились в город смотреть кино. Хозяйке хотелось покрасоваться, похвастаться новой прической. А я сидела в намытой до блеска кухне и не знала, чем себя занять, потому что уснуть все равно не получится. Миссис Пиблс, может, и не уволит меня, если узнает, но относиться ко мне по-прежнему уже не будет. Это было мое первое место, но я уже начала понемногу набираться опыта, стала соображать, чего от тебя ожидают хозяева. Лю-

бопытных никто не любит. Про нечестных я уж не говорю, но одной честности мало. Работаешь и работай, не в свое дело не лезь. Запоминай только, какая еда хозяевам по вкусу, как гладить белье, чтобы им угодить, и так дальше. Я не жалуюсь, ко мне там хорошо относились. Сажали за стол вместе со всеми (по правде говоря, я другого и не ждала, просто не знала тогда, что бывают семьи, где это не заведено) и несколько раз брали с собой на машине в город. Но все равно.

Я поднялась наверх, проверила, спят ли дети, и вышла из дому. Надо было его предупредить. Я перешла через дорогу и прошла в старые ярмарочные ворота. Чудно́ было видеть на поле самолет, в лунном свете он весь блестел. У дальнего края, уже заросшего кустами, стояла брезентовая палатка.

Он сидел снаружи и курил. Заметил, что к нему кто-то идет.

— Здравствуйте, хотели полетать? Прогулочные полеты начнутся завтра утром, приходите. — Потом он пригляделся и сказал: — А, это ты. Не сразу узнал тебя без нарядного платья.

Сердце у меня колотилось как бешеное, во рту пересохло. Я пыталась что-то сказать, но язык не слушался. Горло перехватило, я стояла как глу-

хонемая.

— Ты правда хотела полетать? Да ты садись. Закуришь?

У меня даже не было сил помотать головой, отказаться, и он вынул сигарету из пачки и подал мне.

— Теперь надо взять ее в рот, иначе не зажечь. Хорошо, что я знаю, как обращаться с застенчивыми барышнями.

Я послушалась. Вообще-то я не в первый раз взяла в рот сигарету. Я еще дома пробовала курить — моя подружка Мюриэл Лоу таскала сигареты у своего брата.

— Рука-то как дрожит! Ты просто пришла поболтать — или что?

Набрав побольше воздуху, я без остановки выпалила:

— Я пришла попросить вас никому не говорить про то платье!

— Какое платье? А, то, блестящее, длинное?

— Это платье миссис Пиблс.

— Чье? А, понятно, хозяйкино! В этом все дело? Ее не было дома и ты тайком надела ее платье? Нарядилась и сделала вид, будто ты королева… Вполне простительно, ничего страшного. Да ты и курить-то толком не умеешь. Только дым

пускаешь. Надо втягивать в себя. Неужели тебя никто не научил затягиваться? Так ты, значит, испугалась, что я тебя выдам? В этом все дело?

Мне было так стыдно — ведь я вроде бы прошу его стать соучастником, — что я даже кивнуть не сумела. Просто взглянула на него, и он все понял.

— Да не скажу я ничего, не бойся. Ни полслова. Зачем ставить тебя в глупое положение? Честное благородное!

Он увидел, что я даже спасибо не могу из себя выдавить, и, чтобы дать мне успокоиться, заговорил о другом:

— Как тебе мой плакат?

На земле, у самых моих ног, лежал фанерный щит с надписью: ВЗГЛЯНИ НА МИР ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ! ВЗРОСЛЫЕ — 1 ДОЛЛАР, ДЕТИ — 50 ЦЕНТОВ. ОПЫТНЫЙ ПИЛОТ.

— Мой старый щит пришел в негодность, вот я и решил его заменить. Убил на это чуть ли не целый день.

Написано было не ахти как красиво. Я бы ему за полчаса сделала намного лучше.

— Я не большой мастак по этой части.

— Да нет, неплохо получилось, — заверила я.

— Реклама как таковая мне не нужна, сара-

фанное радио работает исправно. Уже сегодня прикатили две машины желающих, пришлось им отказать. Не хочу вот так, с места в карьер. Я, конечно, не стал им объяснять, что поджидаю в гости местных барышень.

Тут я вспомнила про детей дома и опять всполошилась: вдруг кто-то проснется, позовет меня, а меня-то и нету.

— Уже уходишь? Так скоро?

Я наконец вспомнила про вежливость:

— Спасибо вам за сигарету.

— Не забудь — я дал тебе честное слово.

Я опрометью кинулась через ярмарочное поле, холодея от страха, что сейчас увижу на дороге хозяйскую машину. Я не соображала, который час, как долго я отсутствовала. Но все обошлось, было еще не так поздно, дети крепко спали. Я тоже легла и стала думать, как мне повезло, что все так хорошо закончилось. И какое счастье, что днем в хозяйкином платье застиг меня он, а не Лоретта Берд.

Всю траву у нас не вытоптали, до этого не дошло. Но народу все равно приезжало много, целый день была какая-то суета. Щит с объявлением висел теперь на ярмарочных воротах. Люди в основном появлялись ближе к вечеру,

но и днем, после обеда, тоже находились охотники. Ребятишки Бердов, даром что им на всех вместе пятидесяти центов было не наскрести, целый день, с утра до вечера, толклись у ворот. Сначала людей приводил в восторг каждый взлет и каждая посадка, но мало-помалу все привыкли. В гостях у летчика я больше ни разу не бывала, видела его, только когда он приходил набрать воды. Если получалось подгадать время, я старалась выйти на крыльцо — чистила овощи или делала еще какую-нибудь нехитрую работу.

— Почему тебя не видно на поле? Приходи, прокачу на самолете.

— Я деньги тратить не могу, — отговорилась я — не знала, что еще придумать.

— На что откладываешь? На свадьбу?

Я покачала головой.

— Да я тебя бесплатно покатаю! Выбери время, когда народу поменьше. Я ждал, что ты заглянешь еще раз на сигаретку.

Я сделала страшное лицо, чтобы он замолчал: на крыльцо в любой момент могли выглянуть дети, а у них всегда ушки на макушке, да и сама миссис Пиблс могла из дома подслушать наш разговор. Иногда она выходила перемолвиться с ним словечком. Он ей рассказывал много вся-

кого, со мной он ничем таким не делился. Да я и сама не догадывалась спросить. Рассказывал, что самолетом научился управлять на войне, а теперь ему никак не приспособиться к оседлой жизни, привык кочевать с места на место. Она говорила, что не представляет, как можно находить в этом вкус. Хотя иногда скука ее так одолевает, что она готова сама совершить какой-нибудь неожиданный поступок. Воспитание ее не подготовило к жизни в глуши. Все из-за мужа, из-за его профессии. Это было для меня что-то новенькое!

— Может быть, вам стоит открыть курсы пилотирования? — посоветовала она.

— А вы ко мне запишетесь?

Она только рассмеялась в ответ.

В воскресенье желающих полетать на самолете собралось хоть отбавляй, несмотря на то что сразу с двух церковных кафедр людей призывали воздержаться от искушения. Мы все уселись перед домом и стали смотреть. Джои с Хизер и ребятня Бердов устроились на заборе. Отец им разрешил, хотя мамаша всю неделю твердила, что никуда их не пустит.

Мы все увидели, как на дороге появилась машина: она проехала мимо других авто, запар-

кованных на обочине, и свернула к нашему дому. Из машины с важным видом вылезла Лоретта Берд, а с водительского места поднялась незнакомая женщина. На ней были солнцезащитные очки, и она вела себя скромнее.

— Эта дама разыскивает нашего летуна, — объявила Лоретта Берд. — Она спрашивала про него в кафетерии, а я как раз туда зашла выпить стаканчик колы, услышала и вызвалась показать ей дорогу.

— Извините за беспокойство, — сказала женщина. — Я Элис Келлинг, невеста мистера Уоттерса.

На этой Элис Келлинг были брюки в клетку, коричневые с белым, и желтая блузка. Грудь у нее была довольно-таки обвислая и бесформенная, так мне показалось. Выражение лица озабоченное. Волосы с остатками шестимесячной завивки, не уложены, отросли, и она подвязала их желтой лентой, чтобы не лезли в глаза. Какая-то она была несимпатичная и даже не особенно молодая. Но говорила культурно, ясно было, что городская, или образованная, или и то и другое.

Доктор Пиблс встал, назвал свое имя, представил ей жену и меня и пригласил сесть отдохнуть с дороги.

— Он сейчас в воздухе, но вы можете посидеть

тут с нами, подождать, пока он освободится. Он набирает воду из нашей колонки, сегодня еще не приходил. Около пяти он обычно делает небольшой перерыв.

— Так, значит, это он там? — спросила Элис Келлинг, наморщив лоб и вглядываясь в небо.

— Надеюсь, он не бегает от вас, не скрывается под чужим именем? — рассмеялся доктор Пиблс. И предложил всем выпить чаю со льдом. Сам предложил, не жена. Миссис Пиблс тут же послала меня на кухню, велела побыстрей приготовить чай. Она сидела и улыбалась. На ней тоже были темные очки.

— Он не говорил, что у него есть невеста, — сказала она.

Я обожала готовить холодный чай и разливать его по высоким стаканам, с кубиками льда и кружочками лимона. (Я забыла сказать, что доктор Пиблс ни капли в рот не брал, по крайней мере дома спиртного не водилось, а то меня не пустили бы у них работать.) Для Лоретты Берд тоже пришлось приготовить чай, хотя мне это было сильно не по нутру, и вдобавок не успела я уйти на кухню, как она заняла мой складной стул, и мне ничего не оставалось, как сесть на ступеньки.

— Я когда услыхала вас в кафетерии, сразу догадалась, что вы медсестра.

— Каким, интересно, образом?

— Я людей насквозь вижу. Вы же, наверно, так с ним и познакомились — ходили за ним, пока он болел?

— Вы про Криса? Верно, все так и было.

— Ах, так вы побывали в Европе? — спросила миссис Пиблс.

— Нет, мы познакомились раньше. Я ухаживала за ним в госпитале, он попал туда с прободным аппендицитом, когда был в Централии, в тренировочной летной школе. А в Европу его отправили уже после нашей помолвки... Ммм, какое наслаждение, особенно когда проедешь столько миль по жаре!

— Он наверняка вам обрадуется, — сказал доктор Пиблс. — При такой кочевой жизни, как у него, трудно обзавестись друзьями: сегодня здесь, завтра там.

— Долгонько вы с ним помолвлены, — обронила Лоретта Берд.

Элис Келлинг пропустила это мимо ушей.

— Я хотела остановиться в гостинице, но тут, к счастью, нашелся человек, готовый показать дорогу, и я не успела снять номер. Скажите, я мо-

гу от вас туда позвонить?

— А зачем? — сказал доктор Пиблс. — Глупо селиться в гостинице за пять миль. Тем более раз вы уже здесь. Отсюда до вашего жениха рукой подать, только дорогу перейти. Оставайтесь у нас. Чего-чего, а места хватает. Посмотрите, какой домина!

Без раздумий предлагать незнакомым людям кров — это чисто деревенский обычай, и доктор его уже усвоил, но миссис Пиблс нет, судя по тому, как она сказала сухо: да-да, места у нас достаточно. Элис Келлинг тоже такого предложения не ожидала и долго отказывалась, но потом все-таки дала себя уговорить. Конечно, трудно сказать нет, если тебе предлагают поселиться так близко. Мне все хотелось разглядеть ее колечко. Ногти у нее были накрашенные, ярко-красные, пальцы морщинистые, как у прачки, и все в веснушках. Камень в кольце оказался совсем ерундовый. У двоюродной сестры Мюриэл Лоу и то был больше, раза в два.

Под вечер Крис пришел за водой, как и говорил доктор Пиблс. Должно быть, он еще издали узнал машину и заготовил улыбку.

— Как видишь, я все гоняюсь за тобой, пытаюсь угадать, что еще ты придумаешь! — крикнула

Элис Келлинг.

Она поднялась и пошла ему навстречу, и они у нас на глазах наскоро поцеловались.

— Будешь за мной гоняться — разоришься на бензине, — пошутил Крис.

Доктор Пиблс пригласил Криса поужинать с нами, тем более он уже выставил объявление: «Полеты возобновятся в 19.00». Миссис Пиблс, несмотря на мошкару, пожелала ужинать на свежем воздухе. Деревенским никогда не понять это странное желание — есть на улице. Я заранее приготовила картофельный салат, а она — салат-желе, единственное, что она умела делать, — и нужно было только вынести все на стол во дворе и еще подать холодное мясо, огурцы и зелень. Лоретта Берд какое-то время крутилась во дворе, приговаривая: «Ну, ладно, пора мне домой, кормить моих горлопанов», «До чего же хорошо тут у вас сидеть, прямо уходить не хочется», но ее к ужину никто не пригласил, слава богу, и пришлось ей отбыть восвояси.

Когда вечерние полеты закончились, Элис Келлинг с Крисом куда-то поехали на ее машине. Я не могла уснуть, пока они не вернулись. Наконец по потолку скользнул свет от фар. Я встала с кровати, подошла к окну и посмотрела вниз

сквозь щелки в жалюзи. Уж не знаю, что я ожидала увидеть. Раньше мы с Мюриэл Лоу часто ночевали на веранде и следили, как ее сестра на ночь глядя прощается со своим парнем. После этого нам долго бывало не до сна, хотелось, чтобы кто-нибудь нас тоже целовал, и обнимал, и прижимался крепко-крепко. И еще мы воображали разное. Например, ты с парнем в лодке посреди озера, и он тебя пугает: мол, не отвезу на берег, пока не согласишься. Или завел тебя в сарай и запер дверь на засов — хочешь не хочешь придется уступить, деваться некуда, и никто не сможет тебя обвинить. Мюриэл сказала, что ее двоюродные сестры выдумали игру с рулоном туалетной бумаги, как будто одна из них парень. Только мы ничего такого не выдумывали, просто лежали и рисовали себе всякие картинки.

Но ничего интересного я не увидела. Крис вылез из машины с одной стороны, она с другой, и каждый пошел своей дорогой: он к ярмарочному полю, она к нашему дому. Я легла в постель и стала фантазировать, как бы я сама с ним прощалась. Уж точно не так!

На следующее утро Элис Келлинг встала поздно, и я приготовила ей грейпфрут, как меня научили, а миссис Пиблс подсела пообщаться и выпить

еще чашечку кофе. Миссис Пиблс вроде бы повеселела, оттого что у нее появилась компания. Элис Келлинг сказала, что не иначе как весь день придется провести, наблюдая взлеты и посадки, а миссис Пиблс сказала, что не знает, удобно ли это предлагать, поскольку машина не ее, а Элис Келлинг, но до озера всего двадцать пять миль, а погода отличная, как будто специально для пикника.

Элис Келлинг сразу ухватилась за эту мысль, и к одиннадцати они уже сидели в машине, вместе с Джои и Хизер и корзинкой с бутербродами, которую я собрала. Только Крис еще не успел приземлиться, а она хотела дать ему знать, что они поехали на озеро.

— Эди сходит к нему и передаст, — пообещала миссис Пиблс. — Не беспокойтесь.

Элис Келлинг слегка поморщилась и согласилась.

— Только не забудь сказать, что мы вернемся к пяти!

Я подумала, что никакой срочности нет, можно не торопиться, и еще представила, чем он там питается один, что готовит на своем примусе, и решила поскорее переделать все дела и заодно испечь ему пирог. Замесила песочное тесто,

поставила пирог в духовку, а пока он пекся, закончила работу по дому. Потом дала пирогу немного остыть и завернула его в чайное полотенце. Прихорашиваться я не стала, просто сняла передник и причесалась. Я бы с удовольствием подкрасилась, но побоялась, что он сразу вспомнит, в каком виде он меня застал первый раз, и я опять сгорю со стыда.

Он успел приземлиться и повесил на ворота новую табличку: «Вечерние полеты отменяются. Пилот приносит извинения». Я забеспокоилась, уж не заболел ли он. Перед палаткой я его не увидела, брезентовая пола на входе была опущена. Я постучала по металлической опоре.

— Входите, — отозвался он таким голосом, каким обычно говорят: «Прошу не беспокоить».

Я заглянула внутрь.

— А, это ты. Прости, я тебя не ждал.

Он сидел на краю кровати, вернее раскладушки, и курил. Почему, спрашивается, не выйти покурить на свежем воздухе?

— Я принесла пирог. Надеюсь, вы не заболели? — начала я.

— Заболел? С чего ты взяла? А, понятно… объявление. Нет, все в порядке. Просто устал от разговоров. К тебе это не относится. При-

сядь. — Он приподнял полу и закрепил наверху. — Пускай немного проветрится.

Я села на краешек кровати — больше некуда было. Тут я вспомнила, зачем пришла, и передала ему поручение от невесты.

Он отрезал себе кусок пирога, съел и похвалил:

— Вкусно.

— Если останется, приберите, доедите попозже.

— Скажу тебе кое-что по секрету. Я тут надолго не задержусь.

— Вы женитесь?

— Ха-ха. Когда, говоришь, они вернутся?

— В пять.

— Ну, к этому времени меня уже здесь не будет. Автомобилю за самолетом не угнаться. — Он развернул пирог и съел еще кусочек, думая о чем-то своем.

— Теперь вам пить захочется.

— В ведре есть вода.

— Наверно, теплая. Нагрелась за день. Хотите, я сбегаю принесу свежей? Могу и льда принести из холодильника.

— Постой, — сказал он. — Не надо никуда уходить. Я хочу без спешки с тобой попрощаться.

Он осторожно отставил в сторонку пирог и сел

рядом и начал легонько меня целовать, так ласково, что я до сих пор запрещаю себе об этом думать: такое нежное выражение было у него на лице, такие мягкие, теплые губы, — он целовал меня в глаза, в шею, в уши, во все места, и я в ответ его целовала, уж как умела (до него я целовалась только с одним мальчишкой, на спор, и проверяла, как получается, на собственной руке). И потом мы с ним лежали на раскладушке, прижавшись друг к другу, просто нежно прижавшись, и он себе позволил чуть больше — ничего плохого, то есть не в плохом смысле. В палатке было чудесно, пахло травой и брезентом, который нагрелся на солнце, и он сказал: «Я бы ни за что на свете тебя не обидел».

В какой-то момент, когда он перекатился с боку на бок и оказался сверху и мы вместе закачались на его раскладушке, он тихонько шепнул: «Ох, нет», высвободился, соскочил на пол и схватился за ведро с водой. Он смочил себе лицо и шею, а остатками побрызгал на меня.

— Нам нужно остыть, мисс.

Когда мы с ним окончательно прощались, я почти не расстроилась, потому что он сжал мое лицо ладонями и сказал:

— Я напишу тебе письмо. Сообщу, где я буду,

вдруг ты сможешь приехать меня повидать. Согласна? Ну вот и ладно. Жди.

Помню, я уходила даже с каким-то облегчением. Мне казалось, будто он засыпал меня ворохом подарков и я не смогу насладиться ими в полную меру, пока не останусь одна.

Поначалу никто особо не забеспокоился оттого, что самолета на поле нет. Решили, что Крис повез кого-то кататься, а я не стала объяснять что да как. Доктор Пиблс днем позвонил предупредить, что у него срочный вызов, и мы сели ужинать без него. И тут Лоретта Берд просунула в дверь голову и выпалила:

— Этот, ваш-то, улетел.

— Что? — сказала Элис Келлинг и подалась назад вместе со стулом.

— Ребята еще днем прибежали, сказали, что он складывает палатку. Решил, значит, что бесполезно ему тут дальше торчать, все, кто хотел прокатиться, уже накатались. Неужто улетел не сказавшись?

— Он со мной свяжется, — сказала Элис Келлинг. — Наверное, позвонит сегодня попозже. Из-за войны он совсем разучился подолгу сидеть на одном месте.

— Эди, он тебе ничего не говорил? — спросила

миссис Пиблс. — Ты ведь к нему ходила.

— Говорил, — созналась я. Пока что можно было не кривить душой.

— Так что же ты молчишь? — Все дружно уставились на меня. — Он сказал, куда полетит?

— Он сказал — может, попытает счастья в Бейфилде, — ответила я. На этот раз что-то подтолкнуло меня соврать. Сама не знаю что.

— Бейфилд — где это, далеко отсюда? — спросила Элис Келлинг.

— Миль тридцать — тридцать пять, — ответила миссис Пиблс.

— Так это недалеко. Можно сказать, почти рядом. На озере, правильно?

Я, конечно, поступила по-свински — нарочно направила ее по ложному пути. Но я хотела дать ему побольше времени. Я соврала ради него и, честно признаюсь, ради себя. Женщины должны выручать друг дружку, а не подличать, как я. Теперь я это понимаю, но тогда не понимала. Мне и в голову не могло прийти, что мы с ней можем быть чем-то похожи, что я сама когда-нибудь могу оказаться на ее месте.

Она не сводила с меня глаз: явно заподозрила неладное.

— Когда он тебе это сказал?

— Сегодня.

— Это когда ты ходила к нему с поручением?

— Да.

— Ты, наверное, там задержалась. Решила погостить подольше, поговорить по душам. — И она улыбнулась — не самой приятной улыбкой.

— Я отнесла ему пирог, — брякнула я в расчете, что если часть правды выдать, остальное можно будет утаить.

— А разве у нас был пирог? — довольно резко спросила миссис Пиблс.

— Я испекла.

— Какая заботливость! — сказала Элис Келлинг.

— А кто тебе позволил? — влезла Лоретта Берд. — Никогда не знаешь, что эти девчонки способны выкинуть — не со зла даже, а по глупости.

— Пирог не пирог, не в этом суть, — перебила ее миссис Пиблс. — Я и не подозревала, Эди, что ты настолько подружилась с Крисом.

Я не знала, что сказать.

— А я ничуть не удивляюсь, — сказала Элис Келлинг, и голос у нее зазвенел. — На нее достаточно взглянуть — все тут же станет понятно. К нам в больницу таких десятками привозят. — Она злобно вперилась в меня, хотя с ее лица

не сходила странная улыбка. — Привозят рожать. Приходится класть их в специальное отделение — они все больны заразными болезнями. Малолетние деревенские потаскушки. Четырнадцать-пятнадцать лет, а туда же! Видели бы вы, кого они рожают!

— Ага, у нас в городке была одна гулящая, так у ее младенца глазки гноились, — поддакнула Лоретта Берд.

— Погодите, — вмешалась миссис Пиблс. — Что за чушь? При чем тут… Эди! Что тебя связывает с мистером Уоттерсом? У вас была интимная близость?

— Да, — сказала я, вспомнив, как мы лежали на раскладушке и целовались. Что это, если не близость? Я ни за что бы от нее не отреклась.

На минуту все притихли, даже Лоретта Берд прикусила язык.

— Ну и ну, — вымолвила наконец миссис Пиблс. — У меня нет слов. Где мои сигареты? Уверяю вас, я никогда ничего подобного за ней не замечала. — Она обращалась к Элис Келлинг, но Элис Келлинг продолжала в упор смотреть на меня.

— Распутная сучка. — У нее по лицу катились слезы. — Мелкая распутная тварь, вот ты кто!

Я с первого взгляда тебя раскусила. Мужчины таких презирают. Он просто использовал тебя — и был таков, ты хоть понимаешь это? Такие, как ты, — полное ничто, отхожее место, грязные подтирки!

— Ну полно, — попыталась остановить ее миссис Пиблс.

— Подтирки! — всхлипывала Эллис Келлинг. — Грязные подтирки!

— Ой, да не убивайтесь вы так, — принялась утешать ее Лоретта Берд: ее всю распирало от восторга — как же, своими глазами увидеть такую сцену! — Мужчины все одним миром мазаны.

— Эди, я крайне удивлена, — сказала миссис Пиблс. — Я считала, что твои родители — люди строгих правил. Ты ведь понимаешь, что тебе рано заводить ребенка?

Мне до сих пор стыдно вспоминать, что тут со мной приключилось. Я совсем растерялась, прямо как шестилетняя малявка, и в голос заревела:

— От этого детей не бывает, неправда!

— Ну вот, я же говорю: у них все от глупости, — сказала Лоретта Берд.

Но миссис Пиблс вдруг вскочила, схватила меня за плечи и принялась трясти.

— Ну-ка, успокойся! Без истерик. Успокойся. Не реви. Послушай меня. Послушай! Давай разберемся: понимаешь ли ты, что значит «интимная близость»? Спокойно скажи мне. Что это значит, по-твоему?

— Это когда целуются, — провыла я в ответ.

Она убрала руки и отпустила меня.

— Ох, Эди! Прекрати. Не глупи. Все хорошо. Вышло недоразумение. «Интимная близость» — это много, много больше. Не зря я засомневалась…

— Проговорилась, а теперь изворачивается! — не сдавалась Элис Келлинг. — Да-да. Она не дура. Знает, что придется держать ответ.

— Я ей верю, — твердо сказала миссис Пиблс. — Какая отвратительная сцена!

— Что ж, есть способ выяснить все наверняка, — заявила Элис Келлинг и решительно встала со стула. — В конце концов, я медицинская сестра.

Миссис Пиблс перевела дух и сказала:

— Нет. Нет! Поди к себе, Эди. И прекрати выть! Это просто невыносимо!

Скоро до меня донесся шум отъезжающей машины. Я легла на кровать и долго пыталась унять рыдания, подавить приступы плача — они

накатывали на меня словно волны, один за другим. Наконец я кое-как справилась со слезами и просто лежала без сил.

Немного погодя дверь открылась и в комнату заглянула миссис Пиблс.

— Уехала, — сообщила она с порога. — И эта балаболка Лоретта тоже ушла. Ты, полагаю, сама знаешь, что не должна была приближаться к этому человеку, тогда никаких неприятностей не случилось бы. У меня голова раскалывается. Когда придешь в себя, сходи умойся холодной водой и приберись на кухне. И возвращаться к этой теме мы не будем.

И мы действительно не возвращались к этой теме. Только много лет спустя я сумела сполна оценить, от какой беды уберегла меня миссис Пиблс. После того случая она стала относиться ко мне холоднее, чем прежде, но всегда была справедлива. Хотя «холоднее» не совсем правильное слово — это смотря с чем сравнивать. Особого тепла она и раньше ко мне не проявляла. Просто теперь ей приходилось постоянно приглядывать за мной, а это кому хочешь будет действовать на нервы.

Что до меня, я постаралась позабыть давешний скандал, как дурной сон, и стала ждать обещанно-

го письма. Почту доставляли каждый день, кроме воскресенья, от половины второго до двух — очень удачное время, потому что миссис Пиблс после часу как раз ложилась вздремнуть. Я наводила блеск на кухне и шла к почтовому ящику у дороги, садилась на траву и принималась ждать. Само ожидание доставляло мне удовольствие. Я все выбросила из головы — Элис Келлинг, шум, который она подняла, обвиняя меня во всех грехах, то, как переменилась ко мне миссис Пиблс, боязнь, как бы она не рассказала все доктору, и физиономию Лоретты Берд, которую хлебом не корми — дай порадоваться чужому несчастью. При виде почтальона я всегда улыбалась, продолжала улыбаться и тогда, когда он вручал мне почту и я убеждалась, что сегодня письма мне нет. Почтальон был из семейства Кармайклов. Я определила это по лицу: у нас в округе много Кармайклов, и почти у всех смешно оттопырена верхняя губа. Для проверки я спросила, как его зовут (он был молодой парень, застенчивый, но добродушный, всегда охотно отвечал, о чем ни спросишь), и когда он назвался, сказала: «Я по лицу догадалась, кто ты такой!» Ему это понравилось, он всегда был рад меня видеть и понемногу перестал робеть. «Я твоей

улыбки весь день ждал!» — кричал он мне на прощанье из окна машины.

Долгое время у меня и в мыслях не было, что письмо может вообще не прийти. В том, что оно придет, я была так же уверена, как в том, что утром взойдет солнце. Не сегодня-завтра моя надежда сбудется, просто нужно подождать еще денек. И вот у столба с почтовым ящиком уже зацвели золотые шары, а потом дети снова пошли в школу, и я, отправляясь встречать почту, стала надевать теплый свитер. Однажды, возвращаясь со счетом за электричество — единственный конверт, который пришел в тот день, — я посмотрела на ярмарочное поле за дорогой, на белый пух ваточника, на побуревшие шишки ворсянки — совсем осенняя картина, — и вдруг меня как молнией ударило: *никакого письма не будет*. Смириться с этой мыслью казалось трудно, почти невозможно. Невозможно? Как сказать. Если я вспоминала лицо Криса, когда он обещал написать мне, мысль и впрямь казалась невозможной, но если забыть его лицо и вспомнить пустой почтовый ящик, то все становится на свои места, от правды не убежишь. Я по-прежнему ходила встречать почту, но сердце как будто свинцом налилось. И улыбалась я теперь, только чтобы

не расстраивать нашего почтальона: у него и так жизнь не сахар, а тут еще зима на носу.

Но в один прекрасный день до меня внезапно дошло: это же сколько женщин, везде и всюду, вот так вот гробят свою жизнь! Ждут и ждут у почтовых ящиков какого-то заветного письма. И я представила себе, что продолжаю выходить за почтой — день за днем, год за годом, а в волосах уже пробивается седина, и я подумала: ну нет, не из такого я теста сделана, с меня довольно. Я перестала выходить встречать почту. Если поделить женщин на тех, кто всю жизнь покорно ждет, и на тех, кто не ждет, а действует, то я знаю, с кем мне по пути. Даже если эти вторые что-то упускают и чего-то им изведать не судьба, все равно — по мне, пусть лучше так.

Я очень удивилась, когда однажды вечером в доме Пиблсов раздался звонок и наш почтальон попросил меня к телефону. Он сказал, что соскучился, давно меня не видел. Спросил, не хочу ли я съездить с ним в Годрич, там идет какой-то знаменитый фильм, теперь уж не помню какой. Ну, я согласилась, и потом мы два года встречались, и он сделал мне предложение. Мы обручились, и еще год я приводила свои дела в порядок, но в конце концов мы поженились.

Он любит рассказывать детям, как я будто бы бегала за ним — каждый день караулила его возле почтового ящика, а я на это только смеюсь и не перечу: пускай люди думают, как им нравится, пускай живут и радуются!

Хождение по водам
Перевод Андрея Степанова

В этой части города по-прежнему жило много стариков, хотя некоторые и переехали в новые высотки за парком. Мистер Лоухид каждый день встречал тут приятелей или, лучше сказать, знакомых, то на автобусной остановке, то на набережной у моря. Они снимали квартиры или комнаты, и мистер Лоухид иногда заходил к ним поиграть в карты. Он числился в клубе игроков в боулинг на траве, а также еще в одном: его участники снимали любительские фильмы о летних путешествиях, а зимой собирались в кинозале в центре города и показывали их друг другу. Мистер Лоухид вступил в эти сообщества вовсе не потому, что так уж жаждал общения. Это была, скорее, мера предосторожности: он понимал, что если будет потворствовать своим естественным наклонностям, то скоро превратится в отшельника. За те долгие годы, что он владел аптекой, мистер Лоухид научился поддерживать разговоры с самыми разными людьми: болтаешь, делая вид, что беседа тебя увлекает,

а сам думаешь о своем. Так же он общался и с женой. Всегда старался давать людям то, что они хотят, при этом оставаясь в душе одиноким и сохраняя покой. И никто, кроме, пожалуй, жены, даже не подозревал ни о чем подобном. Но теперь, когда он никому ничего не был должен, мистер Лоухид решил, что лучше иногда самому вступать в контакт с людьми. А если выбирать собеседника по душе, кто бы им стал? Только Юджин. Больше никто не подходит. Будь его воля, он бы замучил Юджина разговорами.

На прогулке по набережной мистер Лоухид и услышал про обещание Юджина.

— Говорит, что сможет пройти по воде.

Мистер Лоухид был уверен: ничего такого Юджин сказать не мог.

— Говорит, надо просто представить, что из тела улетучилась вся тяжесть. Как только представишь, все станет возможно. Его слова.

Это были мистер Клиффорд и мистер Мори. Они сидели на скамеечке, переводя дыхание после прогулки.

— Говорит, дух побеждает плоть.

Они подвинулись, приглашая мистер Лоухида присесть, но тот остался стоять. Он был высокий, худой и, когда выдерживал темп, мог долго идти

не задыхаясь.

— Юджин много чего говорит в таком роде, — объяснил он старикам, — но это только абстрактные рассуждения.

Он решил не обращать внимания на тон, с которым они передавали слова Юджина, хотя чувствовал, что их ирония отчасти оправданна.

— Юджин очень толковый парень. Он вовсе не чокнутый.

— Ну, мы посмотрим, что у него получится, тогда и решим.

— Либо он чокнутый, либо я. Либо он сам Иисус Христос.

— На что это вы посмотрите? — осторожно спросил мистер Лоухид, уже предчувствуя ответ.

— Он обещал сойти с пирса Росс-пойнт и пройти по воде.

Мистер Лоухид сказал, что Юджин наверняка пошутил. Мистер Клиффорд и мистер Мори заверили его: это вовсе не шутка, а вполне серьезное намерение. (Когда старики уверяли, что Юджин настроен серьезно, они посмеивались и весело кивали, а мистер Лоухид, объявляя слова Юджина шуткой, хмурился и имел крайне неприветливый вид.)

Оказалось, что исполнить свое обещание Юд-

жин должен в воскресенье утром. А сегодня пятница. Десять утра в воскресенье — удобное время: люди успеют в церковь после того, как состоится (или не состоится) хождение по водам. Однако, как и ожидал мистер Лоухид, никто из стариков не слышал ничего от самого Юджина — просто до них дошли слухи. Мистер Мори слыхал разговор своих приятелей, когда играл с ними в карты, а мистер Клиффорд узнал новость в читальном зале Общества англоизраэлитов.

— Да об этом все только и говорят.

— Что ж, поговорят и перестанут, — отрезал мистер Лоухид. — Юджин совсем не идиот. По крайней мере, не больший идиот, чем любой из нас.

Он повернулся и пошел своей дорогой. Точнее, сразу направился домой — более коротким путем, чем обычно.

Он постучался к Юджину — тот жил прямо напротив его комнаты.

— Войдите, — послышался в ответ безмятежный, но в то же время предупредительный голос.

Мистер Лоухид отворил дверь и чуть не отшатнулся от резкого порыва холодного ветра с океана. Окно в комнате было открыто настежь.

Юджин сидел прямо на полу у окна. Его ноги

были заплетены друг за друга весьма причудливым образом. Впрочем, Юджин уверял, что такое положение для него теперь совершенно естественно. На нем были только джинсы, больше ничего. Мистер Лоухид окинул взглядом молодого человека: худощавое, даже хрупкое телосложение. Интересно, способен ли он вообще к физическому труду? Какой груз смог бы он поднять? Однако, несмотря на слабость, Юджин умеет так гнуть и растягивать свое тело, что оно принимает самые пугающие позы. Он, разумеется, уверяет, что это только приятно. Гордится своим умением.

— Садитесь, — сказал Юджин. — Я сейчас выйду.

Он имел в виду — выйду из медитации: как раз заканчивал упражнения. Юджин иногда садился медитировать, даже не закрыв дверь в комнату. В таких случаях мистер Лоухид, проходя по коридору, сразу отводил глаза. И в лицо Юджину никогда не смотрел. Интересно почему? Отчего он в такие моменты бывал встревожен, отчего приходил в смятение, словно увидел парочку, которая занимается сексом?

И такое тоже было.

На первом этаже в их доме жили трое молодых

людей: Калла, Рекс и Ровер. Последнему из них — Роверу, то есть «разбойнику», — должно быть, дали такое прозвище в насмешку. Это был худосочный, болезненный паренек, с виду похожий на двенадцатилетнего мальчика, а по лицу его иногда можно было принять за пятидесятилетнего мужчину. Мистер Лоухид видел, как он спит в холле на ковре, словно собака. Рекс и Калла — тоже странные прозвища: такие больше подошли бы животному и цветку. Не могли же их так назвать родители? Мистеру Лоухиду казалось, что у этих молодых людей и не было родителей. Что они и в глаза не видели ни детских колясок, ни высоких стульчиков, ни трехколесных велосипедов. Просто взяли и выросли такими, как сейчас, прямо из земли. Наверняка они сами о себе именно так и думают.

Однажды он вошел в дом, а дверь в квартиру на первом этаже оказалась открыта. Как будто оттуда только что кто-то выбежал. В дальней части холла — не под лестницей, а на самом виду — слились друг с другом два тела. Рекс и Калла. Девушка была, как всегда, в длинной юбке, и она стояла на четвереньках, пронзительно вскрикивая и дергаясь от толчков. Юбка задрана вверх, наполовину прикрывает голову. Мистер Лоухид

увидел только округлый кусок плоти, которую, как жеребец, быстро крыл стоящий за ней парень. По-видимому, он заметил мистера Лоухида, поскольку издал вопль, выражавший то ли радость, то ли изумление, а потом наклонился вперед так, что они оба — и он, и девушка — упали, и столь важная для них связь была прервана. Голоса их, однако, слились в хохоте, который показался мистеру Лоухиду не просто лишенным даже тени смущения, но насмешливым и издевательским. Смеялись, очевидно, над ним — над замешательством свидетеля совокупления.

Мистеру Лоухиду хотелось сказать им, что не так уж он и смущен. Еще школьником, когда он учился в Стоун-скул в поселке Маккиллоп, ему довелось оказаться в числе зрителей представления, которое устраивал один из братьев Брюеров и его младшая сестра. Дело происходило в туалете для мальчиков, месте грязном и вонючем. И это не была симуляция. Так что пусть не думают, будто они первыми придумали подобные вещи.

Но если он не был шокирован или смущен, тогда что же это за чувство? Сердце в груди екнуло, а в голове все потемнело и стеснилось, так что пришлось присесть. У него в ушах еще некоторое

время звучал их смех, словно наяву. Он воображал, как их волосатые гениталии ритмично соединяются, распухшие и ненасытные, с хлюпающим звуком, а потом раздается этот хохот. Как животные. Нет, неправда. Животные делают свои дела, не привлекая ничьего внимания и с полной серьезностью. Что ему не нравится, сказал он тогда Юджину, что ему не нравится в их поколении, так это то, что они все делают напоказ. Зачем вопить по любому поводу? Они и морковку не могут вырастить, не похвастав перед другими.

Вот взять такой пример. Есть в городе одна лавочка, куда он часто захаживал, потому что ему нравились выставленные прямо на тротуар корзины с овощами — комковатыми, бугорчатыми, с налипшей землей. Они напоминали о детстве: тогда выставляли на улицах такие же овощи, и в погребе у них дома они лежали. Но эти молодые люди, владельцы магазина, с длинными волосами, с индейскими повязками на головах, в полосатых комбинезонах, под которыми видно дырявое белье… (А разве это не маскарад? Да ни один фермер, будучи в здравом уме, даже самый бедный, не приедет в город в таком наряде.) И их протяжные ханжеские рассуждения

о садоводстве, о правильном питании — все это раздражало так, что он перестал к ним ходить. Они слишком самодовольны. Хлеб пекли до них, репу сажали и собирали тоже до них. Все их фермерство — фальшь, и в каком-то смысле даже большая фальшь, чем супермаркеты.

— Мне кажется, то, чем они занимаются, не столько фальшиво, сколько скучно, — резонно заметил на это Юджин. — Они как первые христиане. Те тоже, должно быть, казались всем скучными людьми.

— Эти долго не протянут. Их предприятие быстро прогорит.

— Возможно. Однако кое-кому удавалось основать свою практическую жизнь на определенной философской доктрине, и даже с большим успехом. Гуттеритам, например. Или меннонитам.

— Ну, у них совсем другие мозги, — ответил мистер Лоухид.

Произнося это, он как бы видел себя со стороны: старый упрямый брюзга.

Юджин вышел наконец из транса. Встал, потянулся и спросил мистера Лоухида, не хочет ли тот чаю. Мистер Лоухид ответил согласием. Юджин воткнул вилку электрического чайника в розетку и прошел по комнате, прибирая и ставя на место

вещи. У него всегда было очень чисто. Спал он на матрасе, брошенном прямо на пол, но стелил простыни, причем чистые: он их стирал в прачечной самообслуживания. Книги стояли на досках, положенных на кирпичи, или просто теснились на полу и на подоконнике. У него были сотни книг, и почти все в мягких обложках. Вошедшему в комнату прежде всего бросались в глаза именно книги. Мистер Лоухид часто пробегал глазами по их названиям, испытывая при этом некоторое благоговение и чувство собственной неполноценности. «От Хайдеггера к Канту». Нет, он, конечно, знал, кто такой Кант, но никогда его не читал, только прочел кое-что о нем в «Рассказах о философии». Должно быть, когда-то давно он знал и кто такой Хайдеггер, но теперь совсем забыл. Он ведь не учился в колледже. В его время, чтобы стать провизором, надо было только пройти практику в качестве ученика, что он и сделал в аптеке своего дяди. Правда, потом у него был в жизни период, когда он взялся за чтение серьезных книг. Но не таких серьезных, как эти. Он знал достаточно, чтобы узнавать фамилии авторов, и только. Майстер Экхарт. Симона Вайль. Тейяр де Шарден. Лорен Айзли. Почтенные имена. Блестящие. И Юджин

не просто собирал книги, надеясь когда-нибудь их прочесть. Нет. Он действительно читал их. Одолел чуть ли не всё, что можно, по этим самым важным и трудоемким предметам. Философия. Религия. Мистика. Психология. Наука. Юджину было двадцать восемь лет, и можно смело утверждать, что двадцать из них он провел за чтением. У него были и дипломы. Он получал стипендии и премии. Но обо всем этом он отзывался с презрением или упоминал вскользь, таким тоном, словно извинялся за подобную чепуху. Он несколько раз ненадолго брался за преподавание, но постоянной работы у него, похоже, никогда не было. Некоторое время назад он пережил сильный нервный срыв, за которым последовал длительный кризис, и он до сих пор не до конца от него оправился — так считал сам Юджин. И в самом деле, он был похож на выздоравливающего, тщательно оберегающего себя от рецидива болезни. Делал все неторопливо, размеренно, даже в его плавных движениях, даже в его беззаботности ощущалась эта неторопливость. Свои шелковистые волосы Юджин стриг на манер средневекового мальчика-пажа, глаза у него были карие, сияющие, взгляд мягкий, — весь его облик был очень привлекательным.

Еще он носил усики, но все равно выглядел моложе своих лет.

— До меня дошли слухи, что ты собираешься пройтись по воде, — сказал мистер Лоухид, стараясь говорить шутливым тоном.

— Меду не хотите? — спросил Юджин и протянул большую ложку мистеру Лоухиду.

Мистер Лоухид пил чай неподслащенным, но на этот раз рассеянно взял ложку.

— Я в это не поверил, — продолжил он.

— Почему же? — спросил Юджин.

— Я сказал, что ты не идиот.

— И были неправы.

Оба улыбались. Мистер Лоухид улыбался одними губами, из вежливости, и все-таки его улыбка выражала надежду. Юджин улыбался добродушно и открыто. Но было ли это действительно природное добродушие? Или он научился так себя вести, достиг этого сознательно? Юджин хорошо разбирался в военной истории, в эзотерике, в астрономии, в биологии, мог поговорить хоть об индийском, хоть об индейском искусстве, хоть об искусстве отравления. Он сделал бы себе состояние в эпоху, когда в моде были телевикторины, — мистер Лоухид однажды сказал ему об этом, но Юджин только рассмеялся в ответ

и заметил, что, слава богу, эта душевредительная мода уже миновала. И все, что делал Юджин, — любой его поступок, любое телодвижение — было осознанно, достигнуто сознательно. Он жил так, словно предстоял перед лицом кого-то высшего — того, о ком сам никогда не упоминал. Не отсюда ли его нервный срыв? Его непомерные знания? Его понимание жизни?

— Может быть, я просто что-то не так понял? — спросил мистер Лоухид. — Ты не обещал пройти по воде?

— Обещал.

— И зачем это?

— Зачем? Цель хождения по водам — хождение по водам. Если оно возможно. А вам как кажется?

Мистер Лоухид затруднился с ответом.

— Ты, по-видимому, шутишь.

— Может, и шучу, — все с тем же сияющим видом ответил Юджин. — Но это серьезная шутка.

Взгляд мистера Лоухида невольно обратился к той полке, где у Юджина стояли совсем другие книги, не философские. Здесь теснились разные пророчества и жизнеописания пророков, рассуждения об астральных телах, описания встреч со сверхъестественными явлениями, рассказы

о разных жульничествах — или о магии, если кому-то угодно это так называть. Мистер Лоухид, как и другие, даже иногда брал кое-что почитать с этой полки, но всякий раз не дочитывал: мешал скептицизм. Как-то он заметил Юджину, ввернув фразу, бывшую в ходу в дни его юности: мол, все это только тень наводит. Он никак не мог поверить, что Юджин относится к подобным вещам всерьез, даже если тот прямо это утверждал.

Через несколько дней после инцидента в холле мистер Лоухид, придя домой, обнаружил, что у него на дверях появился знак: нечто похожее на цветок с тонкими красными лепестками, выведенными неумелой рукой, а между красными изгибались в другую сторону черные лепестки. В середине был красный кружок, а в нем — черный, настоящая черная дыра. Мистер Лоухид потрогал краску: уже почти подсохшая. Сейчас продают краски, которые сохнут прямо на глазах. Он позвал Юджина взглянуть на рисунок.

— Ничего страшного, — сказал тот. — Не о чем волноваться. Я этого знака не узнаю. Они его наверняка просто выдумали.

Мистер Лоухид помолчал с минуту, переваривая информацию.

— Да это и вообще не знак, — добавил Юджин.

— Не знак? — переспросил мистер Лоухид.

— Знак — это нечто… В общем, разница между этим рисунком и настоящим знаком такая же, как между бессмысленным набором слов и заклинанием, хотя оно тоже может звучать совершенно бессмысленно для непосвященного.

— Я не то чтобы беспокоился о том, что это… знак, — произнес мистер Лоухид, взяв себя в руки. — Ты ведь имеешь в виду, если я правильно понял, какой-то магический знак? Меня беспокоит, что они мне дверь испортили. Им совершенно нечего делать тут, наверху, и они не имеют никакого права рисовать у меня на двери.

— Ну, я думаю, они так шутят. Или решили сделать это на спор. Они ведь как дети. Особенно Рекс и Калла — те совсем как дети. А Ровер только кажется таким, на самом деле он в известном смысле загадка. Он, должно быть, помнит о своих прошлых жизнях.

Мистера Лоухида не интересовали прошлые жизни Ровера. Он просто не мог поверить, что вот такая штука, намалеванная на двери, может иметь серьезное значение для человека, если только этот человек не полный идиот.

— Скажи, пожалуйста, — обратился он к Юджи-

ну с нескрываемым любопытством, — а если бы ты у себя на двери обнаружил некий знак, ты бы встревожился? Неужели ты в это веришь?

— Безусловно.

— Ну, не знаю! Я в такое вряд ли смог бы поверить, — развел руками мистер Лоухид. Потом, немного подумав, вздохнул и повторил твердо: — Нет, не смог бы.

— Да, вы в трудном положении, — кивнул Юджин.

Впоследствии мистер Лоухид не раз думал, что ему следовало еще тогда осознать, до какой степени Юджин погружен во все это. Не пришлось бы теперь так удивляться.

— Мир, который мы принимаем как данность — тот, что называется внешней действительностью, — начал Юджин спокойным голосом, — на самом деле вовсе не так устоялся в своих проявлениях, как нам кажется. И способов управления им намного больше, чем принято считать. — Разъясняя что-нибудь мистеру Лоухиду, Юджин всегда использовал полные предложения, и голос его звучал плавно и мелодично. Когда же он беседовал с жившей внизу троицей, то произносил только короткие отрывистые фразы. Язык его становился невнятным и как бы

экстатическим — по-видимому, чтобы юнцам было понятнее. — Его так называемые законы не завершены, — продолжал Юджин. — Вам кажется несомненным, что тело вроде этого, — тут он коснулся плеча мистера Лоухида, — не может двигаться по поверхности воды, поскольку не способно обрести невесомость.

Нет, все-таки это шутка.

— Но вы же верите, что некоторые ходят по горячим углям и не получают никаких ожогов?

— Да, я читал про такое.

— Это давно установленный факт. И фотографии вы видели, да? Значит, вы верите в это?

— Ну допустим.

— Однако при этом их ступни — это плоть. Следовательно, на коже должны остаться ожоги, да? Но их нет. Разве из этого не следует, что сознание может в определенной степени подчинить себе материю и некоторые материальные законы перестанут работать?

— Я бы посмотрел, как сознание подчинит себе силы гравитации.

— Вполне может. Вполне. Есть люди, которым удавалось отрываться от земли на несколько дюймов.

— Пока я не увижу собственными глазами,

как вот эта корзина для бумаг взлетит и проплывет у меня над головой, — сказал мистер Лоухид, стараясь сохранять веселый тон, — я ни во что подобное не поверю.

— Дорога в Эммаус, — тихо проговорил Юджин.

Он знал даже Библию. Единственный человек в возрасте до сорока из всех, с кем доводилось встречаться мистеру Лоухиду, который знал Библию. Не считая, разумеется, «свидетелей Иеговы».

— Корзина для бумаг не владеет собой, она не может направлять свою энергию. Но если бы на вашем месте сидел человек, способный направлять свою энергию в нужную ему сторону…

И он принялся рассказывать об одной женщине в России, которая могла передвигать по комнате тяжелую мебель, не касаясь ее. Она утверждала, что энергия концентрируется у нее в районе солнечного сплетения.

— Но с чего ты решил, что сам обладаешь такими способностями? — спросил мистер Лоухид. — Что можешь управлять энергией, останавливать поток гравитации и так далее?

— Если я и смогу что-либо остановить, то толь-

ко на ничтожный промежуток времени. На какие-то доли секунды. Я ведь всего лишь неофит. Но этого вполне достаточно, чтобы люди задумались. Да, я бы хотел выйти из тела. Мне еще ни разу не удавалось его покинуть.

— Ты убедись сначала, что можешь вернуться обратно.

— Ну, другие же могут. У многих получалось. Когда-нибудь этому будут учить — так же как кататься на коньках. Представьте: я ступлю на воду, и мое видимое тело, вот это, камнем пойдет ко дну. Но ведь есть вероятность того, что другое мое тело вознесется, и тогда я погляжу вниз и увижу самого себя.

— Увидишь самого себя утопшим, — заключил мистер Лоухид.

Юджин рассмеялся, но не таким смехом, который развеял бы все сомнения.

Мистеру Лоухиду хотелось понять: что же стоит за всем этим? Игра, обман? Что-то ведь должно за этим стоять, а что — непонятно. Если бы вот так заговорили Калла или Рекс, — предположим, что они научились говорить длинно и связно, — все было бы ясно. Но если Юджин обманщик, то, значит, его открытость и простодушие — всего лишь трюк? Нет, представить себе обман такого

масштаба было невозможно.

— Значит, цель твоей затеи — задать людям, так сказать, встряску? Пусть усомнятся в показаниях своих органов чувств?

— Да, наверное, так бы и было.

— А как тебе вообще такое в голову пришло?

— Началось почти что с шутки. Я разговаривал с двумя пожилыми женщинами — сестрами, одна из них слепая… Я не знаю, как их зовут…

— А, понятно! Я знаю, о ком ты.

Юджин любил поболтать со стариками, и те относились к нему с симпатией: для них он был кем-то вроде вежливого посла из дикой страны юности.

— Мы заговорили на разные такие темы, и я сказал: на самом деле все возможно. Ведь это уже было — хождение по водам, это факт. Я имею в виду — недавно. Тогда они спросили, не хочу ли я сам попробовать. И я ответил: да, хочу.

— А не было ли это несколько самонадеянно с твоей стороны? — заметил мистер Лоухид с задумчивым видом — и с дальним прицелом.

— Я понимаю, о чем вы. Тем же вечером я медитировал и позволил себе вопрос — не хочу ли я просто потешить свое эго? И мне пришло в голову, что это неважно. Не имеет значения,

ради чего я так поступаю. Что бы ни привело меня к этой мысли, ей надо довериться. Цель поступка может оказаться выше моего разумения. Да-да, я понимаю, как это звучит, но моя воля или желание тут ни при чем, я — только средство. Все получилось само собой. Я собирался сделать это сразу же, просто для тех двух старушек, но потом мне захотелось подготовиться, и я назначил все на воскресенье. А теперь я слышу об этом от незнакомых людей на улице. Удивительно, да?

— Послушай, Юджин. Тебя не волнует, что ты можешь разыграть дурака на глазах у всего народа?

— Ну, по-моему, это неудачное выражение. Бессмысленное. «Разыграть дурака». Как можно разыграть дурака? Разве этот дурак не сидит у нас внутри все время? Его можно только выставить на всеобщее обозрение. Показать себя, и ничего больше.

Мистеру Лоухиду следовало бы сказать: «Постарайся сохранить здравомыслие», но эта фраза пришла ему на ум позднее. Да если бы она и пришла во время разговора, уже поздно было ее произносить.

Утром в воскресенье мистер Лоухид обнаружил

у себя под дверью мертвую птицу. Он был готов обвинить в этом кошку. Коты заходили в дом, потому что их подкармливали Калла и Ровер, и в холле стоял запах кошачьей мочи. Он поднял птицу и спустился с ней во двор. Голубая сойка. Ему всегда нравилась эта холодная яркая окраска. Хотя вообще-то от них один вред, от этих соек. Как все, кто вырос на ферме, мистер Лоухид не мог удержаться от практических суждений, когда речь заходила о явлениях животного и растительного мира. Он припомнил одну пожилую даму, которая приезжала к ним на ферму. Как она ахала, восхищаясь красотой поля, покрытого цветками дикой горчицы. На ней была еще такая пыльная шляпа — бежевая или розовая — из шифона, — кажется, так это называется. И эта дурацкая шляпа очень хорошо сочеталась с глупой радостью дамы — до сих пор сохранилось воспоминание. Впрочем, надо полагать, что представления о дурацком и недурацком сформировались у него под влиянием взрослых — выражений их лиц и их слов.

Мистер Лоухид намеревался похоронить птицу, но не нашел, чем выкопать ямку. Дверь в подвал была сломана и стояла в сторонке. В подвале раньше хранились разные инструменты, но те-

перь их наверняка растащили. А земля во дворе утоптана так, что стала крепче асфальта. И повсюду камни, битое стекло. Пришлось положить птицу в мусорное ведро.

Он жил в этом доме уже двенадцать лет — с тех пор, как продал аптеку и переехал сюда, поближе к замужней дочери. Потом дочь с семьей перебралась в другое место, а он остался. И дом, и двор выглядели неважно еще двенадцать лет назад, но все-таки никто, и он сам в том числе, тогда и подумать не мог, во что они превратятся со временем. Дом с участком принадлежал мисс Масгрейв — это была дама из довольно зажиточного семейства. Она тогда жила на первом этаже — в тех самых комнатах, где теперь обитают Рекс, Калла и Ровер. Мистер Лоухид, когда въехал, раздобыл газонокосилку и в один прекрасный день принялся подравнивать разросшуюся по углам двора траву. Хотел сделать аккуратную лужайку, чтобы порадовать всех жильцов. Однако недолго он этим занимался. Окно вдруг с треском распахнулось, и оттуда на него гаркнули совсем не дамским голосом. Голосом алкоголички, прямо скажем:

— Эй, это собственность Масгрейвов!

Кричала не кто иная, как мисс Масгрейв. Ми-

стеру Лоухиду был хорошо известен такой тип сумасшествия. Когда он владел аптекой, туда часто захаживали дамы вроде мисс Масгрейв — с криво накрашенными губами, в шляпках набекрень, с фальшивыми рецептами. Они то льстили ему, то лгали, то принимались его оскорблять. Мисс Масгрейв давно уже умерла, и он почти с ностальгией вспоминал о такой разновидности сумасшествия. Теперь приходится иметь дело с новым поколением: а тут душевнобольного не отличишь от здорового. Даже в случае с Юджином. Особенно в случае с Юджином.

Все твердят, что надо отсюда съезжать. Почему он до сих пор этого не сделал? Он отвечал, что не любит многоквартирных домов, да и переезд — такая морока. Но на самом деле были и более важные причины. Новый опыт, который он приобретал в этом доме, оказывался полезен, и мистер Лоухид о нем не жалел. Он слушал разговоры своих ровесников и думал о том, что если бы им довелось оказаться на его месте, их мозги лопнули бы, как яйца в кипящей воде. В конце концов он пришел к выводу, что даже перформанс, который устроили Рекс и Калла, был небесполезен. И даже выходка Ровера: этот парень продавал газеты и однажды шутки ра-

ди сунул одну из них в руки мистеру Лоухиду. А мистер Лоухид газету прочел всю, от первого до последнего слова, хотя шрифт там был такой нечеткий, что резало глаза. Отвратительная печать, ошибки в каждом слове, какие-то смазанные, скорее всего непристойные рисунки и столь же непристойные желания в отделе объявлений. И еще редакционная статья, выражающая несогласие с отцами города, которых по всему тексту именовали не иначе как козлами. Все это раздражало своей болезненной взвинченностью, но мистер Лоухид продолжал читать, чувствуя, что во всем этом есть какое-то послание, сообщение, но только ухватить его суть никак не получается: мелькнет — и тут же исчезнет. Говорят, так пускают по телевизору рекламу двадцать пятым кадром.

Однако представление Юджина ему смотреть не хотелось. От одной мысли о его затее становилось нехорошо. Мистер Лоухид приготовил себе завтрак — как всегда, два тоста из черного хлеба, вареное яйцо и чай. У Юджина было тихо — видимо, уже ушел. За завтраком мистер Лоухид вспомнил о мертвой птице и о даме в шляпке из шифона, о горчичном поле и о родителях. Вспомнил и еще что-то… Ах да, вот что: тот сон.

По-видимому, он снова приснился сегодня ночью, и теперь ничего не оставалось, как попытаться вызывать в сознании какие-нибудь картины из него.

В первый раз этот сон приснился, когда мистер Лоухид уже достиг зрелого возраста, но восходил к действительному происшествию, случившемуся много лет назад. Он был еще ребенком и жил на ферме с родителями, старшим братом Уолтером и сестрой Мэри — она потом умерла от дифтерии в возрасте восемнадцати лет. Посреди ночи вдруг зазвонил телефон: три длинных звонка. На их улице у каждой семьи было свое количество звонков. Например, к ним в дом — мистер Лоухид это отлично помнил — полагалось звонить двумя длинными и двумя короткими. А три длинных означали сигнал тревоги, — все на линии должны были поднять трубки. Отец снял трубку и начал орать в телефон (аппарат находился на кухне — как раз под спальней мальчиков). Он не доверял проводам и полагался на силу собственной глотки, стараясь покрыть голосом расстояние, отделяющее его от собеседника. Услышав его крики, братья вскочили с постели и спустились вниз. Отец уже натягивал сапоги и надевал куртку — дело было весной,

в мае, но ночи стояли еще холодные. Мистер Лоухид теперь уже не мог припомнить в точности прозвучавшие тогда слова, но общий смысл был такой: отец объяснил, куда он собрался, и взял с собой Уолтера. А его самого не взяли: сказали, что он еще слишком мал.

Они отправились ловить сумасшедшего мальчишку, точнее, молодого человека лет девятнадцати или двадцати. Этот парень жил на соседней улице. Мистер Лоухид не мог вспомнить, что рассказывал о нем отец, помнил только имя: Фрэнк Макартер. Он был самым младшим ребенком в большой католической семье, бедной, но добропорядочной. В детстве у него случилось несколько припадков, и его увезли из дома, а потом вылечили, и он вернулся и жил тихо-мирно, заботясь о престарелых родителях, поскольку старшие братья и сестры из родного дома разъехались. И снова мистер Лоухид затруднился бы ответить: рассказал ли тогда отец, почему всех мужчин вызвали ловить Фрэнка Макартера? А причина заключалась в том, что ранее в тот же вечер, еще до наступления темноты (и точно до дойки, поскольку именно громкое мычание недоенных коров заставило соседа зайти в дом Макартеров), Фрэнк убил своего отца. Он убил его

в амбаре с помощью вил и лопаты, а потом убил и мать — на кухне, той же лопатой — должно быть, прихватил с собой из амбара.

Таковы были факты. А во сне, насколько он мог припомнить, эти факты подразумевались, но не раскрывались. Наяву он знал про двойное убийство все. Хотя и не помнил, кто и когда ему рассказывал о деталях. А во сне не понимал, в чем дело, отчего вся эта суета и спешка. Знал только, что надо отыскать сапоги и спешить следом за отцом и братом (если суметь быстро собраться, — там, во сне, — то его тоже возьмут). Куда они направляются, он не знал, просто шел и шел вперед, пока не понимал наконец, что им нужно что-то найти. Вначале их продвижение оказывалось легким и даже веселым, но потом замедлялось и затруднялось: отвлекали какие-то невидимые силы, и мистер Лоухид вдруг обнаруживал, что отстал от всех и занимается совершенно другим делом: например, смешивает лекарство в аптеке согласно рецепту или ужинает с женой. С запоздалым раскаянием в душе он пытался вернуться туда, где ему надлежало быть, и в одиночку, стараясь не выдать себя, брел через неприветливые окрестности — там почему-то всегда было ненастье. На этом месте

сон обрывался. Возможно, мистер Лоухид просто не запоминал его окончания. Скорее всего не запоминал. Когда это приснилось ему впервые, родители и сестра уже умерли, но брат был еще жив — у него был дом в Виннипеге. Мистер Лоухид все думал ему написать, спросить про Фрэнка Макартера — поймали его той ночью или нет? В этом месте у него в памяти зияла дыра. Но так и не написал. Точнее, он писал брату, но так и не спросил об этом, забыл. А может, просто не стал спрашивать: посчитал вопрос идиотским. А потом брат умер.

Этот сон всегда оставлял в душе тяжелое чувство. Наверное, потому, что мистер Лоухид еще какое-то время чувствовал рядом присутствие умерших: отца, матери, брата, сестры. Наяву он никогда не мог отчетливо представить их лица. И как передать, объяснить, даже если было бы кому, странное ощущение материальности их присутствия? Казалось, что должно быть какое-то место, где они существуют сами по себе, вне его сознания. Невозможно было поверить, что он их выдумал. Впрочем, такое случается. Он вспомнил, как его мать иногда за завтраком вдруг говорила изумленно, почти жалобно: «А мне сегодня снилась ваша бабушка! Как сейчас ее вижу!»

Еще он постоянно думал о разнице между тем временем и нынешним. Разница эта была огромна. Просто невероятно, что один и тот же человек мог жить тогда и теперь. И как это ему удалось? Ну как можно было одному человеку знать его родителей, а потом — Рекса и Каллу? Мистеру Лоухиду стало приходить в голову — впрочем, и раньше иногда приходило, — что лучше бы ему относиться ко всему так, как свойственно людям его возраста. То есть поменьше наблюдать и просто верить, что все в мире неизменно, хотя и случаются разные страшноватые — но вполне поправимые — аберрации. Да, лучше бы не понимать, как изменился мир.

Сон напоминал о том времени, по отношению к которому нынешняя действительность казалась каким-то жалким, неумелым и грубым подражанием. Правда, с годами его чувства притупились — с этим не поспоришь. Но все же. Значимость жизни, ее ценность куда-то испарились. События теперь происходили как бы понарошку, они были либо все одинаковые, либо вообще не имели значения. Когда мистер Лоухид ехал на автобусе по городу или даже по сельской местности и смотрел в окно, его уже ничем нельзя было удивить: даже если бы за окном проплыл

минарет, скажем, или белый медведь. И все было не тем, чем казалось. Девушки в супермаркете, торгуя ананасами, надевали юбки из травы, а однажды он видел мальчишку на бензозаправке, протиравшего стекла у машин, в дурацком колпаке с погремушками. Нет, ничему уже не удивляешься.

Иногда в той музыке, которая неслась с нижнего этажа, ему удавалось вдруг расслышать знакомую мелодию — чистую и неисковерканную. Но он заранее знал, что произойдет дальше: мелодия будет высмеяна, переиначена, изуродована, разодрана в клочья, усилена колонками так, что ее и не узнаешь. И подобные штуки происходили везде и повсюду. По-видимому, это нравилось людям.

Пирс Росс-пойнт был полуразрушен и давно заброшен. Во время прилива он весь уходил под воду, а при отливе вода покрывала только дальний его конец. Мистер Лоухид прошел по изгибу набережной — все-таки не усидел дома, выгнало беспокойство, хотя он втайне надеялся, что никто, кроме него, не явится. Вдруг все это окажется игрой его воображения, или, что более вероятно, вдруг выяснится: остальные просто сговорились его разыграть. Но ничего подобного:

народ все-таки собрался. С набережной возле Росс-пойнта не было спуска к воде: лестницы имелись либо ближе, либо дальше. Однако мистер Лоухид все-таки сумел спуститься на пляж, держась за кусты — жесткие, как веники, — и только потом сообразил, что мог переломать все кости. Он поспешил вдоль моря к месту действия.

Он сразу узнал тех, кто носился по пирсу, перепрыгивая с одной сломанной бетонной опоры на другую. Рекс, Калла, Ровер и куча их неотличимых друг от друга приятелей. Калла была обернута во что-то наподобие… да, он не ошибся — на ней было старое мягкое покрывало с кровати. Розово-коричневый ворс местами совсем истерся. Молодые люди резвились, шлепая босиком по воде. Один мальчишка на берегу играл на флейте. Только это была не обычная флейта, а такая же, как у Юджина, — блок-флейта. Играл хорошо, хотя несколько монотонно. Две сестры-старухи тоже пришли на берег. Слепая что-то спрашивала, указывая белой тростью на воду. Прямо Моисей у Чермного моря. Другая ей отвечала — описывала, что происходит. Мистер Клиффорд, мистер Мори и еще несколько стариков неспешно беседовали, благоразумно расположившись подальше от воды. Сколько все-

го человек? Сказать было трудно. Может, больше шестидесяти, а может, не набралось и трех десятков. Юджин сидел на пирсе, подальше от людей, совсем один. Мистеру Лоухиду пришло в голову, что по сегодняшнему случаю Юджину стоило надеть что-нибудь особенное: какую-нибудь хламиду из грубого холста или набедренную повязку, если бы он сумел ее раздобыть. Однако Юджин был одет как обычно: в джинсы и белую футболку.

Один из стариков вынул из кармана часы и объявил во всеуслышание:

— Уже десять!

— Юджин, уже десять! — выкрикнул Рекс.

Он стоял по пояс в воде, в мокрых штанах, с обнаженным торсом.

Юджин сидел ко всем спиной, высоко подняв колени и спрятав в них голову.

— О, свят, свят, свят! — затянул Рекс, откидывая назад свою буйную шевелюру и широко разводя руки.

— Надо спеть! — объявила одна из девушек.

Две дамы в шляпках, оказавшиеся перед мистером Лоухидом, говорили друг другу:

— Вот не ожидала, что их тут будет так много.

— Я сюда пришла не затем, чтобы выслушивать

богохульства.

Девушка принялась петь одна, соревнуясь с блок-флейтой. Она кружилась у самой воды и напевала без слов. Ее многоцветный шарф размотался и развевался на ветру. Понаблюдав за ней немного, дамы в шляпках переглянулись, прокашлялись, кивнули друг другу и затянули дрожащими голосками негромко, но решительно:

Совместно и честно пришли мы за Словом.

Господь нас карает, Господь награждает…

— Давай начинай представление! — сердито крикнул мистер Мори.

— Что там происходит? — спросила слепая. — Он уже идет по воде?

Юджин поднялся и двинулся вперед по затопленному пирсу. Он без колебаний вошел в воду. Сначала она была ему по щиколотки, потом по колени, потом по бедра.

— Скорее, идет в воде, чем по воде, — ответил мистер Мори. — Эй, парень, ты лучше помолись!

Ровер присел на корточки на гальке и начал громко повторять: «Ом! Ом! Ом! Ом!..»

— Ну что там, что? — допытывалась слепая.

Та девушка, которая пела, прервалась и вскрикнула:

— Юджин! Юджин!

В ее крике звучала любовь, безнадежность и самоотречение.

— Ты с нами, о Боже, скорбеть нам негоже… — тянули дамы в шляпках.

Юджин вошел в воду по пояс, потом по грудь, и тогда мистер Лоухид закричал так громко и требовательно, как сам от себя не ожидал:

— Юджин, немедленно вылезай из воды!

— Невесомость! — перекрикивал его мистер Мори. — Включай невесомость!

Юджин склонил голову и ушел под воду.

Девушка, которая раньше пела, вскрикнула.

Мистер Лоухид поспешил на пирс. Там уже стояла Калла — похожая в своем покрывале на иллюстрацию из Библии.

— Он умеет плавать? — спросил у нее мистер Лоухид.

— Плавать! Плавать! — заорал Рекс, этот клоун, и сам плюхнулся в воду.

Сестра слепой женщины в отчаянии топталась на месте, призывая на помощь:

— Эй, кто-нибудь! Вытащите его! Не дайте ему

утонуть!

Голова Юджина появилась в том месте, где поверхность пирса выходила из воды. Он поднялся на ноги и убрал со лба мешавшие смотреть длинные волосы.

— Морское чудище! Морское чудище! — завопила какая-то девица.

Публика иронически зааплодировала. Первым начал хлопать в ладоши мистер Мори.

Блок-флейта продолжала играть.

— Вот, значит, такое у нас получается хождение по водам, — объявил мистер Мори.

— Не надо его мучить, — попросила слепая. — Он сделал все, что мог.

Юджин медленно шел к ним, улыбаясь.

— А я ведь и плавать не умею, — сказал он, с наслаждением втягивая в легкие воздух. Голос его звучал почти победоносно. — Просто прополз назад по пирсу. Мог подняться раньше, но мне понравилось… под водой.

— Иди домой и переоденься, если не хочешь заработать воспаление легких, — сказал мистер Лоухид.

— Так, значит, это была шутка? — спросила одна из тех дам, которые пели гимн.

Она обращалась не к мистеру Лоухиду, но он

тем не менее обернулся и резко ответил:

— А что это было, по-вашему?

Дамы переглянулись и поджали губы, по-видимому обидевшись на него за грубость.

— Простите, вышло не то, что вы ждали, — спокойно объявил Юджин, оглядывая собравшихся. — Виноват я один. Думал, уже дошел до нужного уровня, а оказалось — еще нет. Не могу полностью управлять собой. Но даже если вы разочарованы, для меня самого это оказалось очень интересно, просто замечательно. Я научился важным вещам. Спасибо вам!

Дамы снова зааплодировали — на этот раз благожелательно. К ним присоединился кое-кто из молодежи — эти хлопали подчеркнуто громко. Мистер Лоухид подумал, что у двух групп собравшихся на самом деле больше общего, чем им кажется. Хотя ни те ни другие в этом никогда не признаются. Но разве все они не ожидали одного и того же? И значит, в них есть нечто такое, что вызвало эти ожидания? Отчаяние. Чувство приближения скорого конца. Но как бы там ни было, никто не признается из гордости.

Не говоря больше ни слова, мистер Лоухид повернулся и зашагал прочь. Он прошел по пляжу, поднялся по лестнице на набережную — и сам

удивился: как это он ухитрился спуститься отсюда на берег и не сломать ногу? А ведь в его возрасте такой перелом мог закончиться смертью — и все из-за какой-то чепухи. Он прошел примерно милю по набережной до кафе, которое оставалось открытым по воскресеньям. Там он долго сидел над чашкой кофе, потом побрел домой. Из открытого окна первого этажа, где когда-то сиживала мисс Масгрейв, неслась музыка — такая, какую они всегда заводили. Мистер Лоухид поднялся по лестнице и постучал в дверь Юджина.

— Эй! Я просто хотел убедиться, что ты переоделся!

Нет ответа. Мистер Лоухид толкнул дверь. Она отворилась — Юджин никогда ее не запирал.

— Юджин!

Его там не было. И мокрой одежды тоже. Мистеру Лоухиду доводилось видеть эту комнату без ее обитателя и раньше — он как-то заходил вернуть книгу. Но тогда вид пустой комнаты никаких эмоций не вызывал. Другое дело теперь. Окно оказалось распахнуто. А между тем Юджин всегда закрывал его, уходя из дома: боялся, что дождь промочит книги или разлетятся от вет-

ра бумаги. Сейчас как раз было ветрено. Бумаги сдуло с книжного шкафа и разметало по полу. В остальном комната была прибранной. Одеяло и простыни сложены на краю матраса, словно их хозяин больше не собирался здесь спать.

Мистер Лоухид спустился вниз и постучал в дверь. Вышла Калла.

— Юджина нет дома. Ты не знаешь, где он?

Калла обернулась и спросила у тех, кто находился в комнате с красными и пурпурными занавесками — они всегда были задернуты, и вообще это были крашенные простыни:

— Эй! Кто-нибудь видел Юджина?

— Он пошел к полю для гольфа. На восток.

— Спроси — понравилась ему дверь? — выкрикнул кто-то.

— И про птицу спроси!

Значит, не кошка.

Калла улыбнулась. У нее было симпатичное лицо, белое как мел, но все в мелких прыщиках.

— Благодарю вас, — сказал мистер Лоухид.

Рекса он игнорировал.

— А на кой ему Юджин? — спросил кто-то еще.

Вероятно, Ровер, это был его голос — высокий, дребезжащий и как будто хнычущий. Другой голос тут же высказал в ответ предположение,

которое мистер Лоухид пропустил мимо ушей и потом старался не вспоминать.

— Вам что, фигово? — спросила Калла.

Он пошел в том направлении, которое они указали: ничего другого не оставалось. На восток, берегом моря, по тому же маршруту, что и утром. Миновал пирс, теперь опустевший, кафе, где пил сегодня кофе, и направился к полю для гольфа. Погода была приятная, многие вышли на прогулку. Иногда ему казалось, что он видит Юджина. Половина молодых людей в этом мире носят джинсы и белые футболки. Все они небольшого роста, худощавого телосложения и с длинными волосами. Он поймал себя на том, что заглядывает в лица прохожим и готов спросить: «Вы не видели тут молодого человека?» Потом подумал: нет ли здесь кого-то из бывших утром на пирсе? Поискал глазами мистера Клиффорда и мистера Мори. Нет, не видно — слишком далеко от того места, где они обычно сидели.

За полем для гольфа начинались заросли кустарника — высокого, в человеческий рост, а за ними высились выраставшие прямо из воды скалы. Пляжа тут не было. Под скалой, на которой кто-то запускал воздушного змея, по-видимому, сразу начиналась глубина. На воде покачивались

яхты с красными и синими парусами. Может так случиться, что человек упадет со скалы, а никто и не заметит? Можно ли войти в воду совсем без всплеска и пропасть?

Утром, когда он пил кофе на набережной, его как будто осенило: мистер Лоухид вдруг увидел, чем кончается его сон. Увидел ясно, во всех подробностях. Картина явилась непонятно откуда, сама, без всяких усилий с его стороны — то ли из самого сна, то ли из памяти. Хотя он не понимал, как она могла возникнуть из памяти.

Он пробирался вслед за отцом сквозь высокие серые травы. Серые, потому что ночь уже кончалась, но солнце еще не взошло. Они с отцом, похоже, оторвались от других участников поисков. Вблизи была река, и немного погодя они вышли на высокий берег и направились по проселку к мосту. Мистер Лоухид — то есть никакой не мистер, а ребенок, каким он был в тот момент, — первым вбежал на мост. Он прошел уже примерно треть его длины, когда понял, что мост крайне ненадежен. Настил был с прорехами, доски частью вывалились, а балки кое-где подломились. Словно мост был игрушечный и кто-то на него неосторожно наступил. Он оглянулся назад позвать отца, но того не было, — впрочем,

он не удивился. Затем посмотрел вниз сквозь брешь в досках и разглядел в мелководной речке, журчавшей среди белых камней, тело юноши. Он лежал лицом вниз с раскинутыми руками. Во сне — если это был сон — тело выглядело так же естественно, как камни, казалось таким же чистым и белым.

Но на бодрствующий ум это зрелище, конечно, производило иное впечатление, и потому он спросил себя: значит, это Фрэнк Макартер? Значит, молодой человек, убив родителей, бросился в реку. И искать больше некого.

Однажды он перенес серьезную болезнь (доктора решили, что это был микроинсульт), во время которой у него в углу поля зрения появилась белая неровная линия. Она плясала перед глазами примерно двое суток, а потом пропала. Последствий не было, врачи сказали: такое случается. И вот теперь сон, а точнее, конец этого сна проделывал с его сознанием похожий фокус. Он ждал, что наваждение вот-вот исчезнет, а немного погодя, когда он окончательно придет в себя, придет избавление и от странных фантазий — от страха, что Юджин вошел в воду. Слово «самоубийство» тут не подходило, оно было не из словаря Юджина. Сегодняшнее утреннее шоу представляло

собой, должно быть, только репетицию того, чему Юджин наверняка придумал бы сложное и хитрое название.

Мистер Лоухид ужасно устал. В конце концов отыскалась пустая скамейка, и он долго сидел на ней, думая только об одном: хватит ли ему сил дойти до дома?

— Дверь в комнату Юджина открыта, а окно отворено настежь… — объяснил он Калле.

Теперь в комнате за ее спиной было тихо. Она улыбалась ему, как и прежде. Мистер Лоухид заглянул ей в глаза: насколько он мог судить, ничего ненормального. Он едва держался на ногах, и ему пришлось даже ухватиться за стойку перил, чтобы не упасть.

— Да он всегда дверь открытой оставляет, — пожала плечами Калла.

— У меня есть причины для беспокойства, — произнес мистер Лоухид дрожащим голосом. — Надо связаться с властями.

— С полицией? — тихо и испуганно переспросила Калла. — Нет, пожалуйста, только не это. Не надо!

— Но с ним могло что-то случиться.

— А если ему захотелось уехать куда подальше?

— Тогда получается, что он уехал, а все пожитки оставил здесь.

— Ну, это как не фиг делать. Ведь мог же он… могло же ему захотеться просто взять — и уехать. Вот он и уехал.

— Мне кажется, он был сильно расстроен. Возможно, он захотел… В общем, он мог опять полезть в воду.

— Думаете? — спросила Калла.

Он ожидал, что она удивится. Станет бурно возражать или недоверчиво улыбнется в ответ на такое предположение. Но вместо этого она просто позволила такой возможности медленно и соблазнительно расцвести у себя в голове:

— Думаете, мог?

— Я не знаю. Я только видел, что он расстроен. Так мне показалось, по крайней мере. Это ведь непросто — понять, расстроен кто-то из вас или нет.

— Да он вовсе не из нас, — снова пожала плечами Калла. — Он же старый совсем.

Она помолчала, а потом добавила:

— Вообще-то, он мог попробовать еще раз. Так, чтобы никто не останавливал. И не жалел его. Я вот никого никогда не жалею.

Мистер Лоухид повернулся и направился к се-

бе.

— Ну, пока, спокойной ночи, — сказала ему вслед девушка. — Жаль, что вам дверь не понравилась.

Мистер Лоухид вдруг подумал — впервые в жизни, — что он ведь может и не суметь подняться к себе по лестнице. У него может не хватить сил даже на это. Нет, все-таки, наверное, придется перебираться в многоквартирный дом, вслед за остальными. Если, конечно, он хочет еще пожить.

Умение прощать
Перевод Наталии Роговской

Сколько раз я представляла себе, как иду на прием к психиатру, и он, естественно, начинает расспрашивать меня о родственниках, кто да что, и мне волей-неволей приходится рассказать ему про брата, и доктор не стал бы слушать до конца, а в два счета отправил бы меня в психушку.

Однажды я поделилась своей теорией с мамой, но она только посмеялась:

— Ты придираешься к мальчику, Вэл.

— Хорош мальчик, взрослый мужик! — фыркнула я.

Она снова засмеялась, поскольку возразить было нечего.

— Но учти, блаженные — Божьи люди.

— Ты-то почем знаешь? — отмахнулась я. — Ты же атеистка.

Было бы несправедливо винить брата абсолютно во всем. Например, в том, что он родился на свет. А родился он аккурат в ту неделю, когда я пошла в первый класс, — подгадал, нечего

сказать! Школы я боялась: детей тогда не водили с малых лет в подготовительные группы или в детский сад, не то что теперь. Я шла в школу в первый раз, и все другие дети шли с мамами, а моя — где была в это время моя мама? В больнице — рожала ребенка! Я готова была провалиться сквозь землю. Тогда таких вещей очень стеснялись.

Ну да, конечно, он не виноват, что родился, и не виноват, что у меня на свадьбе его вырвало. Представляете? На пол, на стол, даже на свадебный торт умудрился попасть. Он не был пьян, как решили тогда некоторые: подхватил какой-то жестокий грипп, и, честно говоря, меня и Харо в наш медовый месяц скосил тот же вирус. Правда, я никогда не слышала, чтобы кого-то еще, с гриппом или без, вырвало прямо на праздничный стол (кружевная скатерть, серебряные подсвечники, свадебный торт!). Наверно, нам просто-напросто не повезло. Наверно, другие люди, когда их начинает мутить, успевают добежать до туалета. И наверно, чуточку больше стараются сдержаться — это мое предположение, потому что другие люди не считают себя особенными и не думают, будто мир вертится вокруг них, в отличие от моего братца. А с него

что взять? Дитя природы. Он и сам со временем стал себя так называть.

Я не буду вдаваться в подробности его жизни между днем, когда он появился на свет, и днем моей свадьбы; скажу только, что в детстве он страдал астмой и по неделям пропускал занятия в школе: сидел дома у радиоприемника и слушал мыльные оперы. Иногда мы заключали временное перемирие, и он из вечера в вечер пересказывал мне, как развиваются события в «Старшей сестре» и «Путях-дорогах»[13] и еще в этом — про Джи-Джи и папашу Дэвида[14]. Он назубок помнил всех персонажей и разбирался во всех сюжетных перипетиях, тут надо отдать ему справедливость, и он прочел чуть не всю серию «Ворота в Книжную страну»[15], — чудесные книжки, которые мама годами покупала для нас и которые он в конце концов тайком вынес из дома и сбыл какому-то букинисту за де-

---

[13] Сноски: 13

Популярные радиосериалы, так называемые мыльные оперы конца 1930–1940-х гг., — «Big Sister» и «Road of Life».

[14] Сноски: 14

Имеется в виду радиосериал «Жизнь бывает прекрасна» (1938–1954) о судьбе уличной девчонки Чи-Чи (а не Джи-Джи, как ошибочно вспоминает героиня рассказа), которую приютил хозяин книжной лавки Дэвид Соломон.

[15] Сноски: 15

Канадская серия детских книг для внеклассного чтения (1939–1949).

сять долларов. Мама уверяла, что он мог бы стать в школе отличником, если бы захотел. Твой брат совсем не прост, повторяла она, он нас еще удивит. Как в воду глядела.

В десятом классе он плотно засел дома. Случилась неприятность — его поймали на мошеннической схеме, связанной с контрольными заданиями по математике: их надо было каким-то образом добывать из учительского стола. Сторож впускал его в школу после уроков: мальчик его заверял, что приходит работать над «особым заданием». Что тут скажешь? Действительно работал. Мама, как всегда, нашла ему оправдание: он хотел завоевать у ребят популярность, поскольку из-за астмы не мог отличиться в спорте.

Ну ладно. Теперь трудоустройство. Возникает вопрос, что же такой субъект, как мой братец (кстати, пора сказать, как его зовут: Кэмерон, сокращенно Кэм, неплохое имя для президента какого-нибудь университета или кристально честного бизнес-магната — примерно так маме виделось его будущее), — что он собирается делать, чем зарабатывать на хлеб. До недавнего времени государство не платило тебе просто за то, что ты сидишь на пятой точке и заявляешь, будто бы ведешь творческий образ жизни.

Сначала он устроился билетером в кинотеатр. Вернее, его устроила мама, у нее был знакомый администратор в старом кинотеатре «Интернациональ» на Блейк-стрит. Но ему пришлось уволиться, потому что у него вдруг обнаружилась боязнь темноты. Полный зал людей, темнотища… ему от этого делалось не по себе, мурашки ползли по коже, очень неприятное ощущение. Это помешало ему работать билетером, однако не помешало ходить в кино в качестве зрителя. Он стал заядлым киноманом. Целыми днями просиживал в кинотеатрах — отсидит двойной сеанс в одном и тут же идет в другой, так и смотрел все подряд. Ему нужно было куда-то девать время, потому что мама, как и все мы, пребывала в уверенности, что он ходит на работу в автопарк компании «Грейхаунд»[16]. Каждое утро в положенный час он уходил из дома и каждый вечер в положенный час возвращался — и рассказывал в лицах о сварливом старике-начальнике и о конторской служащей, кривой и горбатой, которая работает там аж с 1919 года и на дух не переносит жующих жвачку молодых девиц. Очень живо и занимательно он все это расска-

[16] Сноски: 16

Крупная транспортная компания, занимающаяся автобусными пассажирскими перевозками.

зывал, вполне тянуло бы на мыльную оперу, если бы мама не позвонила в автопарк с претензией: почему ее сыну задерживают жалованье (он уверял, что причина в технической ошибке: где-то его фамилию написали неправильно). И тут выяснилось, что он уволился на второй день работы, едва дождавшись перерыва на обед.

Что ж. Кино все-таки лучше, чем пивнушки, рассудила мама: по крайней мере, не болтается на улице, не связался с какой-нибудь преступной бандой. Она спросила, какой у него любимый фильм, и он ответил: «Семь невест для семи братьев»[17]. Вот видите, сказала она, мальчика привлекает здоровая сельская жизнь, работа на свежем воздухе, конторская рутина не для него. И она отправила его к каким-то дальним родственникам на ферму в долине реки Фрейзер. Здесь нужно кое-что прояснить: к этому времени мой отец — точнее, наш, мой и Кэма, — уже умер: он умер еще тогда, когда Кэм страдал астмой и слушал по радио мыльные оперы. Со смертью отца в нашей жизни мало что изменилось: он

[17] Сноски: 17

Голливудский мюзикл из жизни фермеров на Диком Западе, вышедший на экраны в 1954 г.

служил проводником на ТВЖД[18], когда линия шла от Сквомиша, и часть времени жил в Лиллуэте[19]. Дома все осталось по-прежнему; мама, как и раньше, работала в «Итон-центре»[20] в Ванкувере, каждый день переправлялась на пароме на другой берег залива и потом ехала на автобусе. Я накрывала стол к ужину, она возвращалась вечером, усталая, зимой — в полной темноте.

С фермы Кэм сбежал: его не устраивало, что набожные родственники излишне озабочены спасением его души. Мама отнеслась к его доводам с пониманием: в конце концов, она сама воспитала его в духе свободомыслия. Он отправился автостопом на восток. Время от времени от него приходили письма. С просьбой выслать денег. Якобы ему предложили работу в Квебеке, он готов поехать туда, если наскребет на дорогу. Мама выслала, сколько требовалось. Он прислал открытку, что работа сорвалась, но денег назад не прислал. В другой раз он с двумя приятелями

---

[18] Сноски: 18

ТВЖД — Тихоокеанская восточная железная дорога в Канаде.

[19] Сноски: 19

Сквомиш, Лиллуэт — города в канадской провинции Британская Колумбия.

[20] Сноски: 20

Сеть крупных торговых центров в Канаде.

надумал организовать индюшачью ферму. По почте от них прибыли чертежи и сметы. Работа по контракту для компании «Пурина»[21], дело верное. Мама послала деньги (и мы от себя еще добавили — легковерные простофили!), но тут случилось наводнение, и все индюшки потонули. Вот ведь невезенье: за что бы мальчик ни взялся, все идет вкривь и вкось, сокрушалась мама. Прочитаешь в книге — не поверишь, добавляла она. Так ужасно, что даже смешно.

Она прекрасно все понимала. Я навещала ее по средам, в ее выходной, приходила с детской коляской — сперва в ней сидела Карен, потом Томми (Карен семенила рядом), долго шла вверх по Лонсдейл-авеню и вниз по Кингс-роуд — и чем заканчивались все наши разговоры? Негодный мальчишка, все, с меня довольно, я с ним развожусь, говорила она. Больше никаких поблажек. Сколько можно, пора самому становиться на ноги, нельзя же вечно рассчитывать на меня! Я слушала и помалкивала. Мое мнение было ей известно. Но заканчивалось всякий раз одним и тем же:

— А все-таки он славный мальчик, мне его

---

[21] Сноски: 21
Компания по производству кормов для животных.

не хватает. Нет, правда, мне было с ним хорошо. Он меня смешил.

Или:

— Ему в детстве нелегко пришлось — с астмой намучился, рос без отца… А так-то он и мухи не обидит.

— Один раз он все-таки поступил благородно, — говорила она, — по настоящему доброе дело сделал. Помнишь ту девушку?

Мама имела в виду девушку, которая в один прекрасный день явилась к нам в дом и сообщила, что они с Кэмом были помолвлены — якобы обручились в Гамильтоне, провинция Онтарио, — а теперь он вдруг признался, что жениться ему никак нельзя: оказывается, в его семье по наследству передается смертельный недуг — неизлечимая болезнь почек. Все это он изложил в письме. И она приехала сказать ему, что ей это неважно, она все равно его любит. Вполне симпатичная девушка. Работала в телефонной компании «Белл». Мама потом говорила, что с его стороны это была ложь во спасение: он хотел пощадить чувства девушки, жениться на которой не собирался. Я согласилась, что он и правда сделал доброе дело, иначе он повис бы у нее на шее до конца дней своих.

Хотя при таком раскладе всем нам было бы, наверно, полегче.

Но что было, то прошло, времена изменились. Для моего братца — явно к лучшему. Уже года полтора как он живет по большей части дома. Волосы у него поредели и слегка поседели — ему ведь без малого тридцать пять, — зато сзади он их отрастил чуть ли не до плеч. Одевается он в темную хламиду, сшитую из какой-то дерюги (может быть, это власяница, поделилась я с Харо, тогда ему положено посыпáть голову пеплом — пепел я бы с удовольствием предоставила!); на груди у него болтаются цепи, амулеты, кресты, зубы лося и невесть что еще. На ногах веревочные сандалии — их плетет кто-то из его друзей. Живет он на социальное пособие. Работать его никто не заставляет. Как можно, это ведь насилие над личностью! Если ему приходится указывать род занятий, он пишет «святой брат».

«Святые братья» — это целая секта, у них общинный дом в Китсилано[22]. Кэм иногда ездит туда пожить. Эти самозванцы соперничают с кришнаитами, только в отличие от них не поют — просто ходят себе и улыбаются. Кэм даже

[22] Сноски: 22

Район на берегу Английского залива в Ванкувере, в 1960–1970-е — центр движения хиппи и молодежной контркультуры.

выработал особый голос, от которого меня всю трясет, — тоненький, елейный, зудящий на одной ноте. Иногда хочется встать перед ним, перечислить последние новости — «В Чили землетрясение — двести тысяч погибших, во Вьетнаме снова сожгли деревню, в Индии люди по-прежнему мрут от голода!» — и посмотреть, как он отреагирует. Неужели и это его не проберет, неужели он опять елейным голоском проблеет: «Все хо-ро-шо-о, все хо-ро-шо-о»? Разумеется, мяса он в рот не берет, ест одни цельнозерновые каши и листовые овощи. Однажды он заглянул в кухню, где я шинковала свеклу (запретный корнеплод!), и строго заметил:

— Надеюсь, ты сознаешь, что совершаешь убийство.

— Пока нет, — ответила я, — но если ты не уберешься, совершу. Даю тебе ровно одну минуту!

Как я уже сказала, теперь он подолгу живет дома; дома он был и в тот понедельник, когда маме вечером стало плохо. У нее открылась рвота. За пару дней до этого он уговорил ее сесть на вегетарианскую диету (она все откладывала и наконец решилась) и теперь объяснил, что из нее выходит весь яд, скопившийся в организме за долгие годы потребления мяса, сахара

и прочей дряни. Это добрый знак, заверил он: как только она избавится от всякой гадости, ей сразу станет лучше. Рвота у мамы не прекращалась, лучше ей не становилось, но ему понадобилось срочно уйти. Каждый понедельник вся святая братия собирается в своем Доме. Уж не знаю, что они там делают — распевают мантры, жгут благовония или служат черную мессу. Домой он явился за полночь и нашел маму на полу в ванной, без сознания. Он снял трубку и позвонил — *мне*!

— Вэл, тебе, наверно, стоит приехать помочь маме.

— А что случилось?

— Она неважно себя чувствует.

— Что с ней? Дай ей трубку.

— Не могу.

— Почему?

Он хихикнул, как дурачок, — клянусь вам!

— Э-э… кажется, она без сознания.

Я вызвала «скорую помощь», и ее забрали в больницу — уже под утро, в пять часов. Я созвонилась с маминым постоянным врачом, он поехал в больницу и оттуда уже сам вызвал на консультацию доктора Эллиса Белла, одного из лучших городских кардиологов, потому что

предположительно у мамы случился сердечный приступ. Я оделась, разбудила Харо, сказала ему, в чем дело, и поехала в больницу, в Лайонс-Гейт. Меня впустили только в десять и сказали, что мама лежит в интенсивной терапии. Я села ждать у входа в отделение, в зальчике для посетителей. Красота неописуемая: скользкие красные стулья, на полу линолеум, аквариум с галькой, из которого торчат зеленые пластмассовые листья. Я просидела там много часов, листала «Ридерс дайджест». Читала анекдоты. А сама все думала: вот так это и бывает, так и приходит конец — мама умирает. Сейчас, в эту минуту, за этими дверьми — умирает. И это нельзя ни остановить, ни отсрочить, хотя ты, вопреки голосу разума, все-таки надеешься. Я думала о маминой жизни, о том отрезке, который прошел у меня на глазах. Как она ездила на работу — каждый день, сначала на пароме, потом на автобусе. Как ходила за продуктами в старый супермаркет «Ред-энд-уайт», а позже в новый «Сейфвей»… давно уже не новый, открылся пятнадцать лет назад! Как мы вместе раз в неделю, вечером, ездили в библиотеку. Как возвращались домой на автобусе, с пачкой книг и кульком винограда из китайской лавки, предвкушая, как дома

полакомимся. Или как днем по средам (в ее выходной), пока дети были еще маленькие, я забегала к ней на чашку кофе и она скручивала нам по сигаретке на своей сигаретной машинке. И я думала: все эти привычные дела не воспринимаются как *жизнь*; ты просто занят, просто все время что-то делаешь, чем-то заполняешь свои дни — и подсознательно надеешься, что главное еще впереди: скорлупа треснет, перед тобой откроется большой мир, и вот тут-то и начнется настоящая жизнь. И не то чтобы тебе так уж хотелось, чтобы что-то там треснуло и развалилось, в общем совсем неплохо как есть, но все равно ты чего-то ждешь. А потом приходит смерть, она приходит к твоей матери, а перед тобой все те же пластмассовые стулья и искусственные листья, и за окном обычный день, и люди ходят за продуктами, и у тебя остается только то, что было. И наши поездки в библиотеку и обратно, на автобусе с книжками и виноградом — даже такие мелочи! — кажутся теперь счастьем, ей-богу, все бы отдала, лишь бы это вернуть.

Когда меня к ней впустили, лицо у нее было синюшно-серое, глаза, наполовину закрытые веками, закатились, и в щелки проглядывали только белки. Без зубных протезов она всегда

выглядела ужасно, даже нам, детям, запрещала на себя смотреть. Кэм посмеивался над этим ее женским тщеславием. И вот теперь она без зубов. Не случайно, подумала я, в ней с молодых лет жил этот страх — что придет день, когда она будет выглядеть как сегодня.

Врачи меня не обнадеживали. Днем заехал Харо, взглянул на маму, приобнял меня за плечи и сказал:

— Вэл, ты должна готовиться к худшему.

Он так сказал из добрых побуждений, но мне расхотелось с ним говорить. Не его же это мать: что он может помнить о ней? Он ни в чем не виноват, просто мне не хотелось с ним говорить, не хотелось слушать, к чему я должна готовиться. Мы спустились перекусить в больничный кафетерий.

— Ты бы позвонила Кэму, — сказал Харо.

— Зачем?

— Он должен знать.

— С какой стати? Он бросил ее дома одну, а когда под утро обнаружил ее без сознания, то даже «скорую» не сообразил вызвать!

— Тем не менее. Это его право. Скажи ему — пусть приезжает.

— Боюсь, он сейчас сильно занят — готовит

матери хипповые похороны.

Но в конце концов Харо, как всегда, меня уговорил и я позвонила. К телефону никто не подошел. Мне стало чуть легче: попытку я честно сделала, а если его дома нет, значит мои предположения верны. Я вернулась в зал для посетителей, уже одна, без Харо, и снова села у дверей ждать.

Под вечер, около семи, явился Кэм. И не один. Он привел с собой ватагу таких же — судя по их виду — святых братьев из этого самого Дома. Все они были одеты в точности как он — в темные хламиды из дерюги, все были обвешаны цепями, крестами и прочим ритуальным железом, все длинноволосые и все заметно моложе Кэма, кроме одного старца, в буквальном смысле старца, беззубого, с кудрявой седой бородой и босыми ногами — это в марте-то месяце! Старец, похоже, ни сном ни духом не ведал, где он и зачем. Скорее всего они его подобрали по дороге, в каком-нибудь приюте Армии Спасения, и обрядили в свою униформу: им по сценарию нужен был старик — может, в качестве талисмана, а может, для пущей святости, не знаю.

— Это моя сестра Вэлери, — представил меня Кэм. — Это брат Майкл. Это брат Джон, это брат Луис… — И так далее.

— Врачи ничего не обещают — похоже, надежды нет, Кэм. Она умирает.

— Мы так не думаем, — изрек Кэм со своей обычной многозначительной улыбкой. — Мы весь день провели в трудах ради ее блага.

— Молились, что ли? — уточнила я.

— «Трудились» более подходящее слово, чем «молились», если ты не понимаешь, в чем суть.

Ну где уж мне понять.

— Истинная молитва — великий труд, поверь мне, — произнес Кэм, и они все заулыбались мне его улыбочкой. Они ни на миг не оставались в покое, вели себя как дети, которым срочно надо в туалет: вихлялись, кривлялись, переминались с ноги на ногу.

— Итак, в какой палате она лежит? — спросил Кэм деловитым тоном.

Я представила себе, как моя умирающая мать сквозь щелку между веками увидит — кто знает, вдруг она время от времени еще может что-то различить, — увидит толпу дервишей, справляющих вокруг ее постели свой дикий обряд. И это моя мама, которая в тринадцать лет распрощалась с религией, потому что в унитарианской церкви произошел раскол: одни были за то, чтобы

упоминать в гимнах имя Божие, другие против (мама была против); моя бедная мама, которая в свои последние минуты вынуждена теряться в догадках: не перенеслась ли она в доисторические времена, если вокруг скачут бесноватые, бормоча магические заклинания. Как трудно ей будет собрать свои последние связные мысли посреди этого шабаша…

Слава богу, медсестра твердо сказала: в палату нельзя. Позвали дежурного врача, и он подтвердил: нельзя. Кэм не стал спорить, он улыбался и кивал, словно получил не отказ, а разрешение, после чего отвел свою братию назад в зал ожидания, и там, под самым моим носом, представление началось. Старика усадили на полу в центре, он низко опустил голову и закрыл глаза — пришлось сперва похлопать его по плечу, напомнить, что он должен делать; остальные уселись на корточки и образовали что-то вроде круга, причем сидели попеременно один лицом внутрь, другой наружу и опять — внутрь, наружу. Потом с закрытыми глазами они принялись раскачиваться взад-вперед, бормоча какие-то слова, но не одни и те же, каждый вроде бы мычал что-то свое и, конечно, не по-английски, а на суахили, или на санскрите, или на еще

каком-то неведомом языке. Звук постепенно нарастал, становился громче и громче, и тут все участники поднялись на ноги (все, кроме старца; он остался на месте и, судя по виду, мирно спал) и стали изображать некое подобие танца, шаркая ногами и не слишком дружно хлопая в ладоши. Так продолжалось довольно долго, пока на шум — не такой уж и страшный, честно говоря, — не сбежались сиделки, сестры с ближайших постов и санитары. И все, включая посетителей вроде меня, застыли в растерянности и не знали, что делать, настолько это было неправдоподобно, несовместимо с заурядным больничным помещением для ожидающих родственников. Все просто стояли и смотрели, будто всем снился один и тот же странный сон и некому было их разбудить. Наконец из отделения интенсивной терапии вышла медсестра и громко призвала к порядку:

— Немедленно прекратите! Что вы безобразничаете?

Она схватила за плечо одного из тех, что помоложе, и хорошенько встряхнула, чтобы привлечь к себе внимание.

— Мы трудимся во имя исцеления болящей, — объяснил он.

— Не знаю, что значит по-вашему «трудиться», но никакого исцеления вы никому не принесете. А теперь прошу очистить помещение. Нет, извините, не прошу — я требую!

— Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что звук наших голосов может причинить болящим вред или беспокойство. Обряд проводится на том уровне громкости, который призван проникнуть в спящее сознание и успокоить его, в то же время удаляя из тела результаты воздействия демонических сил. Этому обряду пять тысяч лет.

— Боже правый! — всплеснула руками медсестра с ошарашенным видом — и немудрено. — Кто эти люди?

Пришлось мне взять слово и просветить ее, объяснить, что это мой брат со своими, скажем так, друзьями, а сама я к их хороводам отношения не имею. Я спросила у нее, как мама, нет ли в ее состоянии перемен.

— Перемен нет, — ответила она. — Как же нам выдворить их отсюда?

— Окатите их из брандспойта, — посоветовал санитар.

Все это время танец, или, если угодно, обряд, ни на минуту не прекращался, и даже тот, ко-

торый отвлекся на разговор с сестрой, снова вернулся в круг.

— Я позвоню справиться о ее состоянии, — сказала я сестре, — а пока съезжу ненадолго домой.

На улице, к моему удивлению, уже стемнело. Оказывается, я провела в больнице весь день, от темна до темна. На парковке, сев в машину, я вдруг расплакалась. Кэм из трагедии устроил цирк, лишь бы себя потешить, сказала я про себя и, добравшись до дому, повторила это вслух.

Харо налил мне выпить.

— Наверняка эта история попадет в завтрашние газеты, — сказала я. — Кэм имеет шанс прославиться.

Харо позвонил в больницу узнать, есть ли новости, и ему ответили, что нет. Тогда он осторожно поинтересовался:

— Там у вас все… спокойно? Молодые люди, которые пели, больше не докучают? Ушли по-хорошему?

Харо на десять лет старше меня, человек он на редкость неконфликтный, само долготерпение. Я подозревала, что он тайком от меня подкидывает Кэму деньги.

— Они ушли по-хорошему, — успокоил он меня. — Не бойся, в газетах ничего не напишут.

Ложись поспи.

Я не собиралась спать, но едва прилегла на диван, как меня сморило — после выпитого вина и после тяжелого дня. Проснулась я от телефонного звонка; за окном начинало светать. Путаясь в одеяле, которым меня накрыл Харо, я вышла в кухню; часы на стене показывали без четверти шесть. Конец, подумала я.

Звонил старый мамин врач.

Он сказал, что у него хорошие новости. Что сегодня утром ей значительно лучше.

Я подтащила к себе стул и рухнула без сил, уронив руки и голову на разделочный стол. Когда я снова поднесла трубку к уху, то услышала, что состояние мамы по-прежнему критическое, все решится в ближайшие двое суток. Доктор сказал, что не хочет преждевременно меня обнадеживать, однако прогресс есть, лечение начало действовать. Это тем более удивительно, добавил он, если принять во внимание, сколько времени она пролежала без помощи, прежде чем попасть в больницу, и если вспомнить, что поначалу усилия медиков не дали никакого результата. Разумеется, тот факт, что она пережила первые несколько часов, сам по себе добрый знак. Я подумала: почему-то вчера в разговоре

со мной никто из врачей про этот добрый знак ни слова не сказал.

Я положила трубку и по меньшей мере час просидела в оцепенении. Потом решила выпить растворимого кофе, но руки у меня так тряслись, что я с трудом налила воду в чашку, а потом никак не могла поднести чашку ко рту. Я поставила кофе на стол, пусть остынет. Наконец на кухню вышел Харо в пижаме. Он быстро взглянул на меня и сказал:

— Ну, тихо, тихо, Вэл. Она умерла?

— Ей лучше. Лечение начало действовать.

— У тебя такой вид… Я подумал — все, конец.

— Просто в себя не могу прийти.

— Я и сам вчера не поставил бы пяти центов на то, что она выкарабкается.

— Вот и я о том же. Не могу поверить.

— Сказывается перенапряжение, — объяснил Харо. — Обычная реакция. Собираешь все силы, готовишь себя к чему-то ужасному, а когда беда вдруг проходит стороной, то не можешь сразу переключиться с горя на радость, испытываешь странное чувство, чуть ли не разочарование.

Разочарование. Это слово засело во мне как заноза. Я была так рада, счастлива, так благодарна судьбе, но где-то подспудно у меня шевелилась

мысль: значит, Кэм все-таки не убил ее, несмотря на безобразное к ней отношение; он бросил ее одну, без всякой помощи — и тем не менее он ее не убил, и я — да, я сожалела, каким-то краем сознания я сожалела, что получилось именно так. И я знала, что Харо это понимает, но виду, конечно, не подаст. Я пережила страшный шок, вот почему меня трясло. Не из-за того, что мамина жизнь висит на волоске. Я не могла прийти в себя от того, что́ открылось во мне самой.

Мама пошла на поправку, держалась молодцом. Встав на путь выздоровления, она больше с него не сбивалась. Она пробыла в больнице три недели, потом вернулась домой и еще три недели отлеживалась, после чего снова вышла на работу, правда на сокращенный день, с десяти до четырех, — ее перевели на так называемый график домохозяйки. Она не уставала рассказывать, как Кэм с друзьями пришел к ней в больницу, и начинала обычно так: «Ну что вам сказать про моего сына? Карьеры он не сделал, но спасать людям жизнь умеет!» Или: «Наверно, Кэм должен записаться в чудотворцы — со мной у него этот фокус получился!» Между тем Кэм стал поговаривать — и продолжает, — что у него возникли сомнения насчет этой самой религии, святые

братья ему порядком надоели, как и дурацкие запреты на мясо и корнеплоды. Это был этап самопознания — и только, и он рад, что прошел его. На днях я заехала к ним и застукала его перед зеркалом — он примерял свой старый выходной костюм с галстуком. Сказал, что подумывает записаться на какие-нибудь бесплатные курсы для взрослых: почему бы, например, не выучиться на бухгалтера.

Я и сама все чаще думаю: надо бы что-то в себе изменить. Я всерьез об этом размышляю. Недавно я прочла книгу под названием «Искусство любви к ближнему». Пока я ее читала, для меня многое прояснилось, но в итоге я все равно осталась более или менее прежней. Собственно, Кэм ни разу не причинил мне зла намеренно — Харо справедливо мне об этом напомнил. И чем я лучше брата, если вспомнить, что творилось у меня в голове в то утро, когда я узнала, что мама не умерла, а выжила? Я дала себе слово попытаться простить и забыть. Недавно я купила торт — Кэм теперь уплетает сладкое за обе щеки — и поехала к ним. Со стороны заднего двора я услышала оживленные голоса — сейчас лето, и мама с братом любят посидеть на солнышке. Мама рассказывала кому-то, кто зашел ее проведать:

— Да-да, я чуть было не отправилась в лучший мир, но тут мой Кэм, вот этот вот дурень, явился с целой оравой своих дружков-хиппи и устроил пляски под дверью палаты…

— Господи, какое невежество! — взревел Кэм, но было ясно, что негодует он больше по привычке. — Так отзываться о последователях священной древней веры!

У меня возникло странное чувство: будто я иду по горящим углям и проверяю на себе силу чар, способных уберечь от ожогов.

Кровные узы… Откуда берется, чем питается умение что угодно прощать родным людям? Для меня это по-прежнему непостижимая тайна.

Просто скажи – да или нет
Перевод Ирины Комаровой

Я все время представляю тебя мертвым.

Ты сказал, что любил меня. Давно, много лет назад. И я ответила, что в те далекие дни тоже была влюблена в тебя. Преувеличение.

В те далекие дни я была в сущности молоденькой девчонкой — но сама я этого не сознавала, потому что время было совсем другое. В том возрасте, когда нынешние молодые девушки отращивают волосы чуть ли не до пят, путешествуют по Афганистану и плавно, как рыбы, скользят по жизни сквозь бесчисленные, бездумные и недолгие любовные связи, я, засыпая на ходу, стирала пеленки и не вылезала из красного вельветового халата, вечно мокрого на животе; я ездила с детской коляской по самому краю дороги в ближайший магазин за едой (и этот способ передвижения сделался настолько привычным, что без опоры на ручки коляски рукам начинало чего-то не хватать, и приходилось откидываться назад, чтобы перераспределить вес тела, приспособившегося к наклонному состоянию);

по вечерам я читала, прикорнув на кушетке, и засыпала над книгой. Наш тогдашний тяжелый быт теперь вызывает сочувствие, женщин моего поколения жалеют, да и мы сами склонны жалеть себя, но, по правде говоря, не все тогда было так плохо, были и свои мелкие радости — посреди повседневных забот передышки на кофе и сигареты; возможность на бегу перекинуться словом с другими молодыми мамашами, на что-то посетовать, над чем-то посмеяться; и сладкая награда в конце дня — блаженный сон.

Место, где мы тогда жили — на краю университетского кампуса, — называлось «Бараки». Основу этой маленькой колонии составляли старые армейские бараки, приспособленные под жилье для семейных студентов. Помню, я целую зиму одолевала «Волшебную гору» и регулярно засыпала с книгой на животе. Иногда я читала вслух мужу, если он уставал и прекращал заниматься. После «Волшебной горы» я планировала проштудировать «Поиски утраченного времени». Обнявшись, мы еле добирались до постели — обоим до смерти хотелось спать. Но иногда мне приходилось вставать и отправляться в ванную, чтобы ввести диафрагму. Через окошко ванной, не полностью закрытое пластиковой шторкой,

было видно, что кое-где в ванных соседних домов тоже горит свет, и я догадывалась, что еще чьи-нибудь жены среди ночи поднимаются с той же целью. Нас, отработавших дневную смену, неотделимых от грудных младенцев, газовых конфорок и детского мыла, могли таким образом дополнительно вызвать в ночную — и ореол греховного наслаждения, когда-то окружавший секс, быстро тускнел. Я вспоминала, что много лет назад (собственно, лет пять-шесть, но тогда это казалось далеким прошлым) любовная близость потрясала, воспринималась как откровение: мы все читали Лоуренса, многие сохраняли девственность и в двадцать лет. Теперь же прежние ассоциации улетучились и осталась только некая форма общения — привычно одинаковая, деловито-поспешная, ограниченная, как полагается, четырьмя стенами налаженного быта. Не могу сказать, чтобы меня беспокоило чувство неудовлетворенности. Я просто отмечала явную перемену — примерно так же замечаешь перемену в собственном отношении к Рождеству: оно уже не радует, как раньше. Я считала, что причина перемен во мне самой: я выросла, повзрослела, приспособилась к окружающему. По молодости лет я в это верила, как и все мы. В те дни мы часто

употребляли слово «зрелый», «зрелость». Если нам случалось встретить кого-то, кого мы давно не видели, мы докладывали общим знакомым, что теперь это вполне зрелый человек. Ты знаешь — все знают — тот перечень заблуждений, которыми мы руководствовались в пятидесятых. Над ними сейчас иронизируют: считается, что наша тогдашняя зрелость определялась наличием стиральной машины и затуханием политических споров, приверженностью к деторождению и семейным автомобилям. Иронизировать легко, однако это не вся правда: не учитывается то, что было по-своему симпатично в нашей инертности и покладистости, в любви к самоограничению.

Супружеских измен в «Бараках» не было, по крайней мере я ни о чем таком не слыхала. Все жили в слишком тесном соседстве, все были бедны и всегда по горло заняты. На вечеринках почти не флиртовали, может быть, потому, что спиртное приходилось экономить. Ты сказал, что тогда любил меня, и я ответила, что тоже была влюблена, — но, конечно, это было не совсем так. Скорее всего у нас просто открылись глаза на что-то, о чем мы толком не думали, — ты сознательно отгородился от чувств такого рода,

а я еще не доросла до того, чтобы разобраться в собственных.

И когда два года назад мы совершенно неожиданно встретились в городе, чужом и для тебя, и для меня, мы оба вспомнили один и тот же день. И стали говорить об этом дне — после того как выпили за ланчем довольно много вина.

— Помнишь нашу прогулку над рекой? Мне пришлось поднимать эту штукенцию…

— Сидячую коляску. В ней тогда была Джоселин.

— Вот-вот. И перетаскивать ее через камни и грязь. Очень хорошо это помню.

Солнечный, прекрасный теплый день, весна — апрель, может быть, даже март. Я шла в аптеку в нашем торговом центре, и на мне была старая зимняя куртка, потому что, выходя, я не предполагала, что на улице так распогодится. Как только я тебя увидела, я пожалела, что не могу быстренько сбегать домой, причесаться поаккуратнее и вместо куртки надеть свой любимый пушистый темно-серый свитер. А просто скинуть куртку я не могла, потому что под ней была только майка, которую Джоселин заляпала апельсиновым соком.

Раньше у нас было чисто шапочное знакомство,

ты жил на другом конце «Бараков». И был старше большинства из нас — ты вернулся на последний курс университета из мира реальности, из мира, связанного с войной и работой (и вернулся, как оказалось, зря — вскоре после нашей прогулки ты оставил учебу и устроился на службу в какой-то журнал). Я видела твою жену: каждое утро она садилась за руль и уезжала преподавать в школе танцев. Миниатюрная брюнетка цыганистого типа, она производила впечатление весьма уверенной в себе женщины — не в пример большинству жен, вечно полусонных, расплывшихся домоседок.

Мы разговорились у входа в аптеку, и ты сказал, что в такую дивную погоду грех заниматься — лучше пойти погулять. Мы не стали сворачивать в сторону кампуса, где были ровные широкие дорожки, а направились к поросшему негустым лесом высокому берегу реки — в те места, которые студенты — само собой, неженатые! — выбирали для своих торопливых свиданий в дневное время и где они же надолго уединялись по ночам. В тот день мы оказались там одни. Весна еще не успела вступить в свои права — неожиданно щедрая, не по сезону теплая погода застала всех врасплох. С коляской

передвигаться там было хлопотно. Как ты сказал, приходилось то и дело поднимать ее и перетаскивать через камни и топкие участки дороги. И наш разговор тоже то и дело спотыкался, застревал на неловких паузах, с усилием двигался дальше. Говорили мы в общем ни о чем. Боялись прикоснуться друг к другу. Нам все больше мешало предчувствие, что эта прогулка не достигнет цели, ради которой, как мы пытались себя убедить, она была задумана: провести часок на природе в приятной компании, без всяких задних мыслей. И тем более не закончится тем, о чем мы оба молча думали. Для меня было тогда в новинку чувство мучительного внутреннего напряжения. Я еще не умела действовать по расчету, манипулировать мужчинами — этому я научилась позднее. Я даже не знала наверняка, испытываешь ли и ты нечто подобное. И когда мы распрощались, у меня остался неприятный осадок — как будто при знакомстве с потенциальным ухажером я предстала в самом невыгодном свете, вела себя неинтересно, нелепо. Но назавтра — или через день, — лежа с книжкой, как всегда, на кушетке, я вдруг подумала о тебе и почувствовала, будто лечу в какую-то манящую неведомую пропасть. Наверно, в тот момент я поняла, что впереди нас

ждет что-то еще. И поэтому за ланчем два года назад я сказала, что была в тебя влюблена.

Хочешь расскажу, как я узнала о твоей смерти? Первая студенческая группа у меня в десять утра, и перед занятиями я иду в факультетскую кухню заварить себе чашку кофе. Моя коллега, Доди Чарльз, вечно что-то печет и приносит на кафедру — на этот раз она испекла песочный пирог с вишневой начинкой. (Мы, профессионалы, знаем, насколько важны детали, придающие описанию основательность: да, именно песочный, и начинка именно вишневая!) Пирог завернут в вощеную бумагу и сверху еще обернут газетой. Газета столичная, не местная, отмечаю я машинально. И пока закипает вода, я от нечего делать гляжу на эту газету, номер недельной давности, и вижу короткую заметку под скромным заголовком: «Скончался журналист-ветеран». Я задумываюсь над словом *ветеран*. Что в данном случае имеется в виду? Бывший участник реальных боевых действий? Или это метафора? Или то и другое? Автор заметки упоминает, что покойный в прошлом — военный корреспондент. И только тогда до меня наконец доходит. Я вижу в тексте твою фамилию. И название города, в котором ты жил и умер. От сердечного

приступа. Без подробностей.

Я привыкла носить в сумочке твое последнее письмо. Получив очередное, я вынимаю предыдущее и убираю его в коробку, где хранятся все твои письма. Поначалу, пока письмо лежит в сумочке всего несколько дней, я время от времени достаю его, разворачиваю и перечитываю — когда выдается свободная минутка, например за кофе в кафешке или в приемной у зубного врача. Но дни проходят — и мне уже не хочется его доставать: самый вид этого письма, замусоленного на сгибах, зачитанного почти до дыр, становится мне неприятен. Он напоминает, сколько долгих недель и даже месяцев миновало в ожидании очередного письма от тебя. Но из сумочки я его не вынимаю, в коробку не перекладываю — из суеверия.

А сейчас, закончив занятия, перекусив с коллегами, побеседовав со студентами, переделав разные мелкие дела из тех, что входят в мои обязанности, я отправляюсь домой, достаю из сумки письмо — твое последнее письмо, кладу его в коробку к остальным и убираю коробку подальше, с глаз долой. Я не чувствую боли. Я проделываю это все не торопясь, рассчитанными движениями: я их отрепетировала по дороге домой.

Я наливаю себе выпить. И продолжаю жить.

Каждый день, возвращаясь с работы, я бросаю взгляд на свой почтовый ящик — и, по правде говоря, испытываю некоторое облегчение: уже не нужно ничего ждать. Два года подряд этот железный ящик был средоточием моего существования, и теперь, когда он снова превратился в нейтральный предмет, больше ничего не скрывает и ничего не обещает, мне кажется, что мучившая меня боль прошла. О моей потере никто не знает, об этой стороне моей жизни никто не подозревал, — может, какие-то слухи и ходили, но в общем плане, ничего конкретного: когда ты приезжал, мы на людях не появлялись. Поэтому я могу жить дальше — как будто ничего не произошло, как будто тебя в моей жизни не было. Но через некоторое время я все же чувствую потребность кому-нибудь довериться. Один мой коллега, Гус Маркс, который недавно разошелся с женой, приглашает меня поужинать, и за выпивкой мы расслабляемся и решаем поведать друг другу свои невеселые истории, а потом — в основном по моей инициативе — оказываемся в постели. Он унылый, волосатый, а на меня будто что-то нашло — я неистовствую, словно с цепи сорвалась, сама себя не узнаю.

Дня через два, когда мы в перерыве между занятиями пьем кофе, он вдруг говорит:

— Меня беспокоит твое состояние. Может, тебе стоит кому-нибудь показаться?

— Кому? Психиатру?

— Ну да. Проконсультироваться. На всякий случай.

— Спасибо, я подумаю.

Но про себя я посмеиваюсь — у меня уже созрел совсем другой план. Как только закончится весенний семестр, в последних числах апреля, я хочу съездить в твой город, туда, где ты умер. Я там ни разу не была. Прежде подобная идея не возникала. А теперь я жду этой поездки в приподнятом настроении, я энергично к ней готовлюсь — решила обновить свой гардероб, купила что-то светлое, летнее, разорилась на модные солнцезащитные очки…

Я не рассматриваю любовь как нечто неизбежное, стихийное: она всегда предполагает выбор. Просто момент выбора не всегда осознаёшь, не понимаешь, когда именно он наступил, когда то, что казалось легким увлечением, переросло в необратимый процесс. Без каких-либо предупреждающих сигналов. Я вспоминаю, как мы встретились два года назад, как сидели в ре-

стране и ты сказал: «Я любил тебя. И сейчас люблю», а я поймала свое отражение в зеркале у тебя за спиной — и мне внезапно сделалось неловко. Я подумала — бог знает почему! — что ты говоришь это из чистой галантности, что твои слова не стоит принимать всерьез. Я подумала: вот сейчас он приглядится ко мне как следует и поймет, что выбрал для излияния чувств совершенно неподходящий объект — особу, которая уже не тянет на образ прекрасной дамы, которая отвыкла выслушивать любовные речи и тем более разучилась на них отвечать. Я в сущности уже давно махнула на себя рукой, потеряла интерес к интригам и бессмысленному выяснению отношений. Я перестала мыть волосы оттеночным шампунем, использовать питательные маски и омолаживающие кремы, румянить щеки и вообще что-то делать со своим лицом. Но потом я поняла, что ты говоришь серьезно, и это только усилило мои сомнения:

— Ты не ошибся? Ты точно *меня* имеешь в виду? Ни с кем не путаешь?

— Память мне, конечно, начинает изменять, но не до такой же степени!

Перед этим разговор шел непринужденно, мы много что успели обсудить. Я спросила,

как поживает твоя жена.

— Танцы пришлось оставить. Она перенесла операцию на колене.

— Наверно, ей трудно было отвыкать от прежней бурной активности.

— Она нашла себе другое занятие. Открыла магазин. Книжный.

Ты спросил о моем муже, и я ответила, что мы развелись. Сказала, что дети выросли и оба в этом году уехали учиться, впервые живут одни, без меня. Выпитое вино развязало мне язык, и я даже рискнула признаться, что последнюю пару лет перед разводом Дуглас все время говорил сам с собой. Когда он косил траву перед домом, я украдкой наблюдала за ним из-за неплотно задернутых занавесок и видела, как он гримасничает, чему-то усмехается, хмурит брови и говорит, говорит, не закрывая рта. А какой темпераментный, бурный диалог он вел с самим собой, пока брился в ванной — в полной уверенности, что жужжание электробритвы заглушит его голос. В конце концов мне все это порядком надоело и уже не хотелось вникать в его разглагольствования.

Мой самолет улетал в шестнадцать тридцать, и ты повез меня за город, в аэропорт. Я не чув-

ствовала себя несчастной при мысли, что мы расстаемся и вряд ли увидимся снова; и все же, просто сидя в машине рядом с тобой, я была счастлива. Снаружи быстро темнело, как всегда в ноябре; встречные автомобили шли с зажженными фарами.

— Знаешь, а ведь ты могла бы полететь более поздним рейсом.

— Да?

— Мы могли бы заехать в отель, оттуда позвонить в аэропорт, отменить твой вылет и забронировать билет на другой рейс, попозже.

— Право, не знаю. Пожалуй, нет. Я слишком устала.

— Что, я такой утомительный собеседник?

— Ничуть.

В машине мы все время держались за руки, и после этого «ничуть» я высвободила руку, чтобы жестом успокоить тебя, показать, что я устала не от разговора, а от чего-то другого, давно не испытанного, — и потом опять взяла тебя за руку. Не знаю точно, что именно я хотела выразить, но мне казалось, что ты поймешь, — и я была права, ты понял.

К северу от города мы свернули на скоростную автостраду и теперь ехали прямо на запад.

Близился закат, полосы неба в просветах между облаками горели багровым пламенем. Огни машин, миля за милей, сливались в непрерывную светящуюся ленту. И мне казалось, что весь мир вокруг плывет, сливаясь в некую блаженную картину, обволакивает меня и успокаивает. Похожее ощущение иногда возникало у меня под воздействием выпитого. И этот новый, благодатный мир шептал мне: почему бы и нет? Почему бы не довериться настоящему, не поплыть по течению, не попытаться растянуть эти минуты? А вдруг получится? И на сей раз выпивка была ни при чем: да, за ланчем я чуточку перебрала, не спорю, но сейчас хмель полностью прошел.

— Правда, почему бы и нет?

— Почему бы и нет — что?

— Почему бы не заехать в отель, не позвонить в аэропорт и не перенести вылет?

И ты ответил:

— Я этого ждал.

Может быть, вид закатного неба и автомобильных огней и определил выбор? Как ты думаешь? Тогда я отнеслась к этому довольно легко, не придала особого значения. Мотель, в который мы заехали, был построен из белых блоков, и оштукатуренные стены выглядели одинаково изнутри

и снаружи, отчего обстановка номера — роскошные с виду ковры и занавеси, громоздкая мебель в псевдоиспанском стиле — казалась особенно нелепой и несообразной, как будто это не жилье, а склад временного хранения. На стене напротив кровати висела картина: оранжевые лодки и черно-оранжевые дома, отражающиеся в сине-черной воде. И ты рассказал мне о своем знакомом художнике, который работал по заказам мотелей. Писал он всегда одно и то же: лодки, фламинго и голых мулаток, ничего другого — и, по твоим словам, жил припеваючи.

Над головой у нас с воем пролетали реактивные лайнеры. Я не всегда могла расслышать, что ты говоришь, — ты прижимался ко мне лицом. А переспрашивать было смешно и глупо, к тому же слова, которые произносятся в постели, нельзя повторять. Но меня беспокоило другое: вдруг ты спросил меня о чем-то важном и, не услышав ничего в ответ, не стал повторять свой вопрос? Это мучило меня и потом, много позже, когда я жаждала ответить на все твои вопросы, заданные и не заданные, — ответить так, как хотелось тебе.

Нас обоих била дрожь. У нас не сразу получилось: до такой степени нас обоих — повторяю,

обоих — переполняло благодарное изумление. Нас затопила волна блаженства, незаслуженного, безоговорочного счастья, в которое мы боялись поверить. В глазах у нас стояли слезы. Правда. Так было.

И вот о чем я думаю: если бы я впервые встретилась с тобой только два года назад, в моем тогдашнем возрасте, не раньше, могла бы я тебя полюбить? Вряд ли. Во всяком случае, не так. Не так сильно. В тот день ты вернул меня в мою молодость, связал меня нынешнюю с наивной девочкой, которая гуляла по кампусу с детской коляской и, невзирая ни на что, умудрилась сохранить невинность. Если в те далекие дни я сумела зажечь искорку любви, которая теперь согрела нас обоих, то, может быть, моя жизнь не так уж бессмысленна, как мне казалось? Не всё было напрасно? Не всё рассыпалось на куски и пропало бесследно, безвозвратно?

Я решаю вылететь первого мая. У меня почти два свободных месяца, прежде чем кто-то из детей приедет домой на каникулы и прежде чем начнутся занятия в университетской летней школе. Я лечу в твой город, куда так долго посылала письма. Сначала веселые, многословные, доверительные, потом тревожные, под конец

умоляющие. В город, куда мои письма продолжали бы идти, если бы я не наткнулась на газетное сообщение о твоей смерти.

Я лечу в город, в котором ты жил и который мне знаком по твоим письмам. Ты отзывался о нем насмешливо, но в целом он тебя устраивал. Мне запомнилась твоя формулировка: сплошные старые развалины и бестолковые туристы. Нет, дословно фраза была такая: «сплошные старые развалины *вроде меня*» — ты всегда хотел казаться старше своих лет. Ты любил напускать на себя усталый вид, притворяться ленивым, равнодушным, пресыщенным. Честно говоря, я считала, что это поза. Я не верила — не хватало воображения поверить, — что ты и в самом деле чувствуешь приближение старости. Как-то раз ты заметил: неизвестно, помру я завтра или протяну еще лет двадцать пять, но, собственно, какая разница? И ты сказал такое *мне*! Ну не кощунство ли? И еще добавил, что счастье для тебя пустой звук. И я опять-таки тебе не поверила, приняла это за самомнение и фанфаронство, характерное для человека молодого. Я не делала поправки на возраст, не давала себе труда как следует разобраться в тебе, допустить, что ты не лукавишь, что запасы жизненной энергии,

на которую я полагалась, растрачены, вот-вот иссякнут. И хотя я перестала красить волосы и совсем было решила не ждать слишком многого, спокойно доживать, сколько положено, теперь я смотрела в твою сторону с надеждой, с огромной надеждой. Я отказывалась — и отказываюсь — видеть тебя таким, каким ты сам видел себя.

Я сравнил бы тебя, пожалуй, с теплой, живой волной, даже больше — с весенним половодьем, — написал ты мне однажды, — *и я, как всякий нормальный человек, боюсь, что меня вот-вот захлестнет, накроет с головой, унесет неведомо куда — на то оно и половодье.*

В ответном письме я возразила: ничего подобного, я всего лишь тихий, мелкий ручеек, который можно запросто перейти вброд. Но ты стоял на своем.

Как я старалась, всеми правдами и неправдами, быть на высоте — и в письмах, и при наших свиданиях! Сколько сил тратила, чтобы завуалировать свою любовь, представить ее как легкую, ни к чему не обязывающую интрижку! Бессмысленная игра в шарады с переодеваниями… Унизительное притворство! А ты — ты только улыбался, рассеянно, чуть снисходительно; наверно, тебе неловко было наблюдать за моими

ухищрениями. Неловко за меня.

Я нахожу себе жилье на побережье, в доме постройки, видимо, двадцатых годов — бледно-желтый фасад, облупленные карнизы, над входом лепное украшение — медальон и волюта с полустершейся надписью. Ослепительный свет от моря, толпы пожилых туристов, снующих взад-вперед, — ты мне о них рассказывал. Я тоже брожу по улицам, без всякой цели. Идти на кладбище я не хочу. К тому же я не знаю, на каком из местных кладбищ ты похоронен. Я хожу по тротуарам, по которым, возможно, ходил и ты, вижу вокруг то, что почти наверняка видел ты. В оконных стеклах, где когда-то отражалось твое лицо, теперь мелькает мое собственное отражение. Я играю в эту игру. Сам город совершенно не похож на города, к которым я привыкла. Узкие, крутые улицы; преобладают светлые тона; у многих домов плоские кровли, а сами дома смахивают на автозаправочные станции — перед Второй мировой войной в архитектуре был популярен лаконичный стиль. Довольно часто попадаются декоративные элементы — высокие узкие окна с толстыми непрозрачными стеклами, черепичные крыши в испанском духе, круглые окошки, балкончики; вся эта эклек-

тика не вяжется с однообразными фасадами. Зато сады роскошные. Рододендроны, азалии, гортензии пламенеют оранжевым, красным, лиловым; от их пышного многоцветия больно глазам. Тюльпаны, огромные, как винные кубки, — все назойливо, все напоказ. Торговые заведения необычные, особенно на взгляд человека из промышленно-университетского города, где стиль торговли менее броский, чисто функциональный, хотя в больших торговых центрах и у нас не обходится без излишеств. Мороженицы начала века, где подают развесное мороженое в вазочках. Забавные вывески: ВСЁ ДЛЯ КОВБОЯ. СПОРТТОВАРЫ; ПЛЯЖНАЯ КАНАДА: НА КАНАРЫ НЕ НАДО! — и пальмы в кадках у дверей. Чайные в псевдотюдоровском стиле, с замысловатыми фронтонами. Целая гора босоножек на веревочной подошве перед входом в какое-то подобие пещеры; изнутри доносятся записанные на пленку «голоса джунглей». Кондитерские в домах с фальшивыми фасадами — имитация средневековых замков в миниатюре. Бесконечный, утомительный маскарад. Как-то днем я захожу в супермаркет купить хлеба и фруктов — и вижу, что девушка за кассой одета в холщовый мешок, лицо у нее вымазано грязью и красной краской,

а в волосы воткнута пластмассовая кость. У них то ли акция, то ли дегустация — рекламируют изюм и австралийскую говядину. Но сквозь слой краски и грязи девушка мне улыбается — устало, однако же вполне по-человечески, и примиряет меня со всем этим балаганом. И так почти везде — непременно найдется кто-нибудь, на ком может отдохнуть глаз.

Я брожу по улицам твоего города в надежде обнаружить что-то связанное с тобой — когда-то я с той же целью читала твои газетные и журнальные статьи, книги, которые ты писал. Я тщетно пыталась отыскать в них следы личности автора. Остроумные, познавательные, стилистически безупречные, почти виртуозные, твои книги служили самым разным целям — кроме одной: от самовыражения ты последовательно уклонялся. Я без конца донимаю тебя вопросами: неужели это все, что ты хотел сказать? А ты только снисходительно посмеиваешься в ответ: чего же еще можно ждать от книжки? Но это меня не убеждает, я продолжаю допытываться, жду откровений.

Если бы мне предложили назвать твое главное свойство, я сказала бы: ты не способен идти на компромисс. Именно это я вижу в тебе прежде

всего. Ты бы возмутился, возразил, что всю жизнь только и делаешь, что соглашаешься на компромиссы. Но я имею в виду нечто другое. Сейчас попробую сформулировать: ты не допускаешь компромиссов с самим собой, не ищешь легких выходов (для тела и души), ты сам себе *неудобен*. И при всей своей чистоте и доброте ты не склонен проявлять жалость. Но в то же время в тебе есть что-то рыцарское. Я уверена, что ты, как истинный рыцарь, способен и на самопожертвование, которое давно вышло из моды, и на необъяснимую жестокость, причем поступки обоего рода ты совершаешь с воодушевлением, словно живешь по уложениям тайного ордена.

Сам ты описывал себя совсем не так: говорил, что в общем ты человек добродушный, избалованный, в меру эгоистичный, склонный к сибаритству. Ты недоуменно поглядывал на меня поверх очков, как строгий преподаватель старой школы, поставленный в тупик категоричностью студентки. И тогда получалось, что моя влюбленность, то, как я ее проявляю, — всего-навсего сумасбродство, сродни самонадеянной гипотезе, которую можно высказать в студенческой работе, ничем не подкрепив по существу.

С начала нашего романа, разумеется, я пони-

мала, что двойная жизнь чревата опасностями. Сознавала, что связывающие нас ниточки в любой момент могут порваться. Так оно и случилось. Не знаю, как и когда наметился этот разрыв, произошел ли он по твоей воле или по каким-то не зависящим от тебя причинам: спросить не у кого, пожаловаться некому. Раньше долгое молчание все-таки разрешалось, в последний момент приходило спасение. Я в панике отправляла тебе отчаянное письмо — и получала в ответ твое, насмешливое, ласковое; ты просил прощения и уверял меня, что беспокоиться не о чем, положение ничуть не изменилось, мои позиции прочны как никогда, ты и не думал оставлять меня. И когда ты навсегда исчезаешь из моей жизни, когда я проваливаюсь в бездонную яму твоего отсутствия, я еще долго пребываю в уверенности, что мне просто снится кошмарный сон или что я угодила в западню и надо изо всех сил кричать, звать на помощь — и я до кого-то докричусь, помощь придет.

Я начинаю читать статьи в женских журналах. Душещипательные житейские истории. Когда у нас с тобой все в порядке и червь сомнения меня не грызет, я из суеверия не вчитываюсь в эти нехитрые исповеди; но если ты молчишь

и я с ума схожу от беспокойства, я пытаюсь найти в них утешение. И правда, разве не проще утешаться тем, что многим куда хуже, чем тебе, что твоя персональная боль отнюдь не исключение, что твои душевные муки вполне типичны, узнаваемы? Скольким женщинам пришлось переболеть любовью — и ничего, все выжили, вылечились и готовы передать полезный опыт товаркам по несчастью. Вот, например, Марта Т. Она пять лет была любовницей человека, который без конца обманывал ее, измывался над ней — и тем не менее сохранял для нее притягательность. «Я в него влюбилась, потому что он был такой обходительный», — вспоминает она. Или Эмили Р.: любовник уверял ее, что женат, а на самом деле женат не был. И как часто в разговорах с разными знакомыми, мужчинами и женщинами, я ловлю себя на том, что из кожи вон лезу, пытаясь острить все на ту же невеселую тему, повторяя — в который раз: да, женщины возводят замки на фундаментах, не способных выдержать самое хлипкое строеньице, пристанище на одну ночь; да, женщины живут самообманом и страдают без толку; да, их легко эксплуатировать, потому что без привязанностей их существование лишено смысла, и еще потому,

что внутри них самих кроется какой-то глубокий, не поддающийся определению, но не совсем безнадежный изъян. И так далее до бесконечности — в наши дни все знают наизусть эту старую песню. А между тем мое сердце разбито, тоже как в песне; оно пересохло, растрескалось, оно похоже на пустыню, изборожденную расщелинами. Я пла́чу вместе с Эмили Р. и Мартой Т. и пытаюсь угадать, какой путь для исцеления они нашли. Брали уроки макраме? Занимались дыхательной гимнастикой? В свое время я слышала от кого-то — точно не помню от кого, но, разумеется, от женщины! — что боль возникает, только если думаешь о прошлом или о будущем, поэтому для себя моя знакомая решила эту проблему просто: стала жить исключительно настоящим моментом. По ее словам, каждый данный момент — это средоточие покоя. Я попробовала жить по такому рецепту, я готова попробовать что угодно, но как это работает, мне непонятно.

Я покупаю план города. Нахожу твою улицу, квартал, где стоит твой дом. Оказывается, это недалеко от места, где поселилась я, — можно дойти пешком, кварталов десять. Я иду туда, но за пару кварталов до твоего дома сворачиваю в сторону. Ты не хотел, чтобы я видела твой дом.

(Со мной все обстоит наоборот: в ожидании твоего приезда я старалась всячески принарядить свое жилище, чтобы оно тебе понравилось, — только ты мог вдохнуть в него жизнь.) Теперь я, если захочу, могу его увидеть. Могу пройти мимо по другой стороне улицы с бьющимся сердцем, еле решаясь взглянуть на сам дом. Потом, взяв себя в руки, могу рассмотреть его как следует. Вероятно, разумнее всего отправиться на разведку в сумерках и задержаться у открытых окон: оттуда может донестись музыка, могут послышаться голоса. У меня в голове не укладывается, что это реальность, реальный дом, в котором живут, спят, моют посуду. А когда совсем стемнеет, если твоя жена не задергивает шторы, можно заглянуть внутрь, увидеть ваши комнаты, картины на стенах. Кто выбирал их — ты, она? Ни один из вас? Или вы вместе? От этих мыслей мне становится больно.

Однажды в каком-то журнале — возможно, из тех, с которыми сотрудничал ты, — я прочла документальный очерк о женщине, у которой в автокатастрофе погибли двое детей, две девочки. Так вот, она каждый день в одно и то же время выходила на улицу и шла навстречу школьникам, возвращавшимся домой после

занятий, словно надеялась увидеть среди них своих дочек. Но к самой школе она не подходила, в опустевшие классы не заглядывала: на это она не отваживалась.

Остается книжный магазин твоей жены: туда-то я вполне могу пойти. Я не знаю, как он называется, и просматриваю соответствующий раздел в телефонном справочнике. Наверно, вот этот: «Книжный салон Барбары». Судя по названию, я ожидаю увидеть что-то затейливое, претенциозное, но, к моему удивлению, все оказывается совсем не так. Просторное, ярко освещенное помещение, довольно много покупателей. Никаких лишних элементов декора — псевдосредневековых или тюдоровских, вообще никаких фокусов, нормальный магазин. Солидное предприятие, работающее круглый год, не зависящее от сезонного наплыва невзыскательных туристов.

Я узнаю ее с первого взгляда, хотя она изменилась. Седины в волосах больше, чем у меня, прическа другая — волосы собраны в пучок на затылке. Лицо без всякой косметики; черты обозначились резче; кожа с желтоватым оттенком; и при этом в лице моментами проглядывает прежняя живая привлекательность, — сразу вспоминается ее взрывной, иронический стиль.

На ней прямое свободное платье лилового цвета, с полосками индейской вышивки. Двигается она с некоторым трудом — видимо, пришлось заново учиться ходить после операции на колене, когда ей вырезали хрящ. И она, как ты и говорил, располнела; теперь это плотная, приземистая женщина средних лет.

Она появляется откуда-то сзади, из подсобного помещения, с двумя толстенными альбомами по искусству в руках. Заходит за прилавок, ставит книги на полку и обращается к девушке-продавщице, явно продолжая начатый разговор:

— Ну, я понятия не имею — подними накладную, дозвонись до них, объясни, что у нас так вещи не делаются: всю партию придется вернуть, черт их дери!

Я узнаю ее голос, я слышала его на когдатошних университетских сборищах — требовательный, звучащий особенно уверенно, если она начинает терять терпение; голос, с которым как нельзя лучше сочетаются фразы типа «Господи боже, и чем только эти идиоты думают!». А вдруг и она узнает мой голос, припомнит мое лицо? Впрочем, вряд ли. Такие, как она, привыкли быть в центре внимания и не замечают тех, кто с краю, — к тому же никакой информации обо мне у нее нет.

Увидеть меня здесь она не рассчитывает.

Тем не менее мне неуютно, я чувствую себя виноватой. Однако я надолго застреваю в магазине, обхожу его и вдоль и поперек. С ума сойти, сколько там книг! Почему-то мой взгляд то и дело задерживается на книжках, предлагающих читателям разные способы обретения счастья или по крайней мере душевного покоя. Ты представить себе не можешь — или как раз можешь?! — какое множество книг такого рода пишется и издается. Я отнюдь не отношусь к ним предвзято. Я даже думаю, что неплохо бы их почитать. Хотя бы выборочно. Но сейчас я только в оцепенении разглядываю их на полках. А есть еще масса других, посвященных разного рода магии: сотни, буквально сотни книг о ведьмах, гадалках, ясновидящих, о заговорах, ритуалах, порчах, сглазах и прочих чудесах. Обе эти группы книг — про счастье своими руками и про магические силы вне нас — сливаются для меня в некое целое, я не в состоянии отделить одни от других, я не могу к ним прикоснуться. Они образуют единый сплошной многоцветный поток, который как по волшебству заполняет все пространство магазина, накрывает меня с головой, и я уже не понимаю, что́ там внутри, в этих книгах, пото-

му что не умею дышать под водой.

И все же я продолжаю приходить туда. Я прихожу каждый день, иногда для отвода глаз плачу за пару книжек в мягкой обложке, но чаще просто бесцельно брожу. Наверно, меня принимают за одного из таких любителей книг, которые смотрят, листают, но редко покупают. Как-то раз я ловлю на себе ее взгляд; она улыбается — но эта улыбка не предназначена мне лично, она адресована потенциальной покупательнице, одной из многих. Я слушаю, как она говорит с продавщицами, смеется, ведет с кем-то долгий телефонный спор — то шутливый, то серьезный. Просит приготовить ей чаю с медом, притворно-возмущенно отказывается от печенья. Иногда при мне она что-то настоятельно рекомендует покупателям, уговаривает, очаровывает — и добивается своего. Я могла бы с ней сблизиться, войти в доверие. Что за фантазии приходят мне на ум! В ее присутствии меня обуревают самые разные чувства: тут и ревность, и сознание собственного, пусть недолгого превосходства, и непристойное, неудержимое любопытство. Обо всем этом позже я вспоминаю со стыдом.

Если я попадаю туда ближе к вечеру — магазин работает до девяти, — ее как правило уже нет.

Но однажды незадолго до закрытия я застаю ее там одну. Больше в магазине никого. Увидев меня, она выходит в подсобку, через минуту возвращается и направляется ко мне. В руках у нее пакет из оберточной бумаги.

— Мне кажется, я знаю, кто вы.

Она смотрит мне прямо в глаза. Смотрит снизу вверх, откинув голову назад, — она намного ниже меня ростом.

— Мы все заметили, что вы давно сюда ходите, как на работу. Я было заподозрила вас в воровстве, велела девушкам приглядывать за вами. Но вы ведь не воровка — я права?

— Вы правы.

Она протягивает мне то, что держит в руках. Я машинально беру бумажный пакет; внутри шуршат тоже какие-то бумаги.

— Он умер. — Говоря это, она улыбается победной улыбкой учительницы, уличившей школьника в неблаговидном поступке. — Поэтому он вам и не писал. Он умер в марте. Дома, у себя за письменным столом. От сердечного приступа. Я вечером вернулась и нашла его.

Я не могу произнести в ответ ни слова. Да и вправе ли я отвечать?

— Думаете, я стану извиняться за то, что со-

общаю вам столь неприятное известие? Нет, не стану. Мне безразлично, как вы это примете. Абсолютно безразлично. И видеть вас здесь я больше не желаю. Всего хорошего.

Я ухожу из магазина, так ничего и не сказав.

Дома я раскрываю пакет и вынимаю оттуда письма. Небрежно сложенные листки без конвертов. Я заранее знала, что в пакете будут письма, мои письма. Я не хочу их читать, я боюсь к ним притрагиваться, хочу убрать их с глаз долой. Но внезапно я замечаю, что почерк чужой, незнакомый. Я начинаю читать. Это не мои письма, их посылал кто-то другой. Я в панике перебираю листки и вижу подпись: *Патриция; Пат; П.* Тогда я возвращаюсь к началу и внимательно прочитываю все письма по очереди, одно за другим.

Любовь моя!

Мы расстались совсем недавно, и я не помню себя от счастья. Я пошла в парк с Самантой, там было так чудесно. Я качала ее на качелях, смотрела, как она съезжает с детской горки, и думала, что буду любить этот парк всегда, пока жива, потому что я пришла туда такая счастливая, после того как мы с тобой были вместе.

Дорогой мой!

Помнишь безумного старика из соседнего дома? Представляешь, он явился и съел все, что висело на дереве в саду. Это же декоративное дерево, и сливы на нем были просто для красоты, твердые и совершенно несъедобные, а он их все оборвал и прямо горстями заталкивал в рот, давился и глотал! А я молча наблюдала за ним из комнаты, сидя на полу на диванных подушках, где мы с тобой…

Мой дорогой, любимый!

Прошлой ночью ты мне приснился. Такой красивый, удивительный был сон. Ты держал в руках мои распущенные волосы и говорил: смотри, какие они тяжелые, они высосут из тебя все силы, надо их срочно обстричь. И ты говорил так ласково, с таким участием, как будто речь шла не о волосах, а о чем-то куда более важном. Но я не могу догадаться, о чем еще ты говорил, мой любимый, ты мне давно не пишешь. Пожалуйста, напиши поскорее, чтобы я знала, что ты хотел сказать мне в этом сне…

Любимый!

Я изо всех сил стараюсь удержаться и не писать тебе, я считаю, что я не должна лишать

тебя права на выбор, я не хочу тебя преследовать и мучить, но мне невыносимо тяжело, когда ты вот так берешь и исчезаешь в никуда, мне так ужасно одиноко. Если бы ты мне прямо сказал, что больше не хочешь меня видеть, не хочешь, чтобы я тебе писала, я смогла бы это понять и принять, честное слово, для меня хуже всего неизвестность. Я бы так или иначе совладала со своими чувствами, если бы понадобилось, я бы оправилась от этого недуга, от любви к тебе, но сейчас мне необходимо знать, любишь ли ты меня, хочешь ли еще быть со мной, так что прошу тебя, пожалуйста, просто скажи — да или нет.

И последнее письмо — собственно, даже не письмо, несколько наспех нацарапанных строк, без обращения и подписи:

Ради бога напиши или позвони, я с ума схожу. Я сама себе противна, но я так больше не выдержу, пожалей меня.

— Эти письма не мои. Их писала не я.
— Значит, вы не она?
— Нет. Я не знаю, кто она. Понятия не имею.
— Зачем же вы их взяли?
— Сама не пойму. Не сообразила, о чем идет

речь. Я недавно пережила большое горе, внимание у меня иногда… рассеивается.

— Вы, наверно, подумали, что я ненормальная.

— Я не знала, что и думать.

— Видите ли, получилось так… Мой муж умер, я вам говорила. Он умер в марте. А письма всё идут и идут. На конвертах ни фамилии отправителя, ни обратного адреса. Только почтовый штемпель — Ванкувер, но это вряд ли поможет. Вот я и решила, что рано или поздно эта женщина здесь появится. Последние письма такие отчаянные.

— Да.

— Вы их все прочли?

— Да.

— Зачем? Вы же сразу догадались, что произошло недоразумение.

— Хотелось дочитать. Стало любопытно.

— Ваше лицо мне знакомо. Впрочем, мне многие лица кажутся знакомыми — в магазине бывает столько разных людей.

Я называю свое имя, свое настоящее имя — к чему скрывать? Оно ей ничего не говорит.

— Я вижу столько разных людей… — Она берет пакет с письмами и, чуть помедлив, опускает в мусорную корзину. — Я больше не могу дер-

жать их у себя.

— Вы правы.

— Получается, она и дальше будет страдать от неизвестности.

— Со временем поймет.

— А если нет? Впрочем, это не моя забота.

— Верно. Не ваша.

Мне неохота дальше говорить с ней, неохота выслушивать ее теории. Самый воздух вокруг нее сгущается; от нее словно исходит удушливый, мертвенный свет. Она пристально смотрит на меня.

— Не понимаю, с какой стати я приняла вас за эту женщину. Вы, по-моему, ненамного моложе меня. Я всегда считала, что любовницы по определению моложе, чем жены.

Помолчав, она добавляет:

— Вы теперь знаете о моей жизни больше, чем мои продавщицы или знакомые, и вообще чем кто бы то ни было, кроме, пожалуй, этой неизвестной особы. Простите, но мне действительно не хотелось бы вас здесь видеть.

— Я живу в другом городе. Я скоро уеду. Может быть, даже завтра.

— Ничего не поделаешь, это жизнь. Обычная история. Я не жалуюсь на судьбу, у нас был

вполне удачный брак. Детей не получилось, но зато каждый делал то, что хотел. Жилось с ним всегда легко, спокойно. И он многого достиг. Я всегда полагала, что он мог бы достичь большего, если бы постарался. Но он и так пользовался известностью. Если я назову вам его фамилию, вы наверняка вспомните его публикации.

— Да нет, не стоит.

— Ну что ж. Как скажете.

Она пожимает плечами, поднимает брови, как бы показывая иронической гримаской: все, тема закрыта, говорить не о чем. Я поворачиваюсь и иду к выходу, но краешком глаза успеваю заметить ее скептическую полуулыбку.

На улице в этот долгий, почти летний вечер еще совсем светло. Я хожу, хожу и не могу остановиться. Я брожу по этому придуманному городу, иду мимо каменных стен, одолеваю крутые подъемы и спуски — и все время мысленно вижу эту девушку, Патрицию. Девушку, женщину, неважно. Тот тип женщины, которая способна назвать свою дочь Самантой. Стройная, модно одетая, немного напряженная, нервная. Распущенные по плечам темные волосы. Волосы не причесаны, лицо опухло и покраснело от слез. Она сидит в темноте. Бродит из комнаты в комнату. Пробует

улыбнуться, глядя в зеркало. Пытается подкраситься. Откровенничает с подругой. Ложится в постель с мужчиной. Идет с дочкой в парк — но не в тот парк, в другой. Избегает определенных улиц, не притрагивается к определенным журналам. Короче говоря, страдает в полном соответствии с правилами, лишенными всякого смысла, но обязательными для всех. И когда я думаю о ней, я, кажется, догадываюсь, как ты воспринимал — воспринимаешь — подобную разновидность любви: как что-то происходящее отдельно от тебя, на расстоянии; как непонятное, недостойное жалости саморастрачивание; как закрытый для непосвященных обряд в рамках некоей безымянной религии. Я права? Я наконец приближаюсь к разгадке? Так и есть?

Но тут я вспоминаю, что *не я, а ты* первым заговорил о любви. *Ты, не я,* признался первым.

Как же прикажешь тебя понимать?

Впрочем, неважно. Я выдумала эту девушку. Даже тебя до какой-то степени придумала, приспособила к собственным целям. Придумала, что любила тебя. Придумала, что ты умер.

У меня тоже есть всякие приемы и ловушки. Пока я еще не знаю, как они сработают, но не стану заранее их отвергать: приберегу на всякий

случай.

Лодка-находка
Перевод Александры Глебовской

Там, где кончались Белл-стрит, Маккей-стрит и Майо-стрит, находился Разлив. Там протекала река Ваванаш, которая каждую весну выходила из берегов. Выпадали весны — примерно одна из каждых пяти, — когда вода заливала дороги со стороны города и растекалась по полям; получалось мелкое, покрытое рябью озеро. В свете, отражавшемся от воды, все вокруг казалось ярким и холодным, как оно бывает в городах на берегах озер, и пробуждало или возрождало смутные надежды на некое бедствие. Жители приходили на все это посмотреть — чаще всего под конец дня или в ранние сумерки — и посудачить, все ли еще вода поднимается и дойдет ли на сей раз до границы города. Как правило, жители младше пятнадцати и старше шестидесяти пяти сходились на том, что дойдет.

Ева и Кэрол выехали из города на велосипедах. Свернули в конце Майо-стрит с дороги — домов там уже не было — и двинулись напрямик через поля, вдоль проволочной изгороди, зимой зава-

лившейся на землю под тяжестью снега. Немного покрутили педали, потом увязли в густой траве, бросили велосипеды и подошли к берегу.

— Давай найдем бревно и покатаемся, — предложила Ева.

— С ума сошла? Ноги отморозим.

— «С ума сошла? Ноги отморозим!» — передразнил один из мальчишек, тоже стоявших у кромки воды. Проговорил он это гнусавым, писклявым голосом, как обычно мальчишки говорят девчоночьими голосами, хотя сами девчонки говорят совсем не так. Эти мальчишки — всего их было трое — учились с Евой и Кэрол в одном классе, так что девочки знали их имена (а имена их были Фрэнк, Бад и Клейтон), однако Ева и Кэрол, которые приметили и признали мальчишек еще с дороги, первыми с ними не заговорили, на них не смотрели, да и вообще делали вид, что рядом никого нет. Мальчишки, похоже, пытались соорудить плот из досок, выловленных из воды.

Ева и Кэрол сбросили туфли и носки, вошли в воду. Ноги заломило от холода, по венам будто бы побежали синие электрические искры, но девчонки забирались все глубже, подбирая юбки, сзади — в обтяжку, а спереди — кулём, чтобы удобнее было держать.

— Эк переваливаются, куры толстозадые.

— Дуры толстозадые.

Ева и Кэрол, понятное дело, притворились, что ничего не слышат. Они выловили бревно, забрались на него, поймали пару дощечек, чтобы грести. В Разливе вечно плавала всякая всячина — ветки, штакетины, бревна, дорожные указатели, ненужные доски; а иногда — водогреи, раковины, кастрюли и сковородки, случалось даже — автомобильные сиденья или мягкие кресла; можно было подумать, что Разлив доплескивается до самой свалки.

Девчонки погребли прочь от берега, на холодный озерный простор. Вода была совершенно прозрачной, видно было, как у дна колышется бурая трава. А пусть понарошку это будет море, решила Ева. Она подумала про затонувшие страны и города. Атлантида. А пусть мы понарошку будем викинги, мы плывем на ладье — в Атлантике их ладьи казались такими же тонкими и хлипкими, как это бревно на Разливе, а под килем у них была прозрачная вода на много миль, а дальше город со шпилями, нетронутый, будто драгоценный камень, который уже не достанешь с морского дна.

— Это ладья викингов, — сказала Ева. — А я —

резная фигура на носу.

Она выпятила грудь и вытянула шею, пытаясь изобразить дугу, а потом скорчила рожу и высунула язык. После этого обернулась и впервые обратила внимание на мальчишек.

— Привет, придурки! — заорала она. — А вам слабó сюда заплыть, тут глубина три метра!

— Врешь, — отозвались они без малейшего признака интереса; она и правда врала.

Девчонки проплыли мимо купы деревьев, разминулись с мотком колючей проволоки и оказались в заливчике, возникшем на месте естественного понижения почвы. Ближе к концу весны на месте заливчика образуется пруд, кишащий лягушками, а к середине лета воды в нем совсем не останется, только низкая поросль кустов и тростника, зеленеющих в знак того, что почва у корней еще влажная. Вдоль крутого берега пруда росли деревья повыше — ивы, над водой торчали верхушки. Бревно ткнулось в ивы. Ева и Кэрол увидели, что впереди что-то застряло.

Это была лодка, точнее, часть лодки. Старая весельная лодка — один борт отломан почти целиком, доска, раньше служившая скамейкой, болтается без опоры. Лодка запуталась

среди ветвей и лежала, задрав кверху нос, вроде как на боку — вот только бока у нее не было.

В головы им, без всяких обсуждений, одновременно пришла одна и та же мысль.

— Парни! Эй, парни!

— Мы вам лодку нашли!

— Бросайте свой дурацкий плот, идите сюда, посмотрите на лодку!

Сильнее всего удивило их то, что мальчишки действительно пришли — по полосе суши, чуть не бегом, чуть не кувырком вниз по склону, настолько им было интересно.

— Где, где?

— Да где же, не вижу я никакой лодки!

А потом Еву и Кэрол очень удивило то, что, когда мальчишки увидели, что за лодку они имели в виду, что это просто гнилая развалюха, застрявшая в ивовых ветках, у них и мысли не мелькнуло, что их попросту надули и разыграли. Обижаться они даже не подумали, находка так их обрадовала, будто это и правда была новенькая целая лодка. Мальчишки уже были босиком, они ведь бродили по воде, вылавливая доски, поэтому, не сбавляя ходу, с берега заплюхали к лодке, окружили ее и стали разглядывать, не обращая никакого, даже самого презритель-

ного, внимания на Еву и Кэрол, которые так и болтались на своем бревне. Тем пришлось их окликнуть.

— И как вы ее вытаскивать собираетесь?

— Да она все равно не поплывет.

— Ты что, думаешь, она поплывет?

— Потонет. Буль-буль-буль, и вы на дне.

Мальчишки не ответили, они были слишком заняты: ходили вокруг лодки, тянули ее, прикидывали, как бы ее высвободить, не слишком повредив. Фрэнк, самый грамотный, речистый и безрукий из них, затеял называть лодку «он», как будто это корабль, — выпендреж, на который Ева и Кэрол ответили презрительными гримасами.

— В двух местах застрял. Аккуратнее, днище ему не прошибите. Экий тяжеленный, а так ведь не подумаешь.

Забрался в лодку и высвободил ее Клейтон, а Бад, рослый жирный парень, взвалил ее на спину и спустил на воду — теперь ее можно было полу на плаву, полуволоком доставить к берегу. На это ушло некоторое время. Ева и Кэрол бросили бревно и вброд вернулись на берег. Забрали свои туфли, носки и велосипеды. Возвращаться назад прежней дорогой было совсем

не обязательно, однако они вернулись. Стояли на гребне холма, опираясь на велосипеды. Домой не уходили, но и не садились, и не таращились в открытую. Стояли, вроде как повернувшись лицом друг к дружке, однако то и дело поглядывали вниз, на воду и на мальчишек, пыхтевших вокруг лодки, — так, будто остановились на минутку из чистого любопытства, да вот и застряли тут дольше, чем думали, чтобы узнать, чем кончится эта безнадежная затея.

Часов в девять, когда уже почти стемнело — стемнело для тех, кто сидел дома, а снаружи еще не совсем, — все они вошли в город и своего рода процессией прошествовали по Майо-стрит. Фрэнк, Бад и Клейтон несли перевернутую лодку, а Ева и Кэрол шли сзади, катя велосипеды. Головы мальчишек почти скрылись во тьме лодочного нутра, где пахло разбухшим деревом и холодной болотной водой. Девчонки же смотрели вперед и видели в зеркальцах на руле уличные огни — ожерелье огней, взбиравшееся по Майо-стрит, доходившее до самой водонапорной башни. Они свернули на Бернс-стрит, к дому Клейтона — ближайшему из всех их домов. Еве и Кэрол он был не по дороге, и все же они не отставали. Мальчишки, видимо, слишком были заняты пе-

реноской, чтобы их шугануть. Кое-какая ребятня помладше еще копошилась на улице — играли в «классы» на тротуаре, хотя видно было уже совсем плохо. В это время года свободный от снега тротуар был еще в новинку и в радость. Ребятня сторонилась и с невольным уважением провожала глазами проплывавшую мимо лодку; потом они выкрикивали вслед вопросы — хотели знать, откуда лодка взялась и что с ней теперь собираются делать. Им никто не отвечал. Ева и Кэрол, как и мальчишки, даже и не думали открывать рот и вообще удостаивать их взглядом.

Все впятером они вошли к Клейтону во двор. Мальчишки переместили вес, явно собираясь сгружать лодку.

— Лучше оттащите ее на задний двор, где никто не увидит, — посоветовала Кэрол.

То были первые слова, произнесенные с тех пор, как они вступили в город.

Мальчишки ничего не ответили, однако двинулись дальше по утоптанной дорожке между домом Клейтона и покосившимся дощатым забором. Сбросили лодку на заднем дворе.

— Между прочим, лодка покраденная, — сказала Ева, главным образом чтобы произвести впечатление. — Она же чья-то. А вы ее покрали.

— Тогда это вы ее покрали, — возразил Бад, тяжело дыша. — Вы ее первые увидели.

— А вы ее взяли.

— Тогда это мы все. Если кому за это что будет, тогда уж всем.

— Ты про это кому-нибудь скажешь? — спросила Кэрол, когда они с Евой ехали домой по улицам, где между фонарями было темно, а от зимы остались выбоины.

— Тебе решать. Ты не скажешь, так и я не скажу.

— Если ты не скажешь, я тоже.

Они ехали медленно, с чувством, что поступились чем-то, но вполне довольные.

В дощатом заборе, окружавшем двор за домом Клейтона, тут и там торчали столбы, которые поддерживали, вернее, пытались поддерживать забор в вертикальном положении; вот на этих столбах Ева и Кэрол и просидели несколько вечеров — чинно, хотя и без особого удобства. А иногда они просто стояли, прислонившись к забору, пока мальчишки латали лодку. В первый-второй вечер соседские ребятишки, привлеченные стуком молотков, пытались просочиться во двор и выяснить, что там происходит, но Ева и Кэрол преграждали им путь.

— Тебя сюда кто-нибудь звал?

— Сюда во двор только нам можно.

Вечера делались все длиннее, воздух прогревался. На тротуарах начали прыгать через скакалку. В дальнем конце улицы шеренгой стояли клены, в их коре были сделаны надрезы. Сок в ведерках собраться не успевал — ребятишки его сразу выпивали. Хозяева деревьев, старик и старуха, которые надеялись наварить кленового сиропа, выбегали из дома с криками «кыш», как будто отпугивали ворон. Каждую весну дело кончалось тем, что старик выходил на крыльцо и стрелял в воздух из ружья — только тогда воровство прекращалось.

Тем, кто ремонтировал лодку, было не до сока, хотя в прошлом году все они его дружно тибрили.

Доски, необходимые для починки, собирали тут и там, по всем задворкам. В это время года повсюду что-то валялось — ветки и палки, размокшие перчатки, ложки, выплеснутые вместе с водой, крышки от кастрюль, которые зимой выставили на снег остывать, всевозможный мусор, который осел к земле и долежал до весны. Инструменты добывали из подвала Клейтона, — видимо, они сохранились с тех пор, когда еще

жив был его отец, — и хотя совета спросить было не у кого, мальчишки худо-бедно сообразили, как строят или перестраивают лодки. Фрэнк притащил чертежи из книг и журнала «Популярная механика». Клейтон посмотрел на чертежи, послушал инструкции, которые вслух зачитывал Фрэнк, а потом стал действовать по собственному разумению. Бад ловко управлялся с пилой. Ева и Кэрол следили за процессом с забора, отпускали разные замечания и придумывали, как назвать лодку. Названия они предлагали такие: «Водяная лилия», «Морской конек», «Королева Разлива» и «Кэро-Ева», в собственную честь, потому что ведь это они нашли лодку. Мальчишки не говорили, какое из этих названий кажется им подходящим, — может, и никакое.

Днище нужно было просмолить. Клейтон вылил смолу в котелок, разогрел на кухонной плите, притащил на задний двор и начал медленно, со свойственной ему дотошностью промазывать перевернутую лодку, сидя на ней верхом. Двое других мальчишек распиливали доску, чтобы сделать скамейку. Клейтон смолил, а смола остывала и наконец загустела так, что не вытянешь кисть. Клейтон повернулся к Еве, поднял котелок и сказал:

— Пошла бы да разогрела на плите.

Ева взяла котелок, поднялась на заднее крыльцо. В кухне после улицы показалось совсем темно, но света, похоже, все-таки хватало, потому что мать Клейтона стояла над гладильной доской и ворочала утюгом. Так она зарабатывала на жизнь — стирала и гладила белье.

— Простите, можно я поставлю котелок со смолой на плиту? — спросила Ева, которую приучили вежливо говорить со старшими, даже если это прачка; кроме того, ей почему-то очень хотелось произвести на маму Клейтона хорошее впечатление.

— Тогда спервa нужно бы огонь подвеселить, — сказала мама Клейтона; судя по голосу, она сомневалась, справится ли Ева с таким делом. Но Евины глаза уже привыкли к полутьме, она ухватом отодвинула крышку, взяла кочергу и разворошила угли. Старательно помешивала смолу, пока та расходилась. Она была горда поручением. Гордость осталась и после. Засыпая, она представила себе Клейтона: он сидит на лодке верхом, промазывая ее смолой — сосредоточенно, бережно, отрешенно. Она вспомнила, как он заговорил с ней из этой своей отрешенности, таким обыкновенным, миролюбивым,

домашним голосом.

Двадцать четвертого мая день был праздничный и занятий в школе не было, и вот лодку вынесли из города, на сей раз — дальним путем, не по дороге, а через поля и изгороди, которые уже успели починить, к реке, — та уже бежала в своих обычных берегах. Ева и Кэрол тоже несли в свой черед, наравне с мальчишками. Лодку спустили на воду с истоптанного коровами бережка между ивами, на которых как раз распускались листья. Первыми в нее сели мальчишки. Они разразились победными воплями, когда лодка поплыла — изумительным образом поплыла вниз по течению. Лодка была выкрашена снаружи в черный цвет, изнутри — в зеленый, а скамейки — в желтый, и еще вдоль борта снаружи шла желтая полоса. Никакого названия на ней так и не написали. Мальчишкам и в голову не пришло, что лодку нужно как-то назвать, она и так отличалась от всех остальных лодок в мире.

Ева и Кэрол бежали по берегу, таща с собой мешки, набитые булкой с вареньем и арахисовым маслом, маринованными огурцами, бананами, шоколадным печеньем, чипсами, крекерами, склеенными кукурузным сиропом,

и пятью бутылками шипучки, которые предстояло остудить в речной воде. Бутылки били их по ногам. Девчонки вопили.

— Подлюки будут, если не дадут покататься, — сказала Кэрол, и они заорали хором: — Это мы ее нашли! Мы нашли!

Мальчишки не ответили, однако через некоторое время причалили к берегу, и Ева с Кэрол, пыхтя, спотыкаясь, помчались туда.

— Как, протекает?

— Покуда не протекает.

— Черпалку забыли взять! — посетовала Кэрол, но тем не менее залезла в лодку вместе с Евой, а Фрэнк отпихнул их от берега с криком:

— Все мы погибнем в пучине!

А хорошо в лодке было то, что она не прыгала по волнам, как бревно, а лежала в воде как в чашечке, и плыть в ней было совсем иначе, чем верхом на бревне, ты будто бы сам сидел в воде. Скоро они начали кататься все вперемешку — двое мальчишек и девчонка, двое девчонок и мальчишка, девчонка с мальчишкой, и постепенно так запутались, что уже было и не сообразить, чья теперь очередь, да никому это было и не интересно. Они двинулись вниз по реке — те, кто не сидел в лодке, бежали по бе-

регу. Прошли под двумя мостами, железным и бетонным. В одном месте увидели большого неподвижного карпа, он вроде бы улыбнулся им из воды, где лежала тень от моста. Они не знали, далеко ли забрались, но река изменилась — стала мельче, а берега ниже. На дальнем конце поля они увидели какую-то постройку вроде домика, явно пустовавшего. Вытащили лодку на берег, привязали и зашагали через поле.

— Старая станция, — сказал Фрэнк. — Станция Педдер.

Остальные тоже слышали это название, но один Фрэнк знал наверняка, потому что отец его работал в городке железнодорожным агентом. Фрэнк сказал, что тут раньше была остановка на боковой ветке, которую потом разобрали, и что тут была лесопилка, только давно.

В здании станции оказалось темно и прохладно. Все стекла выбиты. Осколки и куски покрупнее лежали на полу. Они побродили по комнатам, отыскивая стекляшки побольше — на них можно было наступать, и они бились, и это было как разбивать лед на лужах. Некоторые перегородки еще сохранились — можно было определить, где раньше находилось окошечко кассы. Лежала опрокинутая скамья. Сюда явно

захаживали люди, похоже, захаживали довольно часто, хотя место и было совсем глухое. На полу валялись бутылки из-под пива и шипучки, сигаретные пачки, жвачка, фантики, бумажная обертка от буханки хлеба. Стены покрывали полустертые и свежие надписи, выведенные мелом, карандашом или вырезанные ножом.

Я ЛЮБЛЮ РОННИ КОУЛСА
ПОТРАХАТЬСЯ БЫ
ЗДЕСЬ БЫЛ КИЛРОЙ
РОННИ КОУЛС КОЗЕЛ
ТЕБЕ ТУТ ЧЕГО НАДО?
ЖДУ ПОЕЗДА
ДОННА МЭРИ-ЛУ БАРБАРА ДЖОАННА

Как же было здорово в этом просторном, темном, пустом помещении, где с громким хрустом билось стекло, а звуки голосов отскакивали от стропил крыши. Они принялись прикладывать к губам старые пивные бутылки. Сразу захотелось есть и пить, они расчистили себе место в центре помещения, сели и принялись уничтожать провизию. Шипучку выпили как была, тепловатую. Съели все до последней крошки, слизали остатки варенья и арахисового масла с оберточной бумаги.

Потом стали играть в «Скажи или покажи»[23].

— Давай пиши на стене «Я сраный козел» и подписывайся.

— А ну скажи, как выглядело самое гнусное твое вранье за всю жизнь.

— Ты когда-нибудь писался по ночам?

— Тебе когда-нибудь снилось, что ты идешь по улице совсем без ничего?

— Давай иди на улицу и писай на железнодорожный знак.

Это задание выпало Фрэнку. Видеть они его не видели, даже со спины, только слышали шуршание струйки. Сами они сидели, ошеломленные, и не могли придумать, кого еще и на что подбить.

— А теперь, — сказал Фрэнк от двери, — следующее задание будет для всех.

— Какое?

— Раздеться догола.

Ева и Кэрол вскрикнули.

— А кто откажется, тот будет ходить — вернее, ползать — прямо по этому полу на четвереньках.

Все затихли, а потом Ева спросила покорно:

---

[23] Сноски: 23

Игра, суть которой заключается в том, что игроки обязаны отвечать на любые заданные им вопросы, а в случае отказа — выполнять любые действия, предложенные водящим.

— Что первое снимать?

— Башмаки с носками.

— Тогда пошли наружу, здесь ведь стекло повсюду.

В дверях, в неожиданно ярком солнечном свете, они скинули носки и обувь. Поле перед ними светилось будто вода. Они побежали туда, где раньше проходила железнодорожная ветка.

— Тише, тише! — останавливала Кэрол. — Осторожнее, там колючки.

— Майки! Всем скидывать майки!

— А я не буду! Мы обе не будем, да, Ева?

Но Ева все кружилась и кружилась на солнце, там, где раньше лежали рельсы.

— Мне плевать, как фишка ляжет! Кто не скажет, тот покажет!

Все еще кружась, она расстегнула блузку, — казалось, рука ее сама не знает, что делает, — и отбросила ее в сторону.

Кэрол тоже сняла блузку.

— Если бы не ты, я бы не стала.

— И низ тоже!

На сей раз никто не произнес ни слова — они нагнулись и разделись догола. Ева, первой сбросившая одежду, помчалась через поле, остальные бросились следом — все неслись нагишом по жар-

кой, доходящей до колена траве, неслись к реке. Им уже было не страшно, что их поймают, наоборот, они подпрыгивали и вопили, привлекая к себе внимание, — правда, смотреть и слушать было некому. Им казалось, что вот сейчас они оттолкнутся от края утеса и полетят. Они чувствовали, что с ними происходит нечто такое, чего никогда не происходило раньше, и было это как-то связано с лодкой, водой, солнечным светом, темным нутром разрушенной станции, друг с другом. Друг о друге они сейчас думали не как о людях, наделенных именами, но как о раскатистых воплях, отражениях — отважных, белых, шумных, бесшабашных, стремительных, точно стрелы. Не останавливаясь, они влетели в холодную воду, а когда она почти полностью скрыла ноги, бросились в нее и поплыли. Шум стих. Стремительной волной накатили тишина и изумление. Они нырнули, всплыли, рассыпались в разные стороны, юркие, точно норки.

Ева встала в воде, с волос текло, по лицу сбегали струйки. Ей здесь было по пояс. Она стояла на гладких камнях, довольно широко расставив ноги, вода протекала между ними. В ярде примерно от нее Кэрол встала тоже, они смаргивали воду и смотрели друг на друга. Ева не отверну-

лась, не попыталась спрятаться. Ее колотило — от холода, а еще от гордости, стыда, храбрости, восторга.

Клейтон бурно затряс головой, будто пытался выколотить из нее что-то, потом нагнулся, набрал полный рот речной воды. Встал, раздув щеки, напряг округленные губы и пустил в Еву струю, будто бы из шланга, точно попав сперва в одну грудь, а потом в другую. Вода, которую он выпустил изо рта, заструилась по ее коже. Глядя на это, он загудел громко и смущенно — никто не ждал от него такого звука. Остальные, где бы они ни находились, подняли головы и подошли посмотреть.

Ева согнулась и скользнула под воду, скрывшись с головой. Поплыла, а когда вынырнула гораздо ниже по течению, то увидела, что Кэрол плывет следом, а мальчишки уже вылезли на берег, уже бегут по траве, мелькая тощими спинами и белыми плоскими ягодицами. Они смеялись и что-то говорили друг другу, но что — было не слышно, потому что вода попала в уши.

— Что это он сделал? — спросила Кэрол.

— Да ничего.

Они выбрались на берег.

— Давай посидим в кустах, пока они не уй-

дут, — предложила Ева. — Вообще, они страшно противные. Просто до ужаса. Противные, правда?

— А то, — подтвердила Кэрол, и они остались ждать — не очень долго: мальчишки, все еще гомонящие и возбужденные, спустились к реке чуть выше по течению, туда, где оставили лодку. Было слышно, как они запрыгнули в нее и взялись за весла.

— Ну и пусть теперь пыхтят на обратной дороге, — сказала Ева, обхватив себя руками и трясясь от холода. — Нам-то что? Да и вообще. Это же не наша лодка.

— А вдруг они всем расскажут? — тревожилась Кэрол.

— А мы скажем, что это вранье.

Ева придумала этот выход только в тот самый момент, когда высказала его вслух, но, едва высказав, почувствовала, как вновь стало легко на душе. Выход простой и не без вредности — от этого они обе захихикали, а потом, хлопая по телу ладонями и разбрызгивая воду, принялись хохотать до упаду — припадок из тех, где, стоит одному притихнуть от изнеможения, другой фыркает и заходится по новой, и вот они строили друг другу беспомощные — вскоре уже

без всяких дураков беспомощные — рожи, и сгибались пополам, и прижимали руки к животу, будто от самой невозможной боли.

Палачи
Перевод Александры Глебовской

У Хелены-уродки
Папаня нажрался водки.

И о чем тут плакать? Не знаю, плакала ли я, просто не помню. Я до мелочей изучила тротуары и землю под деревьями — безразличные предметы, на которые можно смотреть и не бояться, что кого-то заденешь взглядом. Я удивлялась, как это других ничто не пригибает к земле — даже тех, у кого глаза косые, или брат дебил, или живут они в грязном домишке у самой железной дороги. У меня такой стойкости не было; Робина называла меня «тонкокожей». Я постоянно чувствовала себя в чем-то виноватой.

Гуляй, Хелена,
Гуляй, Хелена,
Гуляй, Хелена,
Гуляй, Хелена.

Они сбивались в стайку у меня за спиной, когда мы спускались со школьного холма. Нежные

голоса — почти неподдельная искренность, непрошибаемая невинность. Когда бы я знала, как поступить, когда бы могла обернуться! Но такому не научишься. Это дар, наподобие музыкального слуха.

Начать с того, что одета я была не как все. Темно-синяя курточка — наподобие тех, какие носят в частной школе (в которую мама меня и отправила бы, будь у нее на это деньги). Высокие белые чулки, летом и зимой, какую бы грязь ни развозило на нашей дороге. Зимой под ними проступали бугры длинного нижнего белья, которое меня заставляли надевать. На голове — большой бант, накрахмаленные кончики торчат в стороны. Волосы уложены завитками с помощью смоченной в воде расчески — больше так никто не причесывался. Впрочем, что бы я ни надела, им все было не так. Помню, у меня появилось новое зимнее пальто — мне оно казалось очень милым. Воротник был отделан беличьим мехом. «Крысий мех, крысий мех, ободрала с крысы мех!» — кричали мне вслед. И мех мне разонравился, дотрагиваться до него стало неприятно: было в нем что-то слишком мягкое, укромное, унизительное.

Я вечно искала, где бы спрятаться. В зданиях, в больших общественных зданиях я отыскивала

темные уголки, где были бы окна под потолком. В старом Коммерческом банке была башня, которая мне особенно нравилась. Я представляла, как прячусь там в какой-нибудь из комнатушек наверху, под крышей, одна посреди города, никто не тронет, — незримая, всеми забытая. Только бы вот приходил кто-нибудь ночью и приносил поесть.

Про папу это была правда. Впрочем, домой он приезжал редко — все больше где-нибудь лечился, отдыхал в санатории, путешествовал. Еще до моего рождения он был членом парламента. В 1911 году, когда сместили Лорье[24], он потерпел сокрушительное поражение. Много позже, узнав про Договор о взаимности, я уяснила, что поражение это стало лишь малой толикой общенационального бедствия (для тех, кто склонен усматривать в этом бедствие), — но тогда, в детстве, я была твердо уверена, что отца моего лично, жестоко, позорно отвергли. Мама срав-

[24] Сноски: 24

Лорье Уилфрид (1841–1919) — премьер-министр Канады (1896–1911), лидер Либеральной партии (1887–1919); на досрочных выборах 1911 г. победу одержали консерваторы-тори, опиравшиеся главным образом на фермеров, которые выступали против попыток кабинета Лорье возобновить расторгнутый в 1865 г. договор с США о свободной торговле сырьем и сельхозпродукцией (так называемый Договор о взаимности, 1854–1865).

нивала происшедшее с Распятием на Голгофе. Папа вышел на балкон «Королевского отеля»[25], чтобы произнести речь, признать свое поражение, но толпа тори с пылающими метлами освистала его, не дав раскрыть рот. Я про все это слышала — но в те дни я понятия не имела, что в жизни политика такое случается. Мама считала, что с того дня и началось его падение. Впрочем, она никогда не уточняла, в чем именно это падение заключалось. Слово «алкоголик» в нашем доме не звучало; да в те времена оно и вообще было не в ходу. Говорили «пьяница», и то не у нас, а в городе. После Распятия мама ничего не покупала в этом городе, кроме продуктов: Робина заказывала их по телефону, а мама забирала. И с разными дамами, женами «трепачей и тори», мама тоже перестала знаться.

Ноги моей больше там не будет. Так она говорила про церковь, про магазины, про чужие дома.

— Он для них был слишком *изыскан*.

Говорить это ей было некому, кроме Робины. Впрочем, Робина, в принципе, подходила для таких разговоров. У нее имелся собственный список

---

[25] Сноски: 25
Фешенебельный отель в Торонто (Онтарио).

людей, с которыми она не разговаривала, и магазинов, в которые не заходила.

— Да они тут все такие — дремучие! Самих бы повымести поганой метлой.

И давай рассказывать об очередном случае, когда с ее братьями Джимми и Дювалем поступили несправедливо — обвинили в краже карманного фонарика, хотя они всего-то хотели посмотреть, как он работает.

За последним городским зданием мне нужно было пройти еще милю по прямой сельской дороге. В конце ее стоял наш дом — большой кирпичный дом с эркерами на первом и втором этаже. Мне они всегда казались неприятными — как выпученные глаза насекомых. Я обрадовалась, когда дом снесли — много лет спустя; участок купили под строительство городского аэропорта. Вдоль этой дороги стояло, кроме нашего, всего два-три дома. В одном жил Пень Трой.

Пень Трой был бутлегером; ноги ему оторвало у Райана на лесопилке — произошел несчастный случай. Поговаривали, будто Райан и все его семейство покупают у Пня незаконный алкоголь и вообще покрывают его, чтобы он не подал на них в суд. Может, и так — спиртным он торговал бойко, и никто его никогда не трогал. У него

был сын Говард, который время от времени появлялся в школе — трудно сказать, по чьей прихоти; его засовывали в первый попавшийся класс, в котором находилось местечко, усаживали за какую-нибудь дальнюю парту, в стороне от всех, чтобы никто из мамаш потом не жаловался. Ни один школьный надзиратель — если тогда существовала такая должность — не счел нужным вмешаться. В те времена считалось само собой разумеющимся, а то даже и единственно правильным, чтобы люди оставались какими есть, без всяких улучшений и перемен в своем положении. Учителя подшучивали над Говардом Троем и в лицо, и за глаза, и никому это не казалось странным или жестоким. В остальном они просто не обращали на него внимания.

Однажды, заявившись в школу, он оказался в нашем классе, у меня за спиной, по диагонали, и я сделала ему одолжение — а потом, да, собственно, прямо тогда поняла, что сделала это зря. Мы переписывали текст с доски. Говард Трой ничего не переписывал. Он просто сидел и бездельничал — у него не было ни бумаги, ни карандаша. В школу он приходил с пустыми руками. Принести карандаш, бумагу, резинку, линейку для него было бы столь же противо-

естественно, как отрастить перья. Он смотрел прямо перед собой — может, на доску, пытаясь прочитать или разобрать, что же там написано, а может, и вовсе в никуда. О чем он думал? Гадать совсем не хотелось. Неприятно было ощущать, что вот он сидит там, позади меня, и смотрит из своего кокона — кокона глупости и уродства, который на него натянули, а он этот кокон принял и уверовал в его существование так крепко, что теперь уже неважно, есть он на самом деле или нет. Я не считала, что он мне в чем-то сродни, такое мне было не по уму, я просто боялась его так, как до того мне и в голову не приходило никого бояться.

Глаза его цветом были как у кота. Круглые, прозрачные, близко посаженные. Я открыла тетрадку посередине, чтобы вытянуть лист, не порвав ничего вокруг, и подала ему этот лист, а вместе с ним — заточенный карандаш. Он не протянул руки, чтобы их взять. Я положила их на парту. Он не поблагодарил, сделал вид, что вовсе ничего не заметил, но потом я увидела, что он все-таки водит карандашом по бумаге — может, списывает с доски, может, рисует, а может, просто вычерчивает круги и кренделя, понятия не имею. Зря я это сделала, потому

что тем самым привлекла к себе его внимание. Мало того, по случайности — хотя мне-то это не казалось случайностью! — мы жили на одной дороге. Меня следует проучить. Так он, наверное, подумал. За наглость. За попытку его облагодетельствовать. А может, ему на миг приоткрылась новая, занимательная, неожиданная человеческая слабость.

Сугробы были высоченные, дорога шла между ними будто по туннелю. Под свежим снегом лежали комья старого снега, твердые, серые. Вдоль расчищенных тропок вились ленточки собачьей мочи. К дому Пня Троя вела подъездная дорожка, и снег с нее всегда был старательно счищен — ради кого бы это, спросила Робина. Вопросы она задавала голосом человека, который заранее знает ответ. Я шла, и в кармане у меня лежал нож — разделочный нож, который я стащила у Робины из кухни. Я сняла перчатку, потрогала его. Спрятавшись за сугробом у подъездной дорожки своего дома раз-два в неделю, когда именно — не угадаешь, меня подкарауливал Говард Трой. Он неожиданно возникал из-за сугроба — того и гляди встанет прямо передо мной, перегородит узкий проход.

Ебнемся.

Хочешь ебнуться?

Я проходила мимо, опустив голову и задержав дыхание, — так проходят через стену пламени. Только не смотреть на него, не убыстрять шаг, чувствовать под рукой лезвие. У меня не было мысли о том, что он может пойти следом. Раз уж он не сдвинулся с места в первый раз, так уже и не сдвинется. Опасность таилась в ауре непечатного слова.

Сейчас мне этого уже и не объяснить. Я слышу, как детишки лениво роняют «Еб твою мать», проезжая мимо меня на велосипедиках. Слышу, как какой-то папаша кричит отпрыску: «Да убери ты ебаную косилку, мне не проехать!» А раньше, если кто-то бросал тебе в лицо это слово, ты вставала как вкопанная. В слове содержалась угроза унижения, а может, и само унижение — оно было в звуке, в прерванном шаге, в осознании. Тебя душил стыд. В буквальном смысле. Только не в тот первый момент, когда главное было — не попасться в ловушку, пройти мимо, а после — душили волны сального страха, мутило от мерзких тайн. От уязвимости, которая сама по себе постыдна. Все мы созданы из стыда.

Я никогда никому об этом не рассказывала, не просила помощи. Я бы скорее вытерпела любое надругательство, смирилась с любым издевательством, с любым бесчестьем — но у меня язык не повернулся бы повторить такое или признать, что это прозвучало в мой адрес. Мне казалось, что никто не может помочь, что над этим никто не властен. И разумеется, я была убеждена в том, что одной только мне могут говорить подобные вещи, что Говард Трой просто первым понял, как меня изводить, что это некий знак для всех. И знак этот нужно скрывать и истреблять, вымарывать из головы — быстро, быстро! — но до конца вымарать не получалось, ручеек памяти и трезвого понимания все струился в глубине и пробивался наружу в другой части моего сознания.

Робина, бывало, брала меня к себе домой. Мы шли милю или полторы через перелесок за зданием нынешнего аэропорта к маленькой ферме среди полей, на которых высились груды вынутых из земли булыжников. Ходили мы туда и зимой, и Робина показывала мне волчьи следы — так она, по крайней мере, утверждала. Ей будто бы рассказывали, что однажды ребеночка посадили в санки и впрягли в них собаку,

а собака заслышала в кустах волчий вой и припустила к волкам, а санки за нею. И когда собака увидела волков, она и сама обернулась волком, и все они вместе ребеночка-то и съели. Когда Робина шагала через кусты, властность ее возрастала — вернее, в ней появлялась новая властность, не та, что в маминой кухне, где Робина пребывала в совершенно ей не подходящем, не для нее придуманном звании прислуги. Долгое плоское тело как бы слегка развинчивалось, начинало покачиваться, будто дверь на петлях — вроде бы держится, но лучше не подходить, прихлопнет. Ей тогда, наверное, было лет двадцать, но мне казалось, что возрастом она — как моя мама, как строгие пожилые учительницы, как дамы, которые заправляют магазинами. Волосы у нее были коротко остриженные, темные, плотно прилизанные ко лбу и закрепленные невидимкой. Пахло от нее кухней и тканью, пропитавшейся застарелым потом. И еще был в ней привкус золы и пепла — в ее коже, волосах, одежде, запахе. Впрочем, все принимали этот запах как должное. Да и кто бы отважился выразить неприятие Робине, у кого хватило бы духу?

Нам нужно было перейти мостик, состоявший из трех неровно положенных жердин. Робина

раскидывала руки, чтобы удержать равновесие. Один рукав, полупустой, полоскался над водою точно покалеченное крыло.

Главный ее рассказ был о том, как она вечно повсюду таскалась за своей мамой, а та, много лет назад, убирала в домах у городских дам. И в одном из этих домов была стиральная машина с отжимом — в те времена совсем новое изобретение. Робина, которой тогда сравнялось пять лет, стояла на стуле и подавала одежду в отжимной валик. (Я понимала, что даже тогда она не в состоянии была ничего пустить на самотек и не руководить любым процессом.) Руку затянуло в валик. Теперь рука заканчивалась между локтем и запястьем. Робина ее никогда никому не показывала. Всегда носила платья и блузки с длинными рукавами. Мне, правда, представлялось, что не от стыда: скорее чтобы раздуть тайну и собственную значимость. Когда она шла по дороге, ребятишки помладше бежали следом и кричали: «Робина, покажи руку!» Кричали беззлобно, даже почтительно. Она давала им накричаться, а потом отшугивала прочь, как цыплят. Она была безусловным лидером среди тех несгибаемых людей, о которых я говорила в самом начале, тех, что способны превратить

физические недостатки в предмет зависти, а насмешку — в похвалу. Я была искренне убеждена, что и руки она лишилась по собственному выбору, обзаведясь навек знаком инакости и власти.

У меня была мечта посмотреть на эту руку. Мне представлялось, что там срез, как на распиленном бревне, и в нем видно кости, мышцы и кровяные сосуды во всей их путаной, волокнистой, укромной наготе. При этом я знала, что увидеть Робинину руку своими глазами для меня так же невозможно, как увидеть обратную сторону луны.

Остальные рассказы были из истории ее семьи.

— Дюваль, когда маленький был, целыми днями сидел на крыше, крыть ее помогал. А сидеть ему там было вовсе ни к чему, потому как кожа-то у него светлая, светлее, чем у всех у нас. Мы и так-то все светлокожие, кроме разве что меня да Финдлея, первой да последыша. И вот хоть кто бы подумал, что Дюваля там припечет, кто бы надел на него шляпу! Я-то бы, конечно, подумала, только меня тогда дома не было. Правда, шляпу на него надевай не надевай, все равно снимет, взрослые-то вокруг все без шляпы, так и ему оно не надо. И вот после ужина прилег он на кушет-

ку, вроде как соснуть. А через некоторое время открывает глаза и говорит в полный голос: «Хватит мне уже в лицо перьями тыкать». А мы-то никаких перьев не видим. Удивились. А тут он вдруг сел, смотрит вроде как сквозь нас и будто вовсе не узнает. «Бабуля, — говорит, — налей мне попить. Ну пожалуйста, бабуля, — говорит, — налей водички». А бабули никакой нет. Померла уже бабуля. А его послушать — так она прямо рядом сидит, а нас в комнате никого и вовсе он нас не видит.

— У него был солнечный удар?

— У него было божественное виде́ние.

Это она произносит безапелляционно и укоризненно.

О всех своих родственниках, от Дюваля и Джимми, которые родились следующими после нее, до пятилетнего Финдлея, Робина говорит с особым уважением и строгостью, как бы предупреждая, что ни к одному событию их жизни, к их пристрастиям, хворям, распрям, любимым словечкам или ежедневным приключениям нельзя относиться с легкомыслием. Сквозь них сквозит ее собственная значимость, а их значимость — сквозь нее. Я прекрасно понимала, что в сравнении с ними значу очень мало. Тем не менее я

была дочерью хозяев в доме, где работала Робина; это придавало мне определенный вес. Так что я не испытывала зависти.

Иногда, шагая через перелесок, мы слышали, как вдали ударялся о землю орех или сосновая шишка, и тогда Робина говорила: «Небось Дюваль, или Джимми, или оба разом пошли дерево трясти». Меня всегда будоражила мысль, что мы от них неподалеку, на территории их вылазок и приключений. И я радовалась не меньше, чем Робина, когда вдалеке показывался некрашеный, слегка покосившийся дом, рядом — ни деревца, он словно плыл через заросшие сорняками поля, а зимой плыл по снегам — маячил у самой кромки кустарника, как какая-то неприкаянная лодка на поверхности пруда. Завидев нас, оттуда высыпали ребятишки — все белобрысые, кроме Финдлея, все босиком, пока земля не смерзнется окончательно. Они вопили, выделывались, свешивались с ручки насоса, нарочно поднимали на весь двор клубы пыли и куриных перьев.

Городскую школу они не посещали. Их школа находилась в миле-другой ходьбы через перелесок в другом направлении. Со слов Робины выходило, что они постоянно составляли в этой школе бóльшую часть учеников. Я представляла

себе, что для них школа — как бы продолжение дома, что они и там подставляют руки под насос, чтобы напиться, и сидят на крыше, любуясь окрестностями.

А значит, к ним я приходила свободной от прошлого, как человек странный и новый. С ними я была не такой, как с другими. Если на мне было пальто, они просили потрогать мех. Я задирала нос от гордости. И было это волшебство, наслаждение. «Слушайте», — говорила я им. И загадывала загадки. Учила играть в игры, на которые раньше только смотрела. *Али-Баба. Жмурки. Угадалки.* Эти дети, сорвиголовы и забияки, отчаянно боялись города; они были невоспитанны, но не завистливы и видели во мне вожака. Я не возражала. Мне это казалось естественным. *Прятки. Морская фигура, замри.* У них были качели — автомобильная покрышка на веревках. Они лазали повсюду, и я лазала с ними. Мы перебрасывали доску через колодец и ходили по ней. Я испытывала безоблачное счастье — точнее, теперь мне так кажется. Единственное, что мне там не нравилось, — это еда. Робина, которая на кухне у моей мамы стряпала такие замысловатые пудинги, такой сочный черный шоколадный кекс, неописуемые булочки,

пышное картофельное пюре, здесь запросто выдавала каждому по ломтю хлеба с жирным куском бекона — да и тот был холодный и почти сырой. Все жадно жевали, проглатывали, просили еще; голодными они были постоянно. Я с радостью отдала бы любому свою порцию, но им полагалось отказываться от моего предложения.

Джимми и Дюваль были рослые, ростом со взрослых мужчин, но по-детски шкодливые и непредсказуемые. Бывало, они гонялись за нами, подхватывали, раскачивали за руки — мы так и летели вперед. Возились они с нами без единого слова, с очень суровым видом. А случалось, они подходили, вставали по бокам от меня и говорили:

— Ты не помнишь, это она тут не боится щекотки?

— Не знаю. А то я помню, она или нет.

— Вроде бы она. Она вроде бы.

И веско кивают, будто бы размышляя. А потом стоило им сделать одно движение в мою сторону — и я заходилась от восторженного визга. Визжала я не потому, что меня щекочут или вот сейчас могут пощекотать. Меня радовало, что меня держат за свою. Раз дразнятся, значит признают, значит хотя бы на время я в безопас-

ности; я совсем не боялась Дюваля и Джимми, несмотря на их габариты. И когда торжественность их тона сообщала мне, что они надо мной насмехаются, меня это не обижало. Мне они представлялись добрыми, сильными и таинственными волшебниками — прямо как клоуны в цирке. Кстати, они, как и клоуны, умели делать разные трюки. Иногда устраивали беззвучные изумительные представления на пыльном дворе — ходили колесом, прыгали друг через друга. Робина утверждала, что с таким мастерством их взяли бы в любой цирк, но они никуда из дому не уедут, любят они свой дом. В школу они не ходили. Не ходили с тех пор, как учитель поколотил Джимми за то, что тот выбросил в окно тряпку, которой вытирают мел с доски, а потом Джимми с Дювалем вместе — так рассказывала Робина — поколотили учителя. Было это уже несколько лет назад.

— И чейная это подружка? — спрашивали они. *Моя. Нет, моя.* И они начинали в шутку бороться за меня, отбирали меня друг у друга, стискивали в объятиях. Мне очень нравился их запах, запах курятников, моторов и сигарет «Букингем».

Имелись у них и враги, с которыми не разберешься так просто, как с учителем. Например,

продавцы в магазинах, неоднократно обвинявшие их в кражах. Или еще Пень Трой. Я знала его прежде всего как врага Джимми и Дюваля — и Робины, соответственно, тоже — еще задолго до того, как его сын Говард сделался моим врагом. Просто до того момента я не обращала на это особого внимания.

Робина сказала, что Пень Трой нажаловался в полицию, будто Джимми с Дювалем как-то в субботу под вечер слили бензин с одного из автомобилей, стоявших перед его домом. Они действительно слили бензин — для своей старой колымаги, которая обычно торчала, полуразобранная, во дворе на эстакаде, — но слили они бензин с машины мужика, который однажды не заплатил им за работу, а другого способа поквитаться с ним у них не было. Но еще и до этого, говорила Робина, Пень Трой рассказывал про них небылицы — и это он заплатил банде из Данганнона, чтобы те подкараулили и отлупили Джимми и Дюваля — потому что ведь даже Джимми и Дюваль больше чем с тремя каждый не справятся — перед танцклубом «Парамаунт». Теперь-то я полагаю, что Робинины братья могли быть конкурентами или отколовшимися партнерами Троя по бутлегерскому бизнесу. Мама моя

осуждала любое употребление спиртного, что было совершенно естественно в ее положении, и у нас в доме Робина, по крайней мере на словах, разделяла эту точку зрения. Она утверждала, что вся их семья якобы дала зарок не пить — бабушка настояла. Вполне возможно, все было не совсем так. В любом случае Пень Трой уже устроил Джимми и Дювалю кучу неприятностей и мог в будущем устроить еще больше, и за это они его люто ненавидели.

— Они его просто ненавидят! Окажись они на улице темной ночью и окажись этот Пень у них на дороге, он очень пожалел бы, что связался с ними!

— Как же это он окажется на дороге?

— То-то и оно. Повезло ему.

— Джимми и Дюваль — ребята невредные, — говорила Робина. — Никому не хотят зла. Но если кто им подложил свинью, они обиды не спустят. До смерти от человека не отстанут.

Расплата. Я представляла себе, как наступаю Говарду Трою на глаза. Как всаживаю ему в глаза шипы. Шипами, длинными и острыми, утыканы подошвы моих ботинок. Его глазные яблоки выпирают, ничем не защищенные, огромные, как перевернутые миски, а я наступаю

на них, прокалывая, втаптывая, заливая кровью — не ускоряя шага. Я не мечтала о чистом, незапятнанном волшебстве: произнес мысленно волшебное слово — и испепелил на месте. Мне хотелось, чтобы ему открутили голову, чтобы из живой мякоти капало, как из арбуза, чтобы ему поотрывали руки и ноги; моим оружием против него были бы топоры, пилы, ножи и молотки. Если застать его врасплох с этим моим ножом, если не просто полоснуть по телу, а воткнуть и сделать дыру вроде тех, которые делают на кленах, когда собирают сок, уж я бы вонзила нож поглубже, и оттуда хлынул бы весь гной и яд, какие только есть на свете, и вытекли бы до последней капли.

Огонь заполнил дом, как кровь заполняет гнойник. Казалось, что постройка того и гляди лопнет, однако кожа не поддавалась. Кожа — это крыша и стены дома Пня Троя. Бывает, что дерево кажется не прочнее кожи.

— Сейчас крыша рухнет! — говорили зеваки. — Хорошо хоть ветра нет!

Я не понимала, что в этом хорошего, что теперь вообще может быть хорошего. Дом, на который я раньше не решалась, не хотела смотреть, оказался в устройстве совсем простым, как домик

на картинке: дверь в центре и с обеих сторон от нее по узкому окну, а над дверью — слуховое окошко. Оба окна были разбиты — это Говард Трой пытался пробраться внутрь. Его оттаскивали. Теперь он сидел на земле перед горящим домом. Он выглядел потерянным, бессильным что-то изменить — каким выглядел в школе.

Из города вызвали пожарную машину, но когда пожарные прибыли, им уже оставалось только одно — благодарить Бога за отсутствие ветра. Они вытащили лестницы, но приставлять их не стали. Некоторое время спустя им удалось добыть воды из крайнего гидранта — дом стоял за городской чертой — и облить полуразвалившиеся сараюшки, забор и уборную. Они направили воду и в пламя, но это выглядело как-то по-мальчишески глупо. «Вы бы уж тогда встали в ряд да поплевали туда!» — выкрикнула Робина, пребывавшая в сильнейшем возбуждении. Она сама была как горящая балка — вся подрагивала и потрескивала. Стояла она у калитки, где как раз расцвел огромный запущенный куст форзиции, а ведь снег едва-едва сошел. Меня она держала рядом. Моя мама, которая нас сюда привезла, сидела в машине на дороге, на некотором отдалении. Оттуда и наблюдала за пожаром,

а с толпой смешиваться не захотела.

Это я первая увидела пожар из окна своей комнаты наверху — увидела изумительную вспышку в углу ночного пейзажа, яркое сияние на фоне мерцания городских огней, разливающийся омут тепла. Свет этот шел изнутри дома, через щели и окна.

Я подумала: Робине не по себе оттого, что она не может управлять пожаром. Не может отдавать команды пожарным. Она, надо сказать, попыталась, но они угрюмо продолжали делать свое дело, причем никуда не спеша. Ей оставалось только поправлять зевак, которые обменивались сведениями; это уже было кое-что.

— Хорошо еще, в доме никого нет, — сказал один из подошедших недавно.

И Робина откликнулась сурово:

— А то вы не знаете, что это за дом?

Похоже, некоторые не знали.

— А то вы не знаете, кто в нем живет? Пень Трой.

Это не всем и не все объяснило, поэтому она продолжила:

— Пень Трой, безногий! Сам-то он оттуда выйти не мог, верно? Значит, он и сейчас внутри.

— Господи! — благоговейно произнес какой-то

мужчина. — Господи, он там заживо изжарится.

Огонь издавал совершенно неожиданный звук. Какой-то скрежет, будто доски или газонокосилку волокут по бетону. Я и не подозревала, что у огня вот такой голос. Хриплый, нетерпеливый — можно еще сказать «заполошный». И где-то там, в этом заполошном гуле, заходился криком Пень Трой — неужели он не звал на помощь? Если даже и звал, пламя ревело слишком громко и человеческий голос никто не слышал.

Не было еще и полуночи, так что к этому времени очень многие даже не ложились, а кто лег, встали снова — решили, что дело того стоит. Дорогу запрудили машины. Многие просто сидели и смотрели в окно, но много было и таких, что бродили между пожарными или стояли у забора, — лица озаряло пламя. Даже дети не бегали — внимание их было поглощено пожаром. Мне на глаза попались Робинины братишки и сестренки — некоторые из них, если не все. Они, надо думать, увидели огонь из своего дома — в небе уже стояло алое зарево — и пошли посмотреть через кусты, по темноте. Робина их тоже увидела и тут же закричала:

— Флоренс! Картер! Финдлей! А ну, хоть вы-то сюда не суйтесь!

Они и так не совались — мы стояли гораздо ближе, чем они.

Она почему-то не спросила, где Джимми и Дюваль, хотя те вряд ли добровольно пропустили бы такое зрелище. Вместо нее крикнула я:

— Флоренс! А где Джимми с Дювалем?

Робина выбросила вперед единственную свою целую руку и вмазала мне по лицу, прямо по губам, — удара такой силы я никогда не ощущала, ни до ни после. Я была так ошарашена, что даже подумала: удар как-то связан с пожаром (тем более что вокруг все твердили: «Поосторожнее! Сейчас рухнет, доски полетят во все стороны!»), и Робина наверняка просто выставила руку, чтобы отвести какой-то летящий в меня предмет. И в тот же миг крыша все-таки обрушилась, и все бросились врассыпную. Пламя взметнулось в небо. И почти в тот же миг с другого конца двора раздался вопль, а почему — я поняла только позднее. В тот момент мне от смятения почудилось: кричат из-за того, что Робина меня ударила. А на деле кричали из-за Говарда Троя, который сорвался с места и метнулся прямиком в пылающий, оседающий дверной проем — спасти никого уже было нельзя, если он кого-то хотел спасти, но и его не спасли тоже.

Впоследствии этому дали несколько объяснений. Одно заключалось в том, что на деле он хотел бежать в другую сторону, прочь от огня, но в помрачении рассудка бросился прямиком в пламя. Другое — что он услышал призывный крик отца и подумал, что успеет его вытащить. Или крик этот ему почудился. Вряд ли к тому моменту Пень Трой еще был в состоянии кричать. В свете этого объяснения Говард Трой выглядел героем, поэтому оно не получило широкого признания, хотя кое-какие чудаки так и остались при нем, в том числе и моя мама. Еще одно объяснение заключалось в том, что Говард Трой сам устроил поджог, возможно — после ссоры с отцом, а возможно — и вовсе без причины, чтобы показать, на что он способен; а до того он долго выжидал и готовился, так что люди совершенно справедливо относились к нему с опаской. У этой теории было вещественное подтверждение — пустая канистра из-под бензина. Те, кто считал, что поджог был преднамеренным, иногда высказывали предположение, что запалил дом сам Пень или кто-то по его распоряжению, потому что он хотел получить страховую выплату. Он, видимо, собирался выбраться из дома заранее или рассчитывал, что Говард его вытащит,

но Говард струсил или упустил нужный момент. А потом, из-за угрызений совести или страха перед наказанием, бросился в пламя. Но на тот момент никаких объяснений вообще не было. Зеваки поспешно расходились, чтобы рассказать другим — тем, кто ничего не видел. Меня поступок Говарда не удивил. После пожара и удара по лицу меня уже ничто не удивляло. Я прижала руки к губам — как ни странно, зубы все были на месте; кровь шла только из ссадинки на внутренней стороне губы, которую я случайно прикусила.

Робине же пожар внезапно наскучил до смерти. Она потянула меня к калитке, потом к дороге. Маминой машины там уже не было.

— Похоже, уехала домой без нас, — сказала Робина. — И правильно сделала. Эти придурки могут торчать здесь хоть до утра. Знаю я, чего они дожидаются. Они дожидаются, когда будут выносить тело. Тела, — поправилась она. — Ну и пусть дожидаются.

Я не ответила, я не оглядывалась на пожар. Я шла вперед. Один раз Робина толкнула меня — иначе я свалилась бы в канаву. Я так и подпрыгнула от ее прикосновения.

— Идешь как лунатик. Я того тебя и ухватила,

чтобы ты в канаву не навернулась.

Когда мы миновали ряд машин и места стало побольше, Робина пошла со мной рядом. Мне казалось, что она, если бы могла, охватила бы меня со всех сторон, одновременно спереди, сзади и по бокам. Она отгородила бы меня от мира и всматривалась бы в меня, пока не нашла бы то, что искала, и не переиначила бы по-своему. Пока же она просто сказала:

— Если ты будешь каждую этакую несуразность запускать к себе в душу, тяжко тебе будет жить на свете.

Я вовсе не пыталась расстроить Робину или проучить. Я честно собиралась ответить. Некоторое время я была уверена, что и ответила, — так случается, когда в полусне все твердишь себе, что нужно обязательно что-то сделать — закрыть окно, погасить свет, — и в итоге убеждаешь себя там, во сне, что дело сделано. А после такого сна никогда не скажешь наверняка, что сделано, а что нет, какие слова прозвучали въявь, а какие только приснились. И потом я так и не смогла определить, действительно ли Робина время от времени заговаривала со мной — мне казалось, что заговаривала, — то ли необычайно мягким и заботливым голосом, то ли угрожа-

ла, то ли что-то сулила, то ли запугивала, то ли утешала.

Не помню, сказала ли она:

— Послушай. Я покажу тебе свою руку.

Если и сказала — я ничего на это не ответила.

Учась в выпускном классе или приезжая из университета домой на выходные, я иногда встречала на главной улице Робину: рукав полощется на ветру, сама помахивает здоровой рукой, шагает, как всегда, будто бы вниз по склону холма. У нас она уже давно не работала. Когда отец окончательно вернулся домой, на кухне обосновалась сиделка и завела свои порядки; для Робины не осталось ни места, ни денег. Каждый раз, завидев ее, я невольно вспоминала свое детство, которое тогда казалось таким далеким, таким муторным и неприкаянным. А я к тому времени уже переменилась, и обстоятельства мои переменились, и я поверила в то, что, если призвать на помощь старание и везение, я хотя бы внешне смогу стать такой же, как все остальные. Так оно, собственно, в результате и вышло.

Теперь Робина казалась мне странноватой: нелепой, сумасбродной, немного неряшливой. Тем не менее я бы заговорила с ней, я была к это-

му готова. Но она всякий раз отворачивалась и молча шла мимо, показывая, что я теперь принадлежу к числу тех, кто нанес ей жестокое оскорбление.

Возможно, Робины уже нет в живых. Возможно, нет в живых и Джимми с Дювалем, хотя это и трудно себе представить. Мне еще остается несколько лет до пенсии. Я вдова, государственная служащая, живу на восемнадцатом этаже многоквартирного дома. Одиночество меня не тяготит. По вечерам я читаю, смотрю телевизор. Нет, неправда, не всегда так. Иногда я сижу в темноте, пью разведенный водой виски и бессмысленно, беспомощно, чуть ли не в утеху себе думаю о таких вот вещах, которые позабыла или о которых очень давно не решалась вспоминать.

Когда все, кто еще помнит тот пожар, уйдут из жизни, огонь, полагаю, наконец догорит и все в мире станет так, будто никто и не вбегал в горящий дверной проем.

Марракеш
Перевод Александры Глебовской

Дороти сидела на боковой веранде, в кресле с прямой спинкой, и ела орехи. В последнее время она пристрастилась покупать их из автомата в аптеке. Ела она орехи из белого бумажного пакета с нарисованной на нем белкой. В семьдесят лет ей пришлось бросить курить из-за болей в груди. В былые времена школьное начальство так и не смогло ее от этого отвадить, как ни старалось. Не помогла даже петиция родителей, направленная в школьный комитет. Эту петицию принес ей Горди Ломакс — теперь уже покойный. Дороти прочитала ее въедливо, будто диктант.

— Ответь им, что это мой единственный недостаток, — сказала она твердо, и Горди пошел и сказал:

— Она утверждает, что это ее единственный недостаток.

Виола предсказывала, что на орехах Дороти растолстеет, вот только Дороти не толстела, как не толстела никогда. А Виола просто за-

видовала — ей-то вот этак не полакомиться, ей вообще нельзя орехи и яблоки. Потому что у нее вставная челюсть.

В данный момент Дороти была одна. Виола отправилась на кладбище, а с нею и Жанет. Рано утром, еще до завтрака, они ободрали с клумбы все дельфиниумы, которые как раз были в самой поре и сияли всеми оттенками пурпура и синевы. Виоле требовался букет на могилу мужа, еще один — на могилу мужа Дороти (она взяла его под свою опеку, так как Дороти всегда обходила кладбище стороной) и последний — на могилу их родителей.

— Я подумала, не захочешь ли ты съездить к Смотрящим в Вечность, — сказала она Жанет за завтраком. Так когда-то называл кладбище ее муж, была у него такая шутка.

Жанет, понятное дело, не сообразила, что она имеет в виду. Виола произнесла эти слова задушевно, с оттенком кокетливости. Тут она ничего не могла с собой поделать. Перед кассиром в продуктовом магазине, механиком в автомастерской, подростком, который скашивал им траву, она с таким вот неуместным кокетством склоняла свою голову в гладких серебристых волнах и обиженным тоном бормотала слова,

которые никто попросту не мог разобрать. Дороти это смущало. Чтобы уравновесить Виолину глупость, ей приходилось изъясняться исключительно кратко и по делу.

— Она кладбище имеет в виду, — пояснила Дороти.

— А, кладбище — это здорово, — с милой обворожительной улыбкой откликнулась Жанет.

— Что там здорового? — осведомилась Дороти, глядя в чашку с черным кофе точно в колодец.

— Ну, красиво, — примирительно сказала Жанет, — и старые надгробия там замечательные. Люблю читать надписи на старых надгробиях.

— Дороти считает меня мрачной особой, — не упустила случая ввернуть Виола.

— Никем я тебя не считаю, — отрезала Дороти и тут же просветлела, что-то вспомнив. — Стеклянные банки на кладбище приносить запрещено. — Она посмотрела на букеты, которые Виола расставила по банкам. — Придется все вытащить и переставить в пластмассовые контейнеры из-под мороженого.

— Запрещено? — удивилась Виола. — Это еще почему?

— Из-за вандализма, — удовлетворенно пояснила Дороти. — Я по радио слышала.

Жанет была внучкой Дороти. Жители городка, которые частенько видели Жанет с обеими пожилыми дамами — причем с Виолой, которая все еще водила машину, чаще, чем с Дороти, — этого не знали. Большинство, впрочем, догадывалось, что это какая-то молодая дальняя родственница. Дороти провела в городке и его окрестностях всю свою жизнь, и почти никто уже не помнил, что когда-то она осталась вдовой с маленьким сыном, которого звали Бобби: тот отучился здесь четыре года в старших классах, а потом, за несколько лет до начала войны, уехал искать работу в западной части страны. Все годы от кончины мужа до пенсии Дороти преподавала в седьмом классе городской школы, и поэтому, наверное, постепенно забылось, что и у нее когда-то была своя личная жизнь. Во многих, очень многих переменчивых, неприкаянных, беспокойных судьбах она стала своего рода неподвижной звездой. Встречая ее на улице, водители грузовиков, лавочники, матери с детскими колясками — а теперь иногда уже и бабушки с детскими колясками — вспоминали глобусы, арифметические пропорции, диктовки, толковую, рациональную обстановку у нее в классе. Сама она редко вспоминала классную комнату,

в которой провела большую часть жизни, а наведаться туда она не смогла бы, даже если бы и захотела: пять лет назад старую школу снесли и вместо нее построили новое приземистое, безликое здание в пастельных тонах; однако для ее бывших учеников старая школа продолжала существовать в Дороти пожизненно, и ничего иного они в пожилой даме видеть не желали. Обращение «миссис» было ничего не незначащей данью вежливости, и только.

Ее сын Бобби умер еще до войны — погиб в автомобильной аварии в глухой Британской Колумбии. Впрочем, до аварии он успел жениться и родить дочку. Это и была Жанет. Мать Жанет, с которой Дороти так ни разу и не виделась, перебралась в Ванкувер, через пару лет снова вышла замуж и завела новую семью, со временем изрядно разросшуюся. В четырнадцать Жанет впервые приехала на восток, на поезде, чтобы провести с бабушкой месяц летних каникул. С тех пор она приезжала каждое лето — Дороти с отчимом Жанет оплачивали эти поездки пополам. Переписку Дороти вела именно с отчимом, который объяснил ей, что у девочки возникли вполне естественные трения с матерью и многочисленными материнскими отпрысками; очень полезно

дать им отдохнуть друг от друга. Судя по всему, человек он был весьма здравый. Впрочем, и он уже умер. А Жанет практически оборвала все связи с матерью и сводными братьями-сестрами.

Зато она продолжала навещать Дороти, а когда к той переехала Виола, то уже Дороти и Виолу. Она выиграла несколько стипендий, что позволило ей закончить колледж. Потом получила степень магистра. Потом закончила аспирантуру. Получила доктора. Да так и осталась в колледже преподавать. Много путешествовала. Приезжала, как правило, не дольше чем на неделю, иногда всего на три-четыре дня. А потом — нужно успеть заехать к друзьям, есть всякие другие планы. Дороти подозревала, что внучке у них скучно.

Когда Жанет приехала к ним впервые, еще девочкой-подростком, волосы у нее были короткие, каштановые. Потом она стала блондинкой. Однажды летом появилась с высоким начесом, — казалось, что у нее на голове целая шапка из мыльных пузырей. В те дни она красила веки до самых бровей в синий цвет и носила платья в обтяжку — оранжевые и лиловые, желтые и алые. Этот изысканный и одновременно вызывающий стиль, сменивший продуманную невзрачность подросткового возраста, изумлял

донельзя. Она отрастила волосы и либо заплетала их в косу, либо распускала бледные кудряшки по спине. Одевалась в джинсы и деревенские блузки, украшала себя бусами во много рядов и всякими безделушками из металла. Обувь надевала редко. А еще она любила платьица с набивным рисунком, короткие, совсем детские, открывавшие спину и разглашавшие тот факт, что бюстгальтеров она не признает. Да они ей были и не нужны. У этой женщины за тридцать была фигура одиннадцатилетнего ребенка.

— Как ты думаешь, она пытается быть хиппи? — вопрошала Виола вкрадчиво. — Интересно, что о ней думают ее студенты.

Виола была мастером по части улыбки на лице и ножа в спину. К этому ее приучила роль, которую она играла в свете, — роль жены банкира. Камешек был брошен в огород Дороти, ведь Жанет *ее* внучка.

Впрочем, Дороти и Виолу вполне устраивало совместное проживание. Так и дешевле, и дома ты не одна, и есть на кого рассчитывать в случае болезни или какого несчастья. А кроме того, взаимное общество доставляло им своего рода умиротворение, как вот оно бывает с капризными детьми или долго прожившими вместе сварли-

выми супругами, — умиротворение совершенно необъяснимое и по большей части незаметное, от которого на поверхность проступают лишь усталость, раздражение, необходимость постоянно быть начеку.

— В колледжах теперь все так одеваются, — заявила Дороти.

— Как, и преподаватели тоже?

— Все подряд.

— Интересно, выйдет она когда-нибудь замуж? — осведомилась Виола, и неспроста.

Дороти все чаще видела в журналах фотографии взрослых людей нового типа, которые, похоже, не желали взрослеть. Жанет стала первой их представительницей, которую Дороти довелось наблюдать вживую, да еще и вблизи. Раньше мальчишки и девчонки изо всех сил старались выглядеть взрослыми дядями и тетями, что вызывало один лишь смех. Зато теперь взрослые дяди и тети пытаются во всем походить на подростков — до того самого момента, пока не очнутся на пороге старости. Странно было видеть, как в лице Жанет иногда встречались дитя и старуха. Вот сейчас она на миг показалась моложе, чем была десять лет назад, — бледное ненакрашенное лицо, рот крупный и загадоч-

ный. Но вот что-то изменилось — освещение, или настрой, или гормональный баланс, — и то же лицо сделалось бугристым, синеватым, заостренным, с отчетливыми морщинками под глазами. Она будто перемахнула через изрядный кусок жизни.

С веранды, где сидела Дороти, улица казалась еще более знойной и обшарпанной, чем обычно летом. А все потому, что спилили деревья. Прошлой осенью явились рабочие и по приказу муниципалитета повалили все вязы — высокие, старые, с раскидистыми кронами, ветви которых раньше застили свет и шуршали о чердачные окна домов, а к осени покрывали лужайки толстым ковром из листьев. Все деревья были больны, некоторые стояли полумертвые, их было необходимо спилить до того, как зимою завьюжит и они превратятся в реальную опасность. Зимой было не так заметно, как переменилась улица, — зимой главными на ней были не деревья, а сугробы. Только летом Дороти осознала масштаб перемен. Нависавшие ветви скрывали дома, отчего дворики казались больше; а по узкому, латаному-перелатаному тротуару раньше текли, точно реки, изменчивые сплетения света и тени.

Жанет тут же запричитала.

— Деревья! — вскричала она, едва вылезла из своего кремового иностранного автомобильчика. — Наши дивные деревья! Кто их спилил?

— Муниципалитет, — ответила Дороти.

— Чего от него еще ждать.

— Выбора не было, — пояснила Дороти, обмениваясь с внучкой сухим поцелуем и сдержанным объятием. — Они подхватили графиоз ильмовых.

— И ведь повсюду так! — оборвала ее Жанет, явно не дослушав. — Всё вокруг разрушают. Страна скоро превратится в свалку.

С этим Дороти была не согласна. За всю страну она, конечно, говорить не могла, но их городок уж точно не превращался в свалку. Более того, члены «Добрососедского клуба» недавно осушили и расчистили большую пустошь у реки и разбили там совершенно замечательный парк — городу все сто лет его существования именно чего-то такого и не хватало. Насколько Дороти понимала, графиоз ильмовых за последний век сгубил все вязы в Европе и уже лет пятьдесят свирепствует на их континенте. Хотя ученые честно ищут спасительное средство, не отлынивают. Она сочла своим долгом довести все это до внучкиного сведения. Жанет бледно улыбнулась — да-да, но ты

просто не понимаешь, что происходит, это касается всего, проникает повсюду, технический прогресс губит качество жизни.

Ну и ну, подумала Дороти; она подзабыла склонность Жанет видеть все в черном свете и собственный непроизвольный протест, толкавший ее на защиту того, в чем она совершенно не разбиралась и что совершенно не собиралась защищать. Качество жизни. Дороти не оперировала такими представлениями и не общалась с людьми, которые ими оперировали. Понять Жанет ей было непросто.

— У нее прекрасная машина, — любила толковать Виола, — у нее образование, у нее работа, а деньги ей тратить не на кого, кроме как на себя, и она объездила весь свет — мы с тобой о таком и мечтать не мечтали, — и все же она несчастлива.

Виола, понятное дело, считала, что Жанет несчастна и озлоблена потому, что не сумела убедить ни одного мужчину на ней жениться. Дороти так не думала, а кроме того, на ее взгляд, определения «несчастная» и «озлобленная» к Жанет совершенно не подходили. Ей лично в голову приходило слово «незрелая», однако и оно мало что объясняло.

Дороти и сама в ранней молодости — это она помнила отчетливо — бухнулась однажды в траву рядом с отцовской фермой и заревела как белуга — а почему? Потому что отец с братьями вздумали заменить забор, старый полуразвалившийся, замшелый дощатый забор — на колючую проволоку! Разумеется, никто не обратил на ее протесты ни малейшего внимания, и, проревевшись, она умыла лицо и постепенно привыкла к колючей проволоке. Как она в те времена ненавидела любые перемены, как цеплялась за старые вещи, старые, замшелые, полуистлевшие *красивые вещи*. Теперь-то она переменилась: прекрасно знала, что такое красота, замечала игру теней на траве, на сером тротуаре, однако понимала и то, что рано или поздно ко всему привыкаешь. Теперь это уже не имело для нее особого значения. Как, впрочем, и привычность вещей. Вон те дома простояли напротив сорок лет, да и раньше, видимо, там стояли, а значит, успели стать для нее привычными, потому что этот город был Городом ее детства, она часто проезжала по этой улице вместе с родителями, когда они всей семьей наведывались сюда из деревни и неизменно ставили лошадь в сарай рядом с методистской церковью. Но если дома завтра

снесут, истребят живые изгороди, виноградники, грядки, яблони и что там еще, а на их месте возведут торговый центр, она не станет возмущаться. Не станет, будет просто сидеть, как вот сейчас, и смотреть — смотреть не пустым взглядом, а с сильнейшим любопытством — на машины, на мостовую, на мигание вывесок, на плоские крыши складов и на огромную, дугообразную, царящую надо всем громаду супермаркета. Смотреть она согласна на что угодно: красивая это вещь или уродливая, ей уже не важно, потому что в любой вещи можно открыть что-то новое. Это понимание пришло к ней с возрастом, и это было вовсе не безропотное, всеприемлющее понимание, которое, как считается, обретают старики; напротив, оно вызывало раздраженную, обескураженную сосредоточенность, пригвождало к месту.

— Поглядеть на тебя, невеселые ты думаешь мысли, — говорила ей Виола, и не раз. — А веселые мысли помогают сохранить молодость.

— Правда? — отвечала Дороти. — Что ж, когда-то и я была молодой.

После того как вырубили деревья, из окна открылся вид до самого пересечения Майо-стрит и Харпер-стрит. Дороти увидела Блэра Кинга, ко-

торый как раз заворачивал за угол — возвращался домой с работы. Он работал на радио, и студия находилась в паре кварталов. Как и большинство сотрудников радио, он был не из местных, а через несколько лет, надо думать, двинется дальше. Они с женой сняли дом напротив Дороти, но жены сейчас там не было. Вот уже несколько недель, как ее положили в больницу.

Блэр Кинг приостановился взглянуть на номерной знак машины Жанет — из другой провинции.

— Внучкина, она к нам в гости приехала!

Зачем она это крикнула? Они с Виолой не очень хорошо знали Кингов; визитами никогда не обменивались. Он был неизменно приветлив — видимо, по профессиональной привычке; она держалась отстраненно. Участком своим они занимались мало. Она, пока не заболела, работала в городской библиотеке. Дороти с Виолой чаще видели ее там, чем возле ее дома. Она носила юбку студенческого покроя и свитер, волосы до плеч скрепляла заколкой (этакая студентка пятнадцатилетней давности: в отличие от Жанет, она не шла в ногу со временем), а говорила низким, чрезвычайно воспитанным голосом, в котором многие из местных усматривали скры-

тое высокомерие. А кроме того, в лице ее ранее не виданным Дороти образом сочетались самоуверенность и непривлекательность.

— Импозантные мужчины часто выбирают таких девиц, — говаривала Виола. — Зачем им чужая привлекательность, когда у них своей хоть отбавляй?

Блэр Кинг по-соседски подошел к веранде, но подниматься не стал. Только поставил ногу на нижнюю ступеньку и оперся рукой о колено. Он и правда был хорош собой, хотя привлекательность его постепенно деревенела, изнашивалась. Улыбка, как и голос, казалась нарочитой, механической. Сказывалось несчастье, случившееся с женой.

— Я каждый раз, как прихожу или ухожу, восхищаюсь ее машиной.

— Она ее в прошлом году купила в Европе и перевезла сюда морем. Как ваша жена?

Дороти с легкостью задала этот вопрос, хотя знала что и как: Нэнси Кинг умирала от рака. Умирать в тридцать восемь лет — это, вне всякого сомнения, трагедия, однако, сказать по совести, Дороти уже некоторое время как перестала понимать смысл слова «трагедия». А спросила, просто чтобы поддержать разговор.

— В данный момент довольно сносно.

— А в больнице жарко? — Она не обрывала беседу, потому что в голову ей пришла одна мысль.

— В новом крыле стоят кондиционеры.

— Я пригласила Блэра Кинга, нашего соседа, — сказала Дороти. — Пригласила зайти к нам на огонек.

— Ты приглашаешь гостей? — изумилась Виола. — До чего дошло! Так, глядишь, и небо рухнет на землю.

— Только не знаю, чем его угощать, — добавила Виола позднее. — Наверное, он ждет, что мы предложим ему выпить. Люди с радио не ходят в гости просто на чашку чаю.

— Люди с радио? — переспросила Жанет. — То-то я подумала, какое у него имя замысловатое. Медийное.

— Где там у нас шерри? — спросила Дороти. Сама она не пила: она не соврала, когда призналась, что курение — единственный ее недостаток, Виола же пристрастилась к шерри во дни, когда занималась приемом-развлечением гостей-банкиров, и как правило держала дома бутылочку.

— Да разве можно предлагать ему шерри? — воззвала Виола к Жанет. — Знаешь, как называют шерри? «Старушечий напиток»!

— Я съезжу в винный магазин, — увещевающе произнесла Жанет, — куплю бутылку джина, тоник, может, добуду несколько лаймов — и все это вместе прекрасно пойдет жарким вечером. Джин с тоником любому придется по вкусу.

Виола по-прежнему была недовольна.

— Но его еще нужно будет чем-то накормить.

— Сэндвичи с огурцом, — постановила Дороти.

— Дивно. Прямо как у Оскара Уайльда[26], — загадочно проговорила Жанет. — Я и огурцов привезу.

Она заново заплела косу, напевая, — неужели ее так обрадовала возможность на полчаса выбраться из дому? — а потом побежала к машине, мурлыча: «Джин и то-оник, лайм и о-огурец…»

— В магазин, да не обувшись, — изумилась Виола.

В середине дня Жанет лежала на солнышке на заднем дворе. Виоле ее было не видно — чему оставалось только радоваться. «И вот это в нынешние времена называется бикини? — разворчалась бы Виола. — Я бы сказала, что она просто обвязалась парой ленточек».

Но Виолина спальня находилась в передней

---

[26] Сноски: 26

См.: *О. Уайльд*. Как важно быть серьезным. Акт I.

части дома, а спальня Дороти — в задней. Обе они после полудня непременно ложились отдохнуть, деля тем самым день пополам. В учительские свои дни Дороти воспринимала такой полуденный отдых как летнюю роскошь. В последние годы работа стала ее утомлять, а отдохнуть целое лето уже не удавалось, поскольку бесконечно мудрый Департамент образования постановил, что три недели ей положено проводить в душной съемной комнатушке в Торонто, посещая курсы, которые позволят применять в учебном процессе новые методические приемы. (Разумеется, ничего такого она не применяла, а с успехом продолжала учить так, как учила всегда.) А когда она возвращалась, ее уже ждала Жанет. Впрочем, Жанет не сбивала привычный ритм ее жизни, поэтому в середине каждого дня она поднималась наверх и вытягивалась на кровати. Время от времени она воображала, как внизу, в гостиной, Жанет читает книгу или лежит на террасе в качелях, время от времени со стуком отталкиваясь ногой от деревянной половицы, чтобы качнуть качели; Дороти гадала, довольна ли девочка жизнью, достаточно ли она, Дороти, для нее делает — может, отвести ее в новый бассейн или записать в секцию тенниса? А по-

том она вспоминала, что Жанет уже слишком большая, чтобы ее куда-то отводить, а если она захочет заняться теннисом, сама об этом скажет. В те времена бóльшую часть времени Жанет читала. Дороти и сама читала запоем, когда была молодой, да и теперь продолжала читать. Они чувствовали себя совершенно естественно, когда сидели вдвоем за завтраком или обедом, каждая уткнувшись в свою книгу. Теперь же Жанет, похоже, почти забросила чтение. Возможно, устала за долгие годы учебы.

Дороти в ее возрасте отличалась меньшим любопытством. На уроках ее мало что интересовало, кроме того, усвоили ли ее ученики правила арифметики и орфографии, факты из истории или физики и географии, которые она обязана была вложить им в головы. В Жанет она видела застенчивую серьезную девочку, возрастом чуть постарше ее учеников. В отношении такой девочки так и тянуло употребить слово «прилежная», именно это старомодное слово. Тогда она была убеждена — причем не было нужды ни уточнять, ни обдумывать это, — что Жанет в некоем важном смысле является продолжением ее самой. Теперь это было далеко не столь явственно; связь то ли прервалась, то ли сделалась незримой.

Дороти еще некоторое время смотрела из окна спальни на худощавое загорелое внучкино тело, которое казалось ей иероглифом, начертанным на траве.

— А на М-1… — в отчаянии возгласил Блэр Кинг, сидя на боковой веранде, попивая джин. Отчаяние его было адресовано Жанет. Дороти внимательно, хотя и не без труда следила за разговором.

— Да, М-1! Я там провела худшие минуты моей жизни, когда ехала в Лондон в тумане, а они в тумане гонят шестьдесят миль в час, приходится подстраиваться — сплошная пелена, видимость десять футов. Мы вдвоем только что взяли автодом напрокат, я к нему еще и приноровиться-то не успела, а потом мы попали на очередной круг и долго не могли с него выбраться. Никакими силами было не разглядеть, куда сворачивать, вот мы и ездили кругами до бесконечности, как в какой-то абсурдистской любительской пьеске.

Неужели Блэр Кинг понимает, о чем она? Похоже, он понимал. Смотрел ей в лицо, одобрительно что-то бормотал. Дороти впервые слышала об автодоме, о путешествии вдвоем, да, собственно, и об М-1. Бабушке и Виоле Жанет мало расска-

зывала про Европу — кроме того, что там полно туристов, в греческих домах зимой страшная сырость, а замороженная рыба, привезенная из Афин, стоит дешевле, чем та, которую вылавливают прямо в деревне. Потом она принялась описывать, чем они питались, но Виолу вскоре стало мутить.

С кем это она была вдвоем — с мужчиной или с девушкой? Дороти видела, что и Виола гадает тоже.

Три года назад Блэр Кинг с женой провели в Старом Свете шесть месяцев. Он то и дело давал понять, что не забывает о ее существовании. Мы с Нэнси. В Швейцарии машину вела Нэнси. Нэнси понравилась Португалия, а Испания не очень. Португальская коррида пришлась Нэнси больше по душе. Виола время от времени вставляла свое словечко о том, как они с мужем в 1956 году провели три недели в Великобритании. Дороти сидела, слушала, потягивала джин-тоник, который ей был совсем не по вкусу, хотя Жанет и обещала не переборщить с джином. Сетовать ей было особо не на что, пусть и не всегда удавалось уследить за ходом беседы. Ведь именно на это она и рассчитывала — что Блэр Кинг окажется из тех людей, к которым Жа-

нет больше привыкла, что ей понравится с ним говорить, а сама Дороти, слушая их разговор, получше разберется в том, что представляет из себя ее внучка. Вот она и сидела сосредоточившись, хотя, кроме звука голосов, сосредоточиваться было особенно не на чем — на веранде было темно. Может, включим свет, предложила Дороти, а Жанет вскричала — ну нет, тогда придется закрыть окна, и будем сидеть в душной коробчонке, и жуки будут биться в стекло.

— Я совсем не против посидеть в темноте, а вы? — обратилась она к Блэру Кингу, и Дороти уловила нечто в ее голосе — почтительное, лукавое, заносчивое? — что решила потом обдумать на досуге.

Они говорили о блюдах и напитках, о болезнях и медицине, о странном враче с Крита, который, по словам Жанет, почему-то возомнил, что все иностранки приходят к нему с единственной целью — сделать аборт, так что уговорить его осмотреть, например, больное горло удавалось с великим трудом. Блэр Кинг рассказал про врача-испанца, к которому Нэнси пришла с жалобами на боли в желудке, и он дал ей такое мощное слабительное, что через два часа, в Альгамбре, ее просто скрутило и согнуло пополам.

— Это и осталось ее главным воспоминанием об Испании. Мы стоим в этом изумительно красивом месте — мы его столько раз видели на картинках, Нэнси так мечтала туда попасть, и думаем только об одном — где тут дамская уборная?

— Да, естественные надобности, — проговорила Жанет с наигранной торжественностью. — Естественные надобности — страшно неудобная штука. И они так много о себе воображают. Помню свои первые месячные. В Греции, на пароходе.

Неужели теперь принято вести такие разговоры в смешанном обществе? Дороти видела, что Виола думает именно это. И еще: *неудивительно, что она не замужем.*

— И надо же такому приключиться именно с Нэнси. У нее развитое чувство собственного достоинства. Вы не знакомы. Снобом ее не назовешь, но она… в общем, когда-то я называл ее «парфеткой».

— А! — произнесла Жанет, вложив в это слово одновременно и одобрение, и легкое презрение.

Блэр Кинг скорее всего этого не заметил, он продолжал говорить про свою жену. Что же такое на уме у Жанет? Это что, флирт, вот так он теперь выглядит? Несмотря на внешнюю разговорчи-

вость и оживление, Жанет в душе явно сохраняла полный покой, без тени игривости или запальчивости, почти с отрешенностью.

От врачей они перешли к странам, где тебя запросто могут обчистить до нитки, и о других, где незапертую и набитую всяким добром машину можно на несколько дней просто бросить на улице.

— В Северной Африке у меня украли абсолютно все, — сказала Жанет. — Абсолютно все, хотя я и заперла автодом. Я тогда была одна, наш дуэт распался, а тут еще это…

Выходит, все-таки это был мужчина, подумала Дороти, но тут же поправила себя: *хотя могла быть и женщина*… Иногда ей случалось пожалеть о том, что она много читает и следит за событиями в мире.

— Дело было в Марракеше, — продолжала Жанет. — У меня украли все, абсолютно все — марокканские платья, ткани, которые я накупила в подарок, украшения — ну, понятное дело, еще и фотоаппарат, и все, что я привезла с собой. Я сидела в машине и плакала. И тут двое юношей-арабов — ну, скорее не юношей, а молодых мужчин, просто они были очень худощавы, и поначалу мне показалось, что они моложе,

чем есть, — подошли ко мне, увидели, что я плачу, остановились, заговорили. Один довольно неплохо говорил по-английски. Поначалу я вообще отказывалась вступать в разговор, я тогда ненавидела всех арабов, всех марокканцев, мне казалось, они лично виноваты в том, что меня ограбили. Я даже не стала им говорить, что произошло, но они все не отставали — вернее, не отставал тот, который вел разговор, — и в конце концов я довольно грубо объяснила, что к чему, а они посоветовали мне пойти в полицию. Ха, сказала я, да полиция небось стояла и смотрела, как меня грабят. Но они меня все-таки убедили. Сели ко мне в кабину, стали показывать дорогу. Мне, вообще-то, пришло в голову, что мы, наверно, едем ни в какую не в полицию, а я веду себя как полная дура, но в тот момент мне было наплевать. И знаете что? Я прониклась некоторым доверием к говорившему, потому что у него были голубые глаза. Дремучий предрассудок — у нацистов тоже были голубые глаза. Но эти его глаза меня немного успокоили, и я пошла за этими двумя молодыми людьми, когда мы вылезли из машины и зашагали по путаным извилистым вонючим улочкам арабского квартала, а к тому моменту, когда я

окончательно уверилась, что идем мы совсем не в полицию, я бы уже все равно не сумела отыскать дорогу обратно. Вы ведь не в полицию меня ведете, сказала я, и они не стали отпираться. Не сразу, пояснил голубоглазый. Сначала я отведу вас к себе, познакомлю с матерью!

— Весьма учтивый жест. Если говорить в общем смысле, — одобрительно произнесла Виола.

Блэр Кинг только рассмеялся.

— Да, знаю. Познакомлю с матерью. И еще с сестрой, сказал он. В конце концов мы добрались до какого-то дома, вернее, до двери — больше я ничего не увидела, потому что вы же сами знаете, как там все стены жмутся одна к другой. Мы оказались в какой-то голой комнатенке — только кушетка и лампочка без абажура. Подождите минутку, сказал он и вышел в другую дверь. А друг его остался. Друг мне совсем не нравился. Лицо у него было угрюмое. Он все время молчал. Я села на кушетку, прошло довольно много времени, первый наконец вернулся и сказал, что очень извиняется, но мать и сестра уже легли спать. Потом он сказал, что пойдет купит какой-нибудь еды. Я спросила, не может ли он проводить меня обратно, он сказал — попозже. В общем, он оставил меня наедине со своим

другом, и едва он вышел, начали происходить самые невероятные вещи. Друг подошел ближе, сел на кушетку, стал гладить мне руки, плечи, попытался заговорить. Я старалась сохранять спокойствие и стала задавать ему… ну, *охлаждающие* вопросы, сама же дергалась все сильнее. Теперь я уже не сомневалась, что они все это подстроили. Я правда страшно разнервничалась. Он, можно сказать, ползал по мне на этой кушетке, пришлось встать, и тут он отбросил все церемонии и прижал меня к стене, вытащил нож…

— Ах! — вскричала Виола. — Да зачем же ты поехала в такую страну?

— Приставил мне нож к горлу и потребовал… ну, к этому моменту он уже выражал свои намерения совершенно однозначно, а я все твердила нет, *нет* — и отказывалась на что бы то ни было смотреть.

— А он все держал нож у вашего горла, — проговорил Блэр Кинг, как будто речь шла о чем-то забавном.

— Ну, я как-то сразу поняла, что он это не всерьез. Почувствовала, что ли. Это была такая игра. А потом вернулся голубоглазый. Он действительно ходил за едой; принес сыр и все такое и очень

рассердился — или сделал вид, что рассердился, — когда увидел, что происходит. Второй, разумеется, нож сразу убрал. Голубоглазый очень витиевато извинился передо мной, а потом мы сели и стали есть. Совершенно невероятное положение. А потом голубоглазый сказал, что проводит меня обратно. И действительно проводил. Вел себя очень галантно. На обратном пути предложил мне стать его женой.

На этих словах голос Жанет пресекся от смущения — чего до сих пор ни разу не происходило.

— Он, похоже, рассчитывал, что я увезу его за границу. А может, так арабы проявляют особую галантность. До самого моего отъезда он каждый день приходил к гостинице и повторял свое предложение. И разумеется, твердил, что любит меня.

«Интересно, о чем она умалчивает?» — подумала Дороти. У нее был богатый опыт по части выслушивания детей, которые о чем-то умалчивают. Возможно, Жанет переспала с голубоглазым арабом, когда он отвез ее обратно в гостиницу. Или переспала с обоими в том арабском доме. А может, все еще серьезнее. Возможно, она его полюбила. Если не выдумала всю эту историю.

— Думаю, — проговорила Жанет извиняющим-

ся тоном, — думаю, что я в него слегка влюбилась. В таких странах с чувствами происходят непредсказуемые вещи. Особенно когда ты одна.

— Самые непредсказуемые вещи, — подтвердил Блэр Кинг.

— Ну и разумеется, совершенно невозможно понять, как они на самом деле к тебе относятся. Невозможно.

Они с Блэром Кингом вдвоем почти осушили бутылку джина.

Дороти собиралась ложиться спать. Она была взбудоражена и совсем не чувствовала усталости, хотя час для нее был уже поздний. Если на меня так действует спиртное, лучше к нему не привыкать, подумала она. Послушала, как Виола зашла в уборную, потом вернулась к себе, закрыла дверь. Услышала, как у Виолы щелкнул выключатель. Тоже погасила свет. Жанет спала на первом этаже. В доме ни звука.

Дороти сидела в постели в длинной ночной рубашке, волосы, которые днем она собирала в узел, лежали по плечам жесткой седой гривой, все еще довольно густой. Через некоторое время она начала различать в зеркале свое морщинистое лицо. Взошла луна. Вид у Дороти был как у какой-то страшилки для детей, как у старой колдуньи

с севера. Это зрелище подвигло ее на то, чтобы спуститься вниз за стаканом молока или чашкой чая — дабы восстановить душевное равновесие.

Она пошла вниз босиком, накинув поверх ночной рубашки старый бордовый халат. Свет включать не стала. В задние комнаты проникал свет луны, в передние — свет от уличного фонаря. Она открыла входную дверь, сошла по ступеням.

Она стояла перед домом в халате, из-под которого выглядывала светлая ночная рубашка, и думала: *А если кто-нибудь увидит?* Обошла дом по траве. Трава была совсем сырая. Августовская роса. Она миновала кусты спиреи и встала рядом с клумбой, с которой были срезаны все дельфиниумы. Между их участком и участком Кингов не было ни забора, ни изгороди. Сразу за границей начиналась некошеная трава Кингов.

Дороти пошла вдоль клумбы, пытаясь не наступать на растения. Встала на траву Кингов. На освещенной веранде виднелись две фигуры, и, подойдя ближе, она поняла, что это Жанет и Блэр Кинг. Судя по всему, Жанет стояла на коленях на низкой табуретке или скамеечке. Она стягивала через голову свою вышитую блузку. Осталась нагой. Чуть в стороне от нее Блэр Кинг тоже снимал одежду, спокойно и неспешно. Еще бы.

Для нынешней молодежи это сущий пустяк. И ведь толчок всему этому дала Дороти, но ничего, не стоит переживать. Завтра они и сами об этом забудут. Ну, не завтра, так через неделю. Разве они влюблены друг в дружку? Ничего подобного. Зато уж верно пьяны в стельку.

Блэр Кинг встал перед Жанет на колени, прижавшись лицом к ее лицу. Она нагнулась, взяла его голову в ладони. В свете лампы на веранде ее загорелое тело казалось золотистым, а его — белым. Тела тесно соприкасались. Дороти наконец проняло. Перехватило дыхание. Теперь, когда одежда, а с нею их жесты и движения, которые она знала — по которым могла их опознать, — были отброшены, они казались ей одновременно неведомыми и привычными, то ли до странности похожими на самих себя, то ли не похожими вовсе. Будто фигуры в музее. Но при этом слишком живые, слишком неуклюжие — ох, если бы она могла заставить их замереть! Они сплетались в свете лампы, будто ничто уже не имело для них значения, сжимали и тискали, ощупывали и познавали друг друга. Будь она в состоянии крикнуть: *Прекратите! Прекратите немедленно!* — былым своим учительским голосом, она крикнула бы — в качестве предостереже-

ния, не укора. При всей своей смелости ей они казались беспомощными, беспомощными перед лицом опасности, как люди на плоту, который уносит течение. И некому было их окликнуть. Они перевернулись, ушли в поток и беззвучно повлекли друг друга дальше, за стекло.

Тут она осознала, что дрожит всем телом, что колени подгибаются, а в голове бьет молот. Она подумала, не так ли чувствует себя человек перед инсультом. Ужасно будет, если удар хватит ее прямо здесь, прямо в ночной рубашке, даже не в собственном доме. Она пошла назад, через клумбу, мимо передней части дома. На ходу ей сделалось легче, а когда она оказалась у лестницы, у нее уже почти не оставалось сомнений, что никакой инсульт ей прямо сейчас не грозит. Она немного посидела на ступенях с закрытыми глазами, чтобы полностью взять себя в руки.

На исподе век четко проступили две слившиеся фигуры, плотные и сияющие, будто те силуэты, что она когда-то — всякий раз этому изумляясь — рисовала мелом на доске в праздничные дни.

А что если и Виола тоже видела? Ей такого не вынести. Тому, кто решил под конец жизни освоить мастерство подглядывания, не обойтись без внутренней силы, а еще без чего-то, что похо-

же на благодарность.

Испанка
Перевод Сергея Сухарева

Дорогие Хью и Маргарет,

в последние несколько недель я подолгу оставалась одна, так что у меня было время подумать о нас – о нас троих, и вот к каким выводам (любопытным, но, наверное, не слишком оригинальным) я пришла.

1) Моногамия – состояние неестественное как для мужчин, так и для женщин.

2) Ревнуем мы потому, что чувствуем себя брошенными. Абсурд: ведь я не ребенок и вполне способна о себе позаботиться. Меня нельзя просто взять и бросить в буквальном смысле. И еще: мы ревнуем (я ревную), полагая, что если Хью любит Маргарет, то он что-то отнимает у меня и отдает ей. Ничего подобного. Либо Хью дарит Маргарет любовь сверх той, какую испытывает ко мне; либо меня не любит, а любит ее. Даже если справедливо второе, это не означа-

ет, что я любви не заслуживаю. Если я уверена в себе и радуюсь жизни, тогда для моего самоуважения любовь Хью не очень-то и нужна. И если Хью любит Маргарет, я должна только радоваться – разве нет? – тому, что он обрел счастье в жизни. Да и могу ли я что-то от него требовать?..

Дорогие Хью и Маргарет,

мне больно не только из-за того, что у вас роман, но и потому, что вы так искусно втирали мне очки. Ужасно обнаружить, что твое представление о действительности ничего общего с действительностью не имеет. Ужасно, сколько месяцев Маргарет что ни день бывала у нас в доме, мы всюду ходили втроем и она притворялась моей подругой: к чему весь этот фарс, это изощренное предательство? Как часто, наверное, когда мы были вместе, вы надо мной потешались без всякой жалости, исподтишка переглядываясь, будто заговорщики! Вы устроили жестокое шоу – себе на потеху, а то, что я была такой непроходимой тупицей, только придавало

пикантности вашим шашням. Презираю вас обоих. Я никогда бы так не поступила. Никогда бы не выставила на посмешище того, кого прежде любила и с кем делила жизнь, – и даже того, кто хорошо ко мне относился и был мне другом…

Я разорвала оба письма, скомкала их и сунула в ящичек для мусора. Купе спального вагона хорошо оборудовано — до мелочей. В этой металлической кабинке с мягкой обивкой можно прожить всю жизнь вполне уютно, даже с комфортом. Поезд из Калгари[27] идет на запад. Я смотрю на бурые океанические волны суши, постепенно переходящей в предгорья, и плачу, плачу. Меня мутит, как от морской болезни. Жизнь не похожа на рассказы с иронической подкладкой, какие мне нравятся: она как дневной телесериал для домохозяек. Банальность тоже может довести до слез.

Герлфренд. Любовница. Насколько я знаю, любовницами теперь никого не называют. Слово «герлфренд» звучит развязно, но одновременно здесь есть напускная невинность, занятная

[27] Сноски: 27
Калгари — город в провинции Альберта (Канада).

уклончивость. Ореол тайны и трагедии, витавший вокруг старомодного слова, развеян бесследно. Виолетта[28] никак не могла бы стать чьей-то «герлфренд». А вот Нелл Гвин[29] — да, она ближе к нам, более современна.

Элизабет Тейлор[30]: любовница.

Миа Фэрроу[31]: герлфренд.

Именно такой угадайкой мы втроем — с Хью и Маргарет — и развлекались в прежние наши вечера. Вернее, развлекались мы с Маргарет: наша увлеченность игрой, поначалу забавлявшая Хью, постепенно начинала его раздражать.

И то и другое слово для Маргарет годились мало.

Прошлой весной мы с ней отправились по модным магазинам — купить ей новое платье. Меня

---

[28] Сноски: 28

Виолетта Валери — куртизанка, героиня оперы Джузеппе Верди «Травиата» (1853) по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848).

[29] Сноски: 29

Нелл Гвин (1650–1687) — английская актриса, фаворитка короля Карла II.

[30] Сноски: 30

Элизабет Тейлор (1932–2011) — американская киноактриса, «королева Голливуда».

[31] Сноски: 31

Миа Фэрроу (Мария де Лурдес Вилльерс Фэрроу; р. 1945) — американская киноактриса.

повеселили и в то же время растрогали ее прижимистость и закоснелость вкуса. Средств у нее хватает, живет она в Апленде[32] с мамой преклонного возраста, но ездит на шестилетнем «рено» с вмятиной на дверце, в школу приносит сэндвичи — не хочет выделяться.

Я убеждала ее купить длинное прямое платье из темно-зеленой хлопчатобумажной ткани, расшитое золотом и серебром.

— Я чувствую себя в нем куртизанкой, — возразила она. — Вернее, тихоней, которая пытается выглядеть куртизанкой, а это еще неприличней.

Выйдя ни с чем из модного магазина, мы пошли в простой универмаг, где купили розовое шерстяное платье с рукавами три четверти, поясом из той же ткани и обтяжными пуговицами; такие платья Маргарет всегда и носила: в нем ее высокая плоскогрудая фигура производила обычное впечатление бесстрастной сдержанности и неуступчивости. Потом мы заглянули в букинистический и решили сделать друг дружке

[32] Сноски: 32

Апленде — район Оттавы, примыкающий к военно-воздушной базе Апленде (существовала до середины 1990-х гг.).

подарок. Я преподнесла ей «Лаллу-Рук»[33], а она мне — «Принцессу»[34], строчку из которой мы повторяли, шагая по улице:

> *Слезы, напрасные слезы – не знаю, что они значат…*

Мы частенько дурачились, будто школьницы. Нормально ли это, если вдуматься? Сочиняли о прохожих целые истории. Хохотали без удержу, так что приходилось падать на скамейку у автобусной остановки; автобус подъезжал, а мы, не в силах успокоиться, в изнеможении махали ему рукой, чтобы нас не дожидался. Еще чуть-чуть — и впали бы в истерику. Нас тянуло друг к другу благодаря Хью — или тянуло к Хью благодаря друг другу. Возвращаясь домой, изнуренная смехом и болтовней, я говорила Хью: «Нет, ну что это? В жизни у меня не бывало такой подруги!»

Однажды, сидя с нами за обедом на своем привычном месте, Маргарет сказала, что больше не хочет, чтобы ее звали Мардж, а только Марга-

---

[33] Сноски: 33

«Лалла Рук» — ориентальная романтическая повесть в стихах и прозе (1817) англо-ирландского поэта Томаса Мура (1779–1852).

[34] Сноски: 34

«Принцесса» (1847) — поэма Альфреда Теннисона (1809–1892), «фантазия на тему женского равноправия».

рет. Ее почти все называют Мардж, коллеги-учителя — тоже. Она преподает английский и физическую подготовку в школе у Хью — то есть в школе, где Хью директор. Мардж Хонекер — так о ней говорят — девушка что надо, если ближе с ней познакомиться: нет, правда, *личность* просто замечательная. И по интонации понимаешь: красоткой ее не назовешь.

– *Мардж* — это какая-то нескладеха. По правде сказать, я такая и есть. А вот если *Маргарет* — я сразу почувствую себя изящней, — продолжала она за обеденным столом, и я удивилась, уловив в ее шутовском тоне отзвук робкой надежды. Я переживала за нее, как за собственную дочь, и впредь неизменно называла ее только Маргарет. Зато Хью и ухом не повел: всегда называл Мардж.

— У Маргарет красивые ноги. Надо бы ей носить юбки покороче.

— Слишком мускулисты. Точно у спортсменки.

— И волосы отрастить подлиннее.

— Они у нее и так растут. На лице.

— Гадости говоришь.

— Говорю безоценочно: что есть, то есть.

Не поспоришь. У Маргарет заметен легкий пушок около ушей и по уголкам рта. Лицо белоку-

рого веснушчатого мальчугана лет двенадцати. Живой, сообразительный, тощенький, смущается от пустяка. В Маргарет что-то есть, я не раз это повторяла, и Хью со мной соглашался: она из тех женщин, про которых другие женщины именно так и говорят.

Не видят в ней угрозы.

Почему мы всегда удивляемся, обнаружив, что не мы одни способны лгать?

Мы принимали у себя молодых учителей. Юноши в джинсах, девушки тоже в джинсах или в кожаных юбочках. С распущенными волосами, вежливы и не задиристы, но критичности хоть отбавляй. Другие пошли учителя. На Маргарет было розовое шерстяное платье до колен, она пристроилась на пуфике — слишком низком для ее длинных ног, наливала всем кофе и за весь вечер не произнесла и дюжины слов. Я надела одно из своих «павлиньих» платьев переливчато-синего цвета, рассчитывая на эффект. И не прочь была поздравить себя за свое умение идти в ногу со временем, держаться в струе — да, сохранять моложавость в облике и повадке. Рисовалась — только перед кем? Перед Маргарет? Перед Хью? Но настоящее удовольствие доставила ему Маргарет, уже когда все разошлись.

— Беда в том, что я не знаю, *общаюсь* ли я. Не знаю, есть ли у меня что-то общее с этой *общающейся* публикой. Понимаете, иной раз мне так не хватает духовной пищи!..

Меня она тоже рассмешила, и я испытала подобие извращенной родительской гордости за тихоню-ребенка, который забавно передразнивает чванных гостей, едва за ними закрылась дверь. Но истинными носителями бодрящего духа всеохватного скептицизма были Хью и Маргарет. Он полюбил ее за остроумие, цинизм, лукавство. Теперь эти милые качества, мягко говоря, не кажутся мне привлекательными. Оба они — Хью и Маргарет — неловко держатся в компании, их нетрудно сконфузить. Но подспудно они холодны, уж не сомневайтесь, куда холоднее нас, любителей легкого флирта, со всеми нашими чарами и победами. Они скрытны. Они никогда ни в чем не признаются, никогда не станут объясняться, голыми руками их не возьмешь, да-да: попробуй расцарапать им кожу — только пальцы в кровь изранишь. Я могу сколько угодно надсаживать глотку — они и бровью не поведут, ни один мускул не дрогнет на их непроницаемых, демонстративно обращенных в сторону лицах. Оба светловолосы, оба вмиг заливаются

краской, оба — хладнокровные насмешники.

Плевать они на меня хотели.

Какая чушь! При чем тут я? Для меня у них и этого нет. Все только друг для друга. *Любовь.*

Я возвращаюсь домой после объезда родственников, разбросанных по стране. К ним я питаю привязанность почти болезненную. Словами ее трудно выразить, однако лишиться их мне чуть ли не страшнее, чем умереть самой. Но говорить мне с ними не о чем, и помочь мне они ничем не могут. Они приглашали меня с собой на рыбалку, на званый обед или посмотреть на город с небоскреба, а что еще им мне предложить? Плохих вестей от меня они боятся. Ценят мой оптимизм, мою миловидность, мои скромные, но вполне осязаемые успехи: я перевела с французского на английский сборник рассказов и несколько детских книжек; можно пойти в библиотеку и убедиться — на суперобложках значится мое имя. Тем из них, кто старше и неудачливей меня, кажется, что радовать их всем этим — моя обязанность. Если мне везет и я счастлива — это одно из немногих теперь для них подтверждений, что жизнь катится не только под гору.

Вот вам и весь расчет на родственников,

вот и весь отчет о визитах.

Предположим, я возвращаюсь домой, а они там — Хью и Маргарет. Я застаю их в постели — точь-в-точь как говорится в письмах читателей к Дорогой Эбби[35] (больше никогда не буду над ними смеяться). Я иду к шкафу и достаю оставшуюся там мою одежду, принимаюсь укладываться и вежливо, не оборачиваясь к ним, спрашиваю:

— Сварить вам кофе? Вы, наверное, ужасно устали?

Рассмешу их. Они засмеются — словно протянут ко мне руки. Приглашая присесть на краешек.

Или же наоборот: я вхожу в спальню и, не говоря ни слова, хватаю все, что попадется под руку, — вазу, флакон с лосьоном, картину со стены, обувь, одежду, магнитофон Хью — и швыряю куда попало: на постель, в окно, об стены; потом сдергиваю постельное белье и рву его в клочья, пинаю матрас, визжу как резаная, раздаю пощечины и колочу по их голым телам щеткой

---

[35] Сноски: 35

Имеется в виду популярная колонка советов, которую на протяжении многих лет (1956–2000) вела Полина Фридман Филлипс (1918–2013) под псевдонимом Эбигейл Ван Бурен. Письма читателей начинались с обращения «Дорогая Эбби». Колонку Филлипс печатали тысячи газет в США и других странах.

для волос. В точности как разгневанная жена в книге «Божья делянка»[36]: я читала ее Хью вслух с комической интонацией, пока мы бесконечно долго ехали в машине по пыльной прерии.

Возможно, мы рассказывали об этом Маргарет. Выкладывали ей множество забавных подробностей той поры, когда Хью за мной ухаживал, и даже кое-что из нашего медового месяца. Хвастались. Вернее, я хвасталась. Какую цель преследовал Хью — мне неведомо.

Жуткий вопль вырывается наружу — изнутри меня, невольный протест, удивительный мне самой.

Я вцепляюсь зубами себе в руку и кусаю ее, кусаю — лишь бы заглушить боль; потом встаю, опускаю небольшую раковину и умываю лицо, накладываю румяна, причесываюсь, приглаживаю брови и выхожу из купе. Вагоны в поезде носят имена первооткрывателей или гор и озер. Я часто ездила поездом, пока дети не подросли, а у нас с Хью было туговато с деньгами: детям младше шести билет не требовался. Помню эти надписи на тяжелых дверях и как мне приходилось с силой их толкать и придерживать,

---

[36] Сноски: 36

«Божья делянка» (1933) — роман американского писателя Эрскина Престона Колдуэлла (1903–1987).

поторапливая то и дело спотыкавшихся детей. В переходах между вагонами меня охватывал страх: вдруг малыши куда-нибудь провалятся, хотя умом я и понимала, что ничего с ними случиться не может. По ночам нужно было лежать с ними на одной полке, а днем терпеливо сидеть, пока они вокруг меня копошатся, наставляя мне синяки пятками, коленками, локтями. Я думала тогда, как бы хорошо путешествовать свободной и одинокой, попивать после обеда кофе, глядя в окно, или пойти в вагон-ресторан, посидеть там за коктейлем. Теперь одна из моих дочек странствует по Европе автостопом, а другая работает психологом в лагере для детей с физическими недостатками, и если тогда пора забот и тревог казалась нескончаемой, то теперь кажется, будто ее вовсе и не бывало.

Как-то совсем незаметно для меня мы очутились в горах. Я прошу принести джин с тоником. В бокале играет луч солнца, отбрасывая круг света на белую подставку. От этого содержимое выглядит прозрачным и бодрящим, точно вода из горного ручья. Я пью с жадностью.

Из вагона-ресторана лесенка ведет на крышу, где пассажиры, жаждущие полюбоваться горным пейзажем, наверняка заняли места, как только

поезд отбыл из Калгари. Опоздавшие поднимаются на несколько ступенек, вытягивают шеи и, не найдя мест, недовольные, уходят.

— Влезут наверх — и готовы неделю там торчать, — ворчит толстуха в тюрбане, оборачиваясь к веренице спускающихся вслед за ней, которые годятся ей во внуки. Ее тучная фигура загораживает весь проход. Мы — все, кто слышит, улыбаемся, словно громогласность этой расплывшейся бабули, исполненной наивной важности, заражает нас оптимизмом.

Мужчина, одиноко сидящий за столиком в конце вагона спиной к окну, с улыбкой поднимает на меня взгляд. Лицом он похож на какую-то кинозвезду из прошлой эпохи. Привлекателен по-старомодному: обаяние осознанное и целеустремленное, хотя и без напора. Дэна Эндрюс[37]. Что-то вроде. Горчичный цвет его костюма мне не очень приятен.

Он не делает попыток пересесть за мой столик, но нет-нет да на меня поглядывает. Когда я встаю и выхожу из вагона-ресторана, то чувствую, как он провожает меня взглядом. Интересно, пойдет ли он за мной. А если да? У меня нет для него

---

[37] Сноски: 37

Карвер Дэна Эндрюс (1909–1992) — американский киноактер.

времени, сейчас мне не до того. Обычно я была готова откликнуться едва ли не любому мужчине. И подростком — и позже, став молодой супругой. Всякий, кто заметил меня в толпе; учитель в классе, задержавший на мне глаза; незнакомец на вечеринке — все они могли преображаться в моих фантазиях наедине с собой в любовника, какого я искала всю жизнь — пылкого, умного, грубого, доброго, — и потом разыгрывать на пару со мной незамысловатые горячечно-счастливые эпизоды: есть ли кто, кому не знакомы такие фантазии? Позднее, после нескольких лет замужества, мои мечты сделались основательней. На вечеринках, в бюстгальтере пуш-ап, в черном платье на тонюсеньких лямочках, с взъерошенной итальянской стрижкой, я высматривала мужчину, который бы в меня влюбился и увлек за собой в страстный роман. Такое более или менее бывало. Видите, мой случай не так прост и очевиден, как можно подумать, судя по моему нынешнему горю и острому ощущению предательства. Все сложнее. Мужчины оставляли на мне следы, а я даже и не заботилась скрывать их от Хью: есть уголки моего тела, куда он никогда не заглядывал. Мне лгали, но я тоже лгала. Мужчины неистово восхищались моими

сосками, шрамом от аппендицита, родинками на спине, но, как им свойственно, порой говорили: «Не думай, что наши отношения что-то значат. Не держи это в голове» и даже «Я очень люблю свою жену». Постепенно я поставила на всем этом крест и стала тайком посещать психотерапевта, который внушал мне, что, заводя интрижки на стороне, я пытаюсь привлечь к себе внимание Хью. Он высказал мнение, что лучше добиваться этого иначе: лаской, творческим подходом, разнообразием сексуальных приемов. Я не могла с ним спорить — и не могла разделить его оптимизм. Мне казалось, он плохо разобрался в характере Хью, предположив, что иногда я получаю отказ только из-за неумения как следует попросить. Для меня же отказ есть отказ, он абсолютен и непреложен. Я не в силах была представить тактику, способную тут что-то изменить. Но кое в чем психотерапевт оказался довольно проницательным. Он пришел к выводу, что мое истинное желание — продолжать жить с мужем. Тут он прав: ни о какой альтернативе я и думать не могла, сама эта мысль была мне невыносима.

Поезд делает остановку в Филде, вблизи границы Британской Колумбии. Я спускаюсь и брожу

под жарким ветром вдоль путей.

— Приятно выйти ненадолго из поезда, правда?

Я с трудом его узнаю. Невысокого роста, какими, думаю, были нередко и те самые киношные красавцы. Его одежда и вправду горчичного цвета. Вернее, пиджак и брюки; расстегнутая рубашка — красная, туфли бордовые. Голос выдает человека, по роду занятий привыкшего постоянно общаться с публикой.

— Надеюсь, вы не против, если я спрошу: вы — Лев?

— Нет.

— Я спросил потому, что сам я — Овен. Овен обычно легко распознает Льва. Между этими знаками существует избирательное сродство.

— Увы.

— Мне показалось по вашему виду, что с вами было бы интересно поговорить.

Я возвращаюсь в вагон, запираюсь в купе и читаю журнал вплоть до рекламных объявлений о спиртных напитках и мужской обуви. Однако меня что-то грызет. Возможно, помимо сказанного, он ничего другого в виду не имел. Со мной и вправду интересно поговорить. Я ведь готова слушать все, что угодно. Наверное, умение

слушать других во мне развили статьи в журналах, которые я читала подростком: тогда меня завораживал любой заголовок со словом «популярность». Я и сама не рада, что так устроена. Но стоит мне оказаться лицом к лицу с человеком, который в чем-то фанатично убежден или у которого, как у большинства, есть какой-то пунктик, или же мне на голову попросту выливают нескончаемый поток путаных воспоминаний, меня охватывает такая растерянность, что я сижу и слушаю, словно парализованная. «Тебе надо было встать и уйти, — запоздало советовал мне Хью, — лично я так бы и поступил».

— Я спросил, не Лев ли вы, для затравки, лишь бы что-то сказать. А спросить вас хотел совсем о другом, только не знал, с какого конца зайти. Едва я вас увидел, как сразу понял, что мы уже встречались.

— Да нет, не думаю. Не думаю, что мы встречались.

— Я верю, что мы проживаем не одну жизнь.

Разнообразный жизненный опыт, условно говоря — несколько жизней в одной. Он об этом? Быть может, собирается оправдать свою супружескую неверность, если он, конечно, женат.

— Я твердо в это верю. Я и раньше уже рождал-

ся и умирал. Это правда.

Вот видишь? — обращаюсь я к Хью, мысленно начиная слагать для него историю об этом человеке. — *Их ко мне как магнитом тянет.*

— Вы слышали что-нибудь о розенкрейцерах?

— Это те, кто в своих рекламных объявлениях обещает научить «мастерству жизни»?

Ирония, кажется, пропадает впустую, но непочтительность мой собеседник улавливает. Тон его посуровел, в нем слышится наводящая скуку укоризна неофита.

— Шесть лет тому назад я сам наткнулся на одно такое объявление. Дела у меня шли хуже некуда. Брак распался. Пил сверх меры. Но это бы еще полбеды. Понимаете? Главная беда была не в этом. Я ничего не мог, только сидел на месте и размышлял: зачем я все еще здесь. Религия… ее я отбросил. Я уже сам не знал, есть такая вещь, как душа, или же ее нет. А если нет, то какого черта?.. Понимаете, о чем я?

Ну и отправил им письмо, получил в ответ кое-какую литературу и стал посещать их собрания. Когда пошел в первый раз, то боялся угодить на сборище помешанных. Не знал, чего ждать, понимаете? И как же был поражен, увидев, что́ там за люди. Влиятельные. Богатые. С дипломами.

Сплошь культурные, образованные, представители высшего общества. Нимало не чокнутые. Все, что они исповедуют, доказано научно.

Я не спорю.

— Сто сорок четыре года. Таков временной промежуток от начала одной жизни до начала следующей. Значит, если вы или я умираем, скажем, в семьдесят, то, получается, до нового рождения нашей души остается семьдесят четыре года.

— А вы помните?

— В смысле — о предыдущей жизни в следующей? Ну, вы сами прекрасно знаете: обычный человек ничего не помнит. Но как только ваше сознание раскрывается и вы отдаете себе в этом отчет, тогда воспоминания и всплывают. Сам я только об одной своей прошлой жизни знаю наверняка — в Испании и в Мексике. Я был конкистадором. Слышали о конкистадорах?

— Да.

— Интересная вещь: я всегда знал, что умею ездить верхом. Хотя ни разу в жизни не пробовал — откуда? Городской ребенок, денег дома вечно не хватало. Сроду не сидел в седле. И тем не менее знал, что могу. А потом, пару лет назад, на конференции розенкрейцеров в отеле

«Ванкувер», ко мне подошел один человек, постарше меня, из Калифорнии, и говорит: *Вы были там. Вы один из них*. Так и сказал, слово в слово. Я не понял, о чем речь. А он: *В Испании. Мы были вместе*. Он сказал: я один из тех, кто отправился в Мексику, он же — из тех, кто остался. Он узнал меня. И знаете, что самое странное? Еще когда он только наклонился ко мне, еще до того, как заговорил, мне померещилось, что на голове у него шляпа. Которой не было. Такая — с пером, ну вы понимаете. И мне почудилось, что волосы у него не седые и не коротко пострижены, а темные и длинные. И все это привиделось мне до того, как он со мной заговорил! Разве не удивительно?

Еще бы. Удивительно. Но я и раньше слышала разные удивительные признания. Например, кто-то рассказывал, что постоянно видит астральные тела — и не где-нибудь, а прямо у себя в спальне, под потолком; другой ежедневно сверяется с гороскопом; а кто-то в угоду нумерологии переменил имя и место жительства — чтобы численные значения букв, составляющих имя или адрес, ему благоприятствовали. Вот какими теориями руководствуются люди в наши дни. И я понимаю почему.

— Готов спорить на что угодно — вы тоже там были.

— В Испании?

— В Испании. Я сразу догадался, как только вас увидел. Вы были испанской сеньорой. Вероятно, тоже остались в Старом Свете. Этим и объясняется то, что я вижу. Когда я смотрю на вас — нет-нет, я ни в коем случае не хочу вас обидеть: вы очень привлекательная женщина, — вы мне представляетесь моложе вашего нынешнего возраста. Наверное, потому, что, когда я уехал из Испании, вам было всего двадцать лет — или чуть больше. И с тех пор я никогда вас не видел. Вы не сердитесь на меня за то, что я вам все это говорю?

— Нет. Напротив, очень приятно, если тебя так воспринимают.

— Знаете, я всегда чувствовал, что в жизни присутствует нечто большее. Я не материалист — я имею в виду, по своей природе. Потому не особенно и преуспел. Кстати, я агент по торговле недвижимостью. Вероятно, не слишком-то напрягаюсь, а без этого никак, если хочешь преуспеть. Неважно. У меня нет никого, кроме себя самого.

У меня тоже. У меня нет никого, кроме себя самой. И я не знаю, как мне быть. Как мне быть с этим человеком — разве что вставить его в рас-

сказ для Хью: этакая диковинка, анекдотичный случай. Хью хочется видеть жизнь под таким углом, он дорожит бесстрастием. Обнаженных чувств он избегает, как и обнаженной плоти.

— Ты любишь меня, любишь Маргарет, любишь нас обеих?

— Не знаю.

Хью читает газету. Когда я к нему обращаюсь, он неизменно что-то читает. Отвечает он вялым, измученным, еле слышным голосом. Капля крови, выжатая из камня.

— Мне с тобой развестись? Ты хочешь жениться на Маргарет?

— Не знаю.

Когда я аналогичный вопрос задала Маргарет, она вместо ответа умудрилась перевести разговор на керамические кружки, которые только что купила нам в подарок, и выразила надежду, что я, разъярившись, не выброшу их вон, потому как ей, Маргарет, если она сюда вселится, эти кружки пригодятся. Хью встретил ее тираду благодарной улыбкой. Раз мы способны шутить, то жизнь для нас еще не кончена. Как сказать.

Счастливейшую минуту нашего супружества я могу назвать без труда. Это было во время нашей поездки в Северный Мичиган, дети тогда еще

не подросли. Под пасмурным небом устроили дешевое празднество. Дети захотели покататься на миниатюрном поезде. А мы вдвоем пошли бродить и остановились перед клеткой, в которой сидел цыпленок. Надпись гласила, что цыпленок умеет играть на пианино. Мне захотелось послушать, как это он играет, и Хью бросил в ящик десятицентовик. Едва брякнула монетка, наверху приоткрылась дверца, на клавиши игрушечного пианино упало кукурузное зернышко, цыпленок клюнул по клавише — и раздался металлический звук. Я была возмущена таким обманом: надпись я почему-то поняла буквально — поверила, что цыпленок на самом деле *сыграет на пианино.* Но самое поразительное во всем этом то, что Хью бросил монетку, то есть проявил необычное для себя безрассудство. Это было признанием в любви, которое не идет в сравнение ни с какими другими его словами и поступками за все время нашего знакомства, включая минуты острого желания и благодарной радости. В этом его жесте было что-то ослепительно-прекрасное и неуловимое, вроде крохотной пташки с диковинной расцветкой: вот ты краем глаза заметил ее совсем близко — руку протянуть, но почему-то не решаешься повернуть голову и посмотреть

на нее в упор. В тот момент нашу взаимную заботу ничто не омрачало — в ней не было никакого расчета, а все наши распри забылись. Перед нами словно распахнулись ворота. Но мы в них не вошли.

Выбрать несчастнейшую минуту я не сумею. Все наши баталии сливаются воедино: по сути, мы без конца разыгрывали, как на сцене, одну и ту же ссору, разя друг друга (я — словами, Хью — молчанием) за то, что мы такие, как есть. Этого повода нам вполне хватало.

Хью — единственный человек на свете, чьи страдания я не прочь понаблюдать. Не прочь увидеть его сломленным — с бусинами пота на лице, чтобы я могла сказать: *Ну вот, видишь теперь, каково это, видишь?* Да. Он корчился бы от невыносимой боли — и тогда я слегка усмехнулась бы — довольной, ставящей последнюю точку усмешкой. Непременно усмехнулась бы.

— Едва я стал все это постигать, жизнь для меня словно бы началась заново.

В наши дни люди верят, что жизнь может начаться заново. Верят до гробовой доски. У каждого должно быть такое право, как же иначе? Начать жизнь заново с новым спутником, ведь о твоих прежних «я» знаешь только ты один:

кто же способен удержать тебя от такого шага? Великодушные люди распахивают двери настежь и на прощание благословляют. Почему бы нет? Раз это все равно случится.

Поезд миновал Ревелсток, горы постепенно становятся ниже. Вагон-ресторан пуст, и уже довольно давно: мы вдвоем с розенкрейцером. Официантки убрали со столов.

— Мне надо идти.

Он не пытается меня задержать.

— Очень приятно было с вами поговорить: надеюсь, вы не считаете меня сумасшедшим.

— Нет. Нет, нисколько.

Он вынимает из внутреннего кармана пиджака несколько брошюр:

— Может быть, полистаете на досуге.

Я благодарю.

Он встает и даже слегка кланяется мне, с благородной испанской галантностью.

В здание ванкуверского вокзала я вошла одна, с чемоданом в руке. Розенкрейцер куда-то пропал — исчез, будто я его выдумала. Возможно, до Ванкувера он не доехал; возможно, ранним промозглым утром сошел на станции одного из городков долины Фрейзер.

Никто меня не встречает, никто не знает о мо-

ем приезде. Внутри часть вокзала отгорожена, заколочена досками. Сейчас, в утренние часы пик, как и в вечерние, тут должно царить шумное оживление, но всюду глухо и пусто.

Двадцать один год назад, именно в этот час, меня встречал здесь Хью. Тогда действительно было шумно, вокруг толпились. Я приехала на запад, чтобы выйти за него замуж. В руках он держал букет и, увидев меня, уронил цветы на пол. В ту пору он хуже владел собой, хотя из него и тогда уже было слова не вытащить. Раскрасневшийся, до смешного серьезный, охваченный волнением, которое он стоически терпел, как тайный недуг. Когда я к нему прикасалась, ни один мускул у него не расслаблялся. Я чувствовала под рукой напряженные жилы у него на шее. Он закрывал глаза и упорно продолжал, сам по себе. Возможно, подсознательно он предвидел будущее: платья с вышивкой, восторги, измены. А я далеко не всегда проявляла доброту и терпение. Раздраженная тем, что он выронил из рук цветы; недовольная, оттого что наша встреча похожа на эпизод из комикса; наповал сраженная его невинностью — чуть ли не большей, чем моя собственная, — я не старалась получше скрыть свое разочарование. В нашем браке столько всяких

наслоений, просчетов, мстительных выходок, что добраться до дна наших невзгод никому уже не под силу.

Но тогда мы устремились навстречу друг другу, стиснули друг друга в объятиях и долго их не размыкали. Мы поломали все подобранные с пола цветы, мы вцепились друг в друга, как утопающие, всплывшие на поверхность моря и чудом спасенные. И не в последний раз. Такое случалось и позже, снова и снова, до бесконечности. И всегда заканчивалось одним и тем же просчетом.

О-ох!

Вокзальную тишину прорезает крик — реальный крик, рвущийся не изнутри меня. Вижу, как люди, услышав его, застыли на месте. Словно бы к нам вторгся кто-то обозленный, доведенный отчаянием до крайности. Все смотрят на двери, открытые на Хастингс-стрит, будто ожидают, что сейчас оттуда на них обрушится возмездие. Но в следующую минуту становится ясно, что кричит старик — старик, сидящий с другими стариками на скамейке в углу вокзала. Когда-то там было несколько скамеек, сейчас только одна: на ней сидят старики, которых замечают не больше, чем старые газеты. Старик встал на ноги — огласить пространство своим

криком, и в его крике не столько боль, сколько гнев и угроза. Крик стихает, старик оборачивается, шатаясь, пытается схватиться за воздух воздетыми руками с растопыренными пальцами, падает и корчится на полу. Другие старики — его соседи по скамейке — даже не шевельнулись, чтобы ему помочь. Ни один не поднялся с места, не посмотрел в его сторону: они продолжают читать газету или глядят себе под ноги. Старик на полу уже не корчится.

Он мертв, мне это ясно. К нему подходит человек в темном костюме — кто-то из вокзального начальства или просто служащий. Люди идут мимо со своим багажом, словно ничего не произошло. В ту сторону никто не смотрит. Иные, вроде меня, подходят ближе и замирают на месте, как будто это не упавший старик, а источник опасного излучения.

— Сердце, должно быть, прихватило.

— Инсульт.

— Умер?

— Наверняка. Смотрите — накрывают пиджаком.

Служащий стоит теперь в рубашке с короткими рукавами. Пиджак ему придется отнести в химчистку. Я с трудом поворачиваюсь, иду к выходу.

Кажется, будто уходить мне нельзя, словно крик умирающего человека — уже мертвого — чего-то от меня требует, хотя я и не знаю чего. Этим криком оттеснены на второй план и Хью, и Маргарет, и розенкрейцер, и я сама — все, кто жив. Все наши слова и чувства вдруг стали фальшивыми, малозначительными. Словно всех нас когда-то давным-давно завели и мы по инерции крутимся волчком, жужжим, шумим, однако стоит к нам прикоснуться — и мы замрем; наконец-то увидим друг друга, недвижные и безвредные. Это некий посыл — я правда верю в это, только не знаю, как объяснить.

Зимняя непогода
Перевод Наталии Роговской

Из окна бабушкиной спальни видны были железнодорожные пути, а за ними — широкая лента реки Ваванаш, петляющей в зарослях тростника. Стоял мороз: куда ни глянь — лед и нехоженый снег. Под вечер даже в ненастный зимний день облака нередко расступались, и можно было наблюдать яростный красный закат. Сибирь, да и только, недовольно ворчала бабушка, будто мы в глуши живем, в безлюдной пустыне. На самом деле вокруг были фермы и перелески, какая уж там пустыня? Просто сейчас все замело снегом, и ограды фермерских участков тоже.

Мести начало еще до полудня, когда мы сидели в школе на химии; мы следили, как вьюга за окном набирает силу, и мечтали, чтобы стихия перевернула привычный порядок вещей, — пусть будут заносы на дорогах, перебои с продовольствием, ночевки на матах в школьных коридорах. Я уже представляла себе, как я, раскрепостившись под воздействием кризисных обстоятельств — а для этого имелись бы все пред-

посылки: и отсутствие электричества, и мягкий свет свечей, и дружное пение (неплохой способ заглушить бешеное завывание ветра), — как я сижу, притулившись к мистеру Хармеру, учителю средних классов, на которого я поглядывала во время общих школьных собраний: мы с ним кутаемся в одно одеяло, и он обнимает меня, сперва просто по-дружески, чтобы согреть и успокоить, но потом, в полной тьме и неразберихе (свечи к тому времени уже догорят), все более настойчиво и пылко. До этого, увы, не дошло. Нас распустили раньше обычного, и школьные автобусы двинулись в путь с зажженными фарами, хотя час был еще далеко не поздний. Обычно я садилась в автобус до Уайтчерча и выходила у первого поворота на западном выезде из города, а оттуда шла пешком примерно три четверти мили до нашего дома за перелеском. Но в тот день, как случалось два-три раза за зиму, я решила заночевать у бабушки в городе.

В прихожей у бабушки кругом было дерево, до блеска отполированное, пахучее, гладкое, — уютно, словно ты очутился внутри ореховой скорлупы. В столовой горела желтая лампа. Уроки я делала (дома я себя этим не утруждала, там у меня для занятий не было ни места, ни вре-

мени) за обеденным столом, на котором тетя Мэдж расстилала газету, чтобы я не запачкала скатерть. Тетя Мэдж была бабушкина сестра, обе они уже овдовели.

Тетя Мэдж, как всегда, что-то утюжила (они гладили абсолютно все, от нижнего белья до кухонных прихваток), а бабушка готовила на ужин морковный пудинг. До чего приятно там пахло! Дома у нас все было совсем не так. Единственное теплое место — кухня, где стояла дровяная плита. Брат приносил дрова, и после него на линолеуме оставались лужи грязного талого снега. Я на него орала. Грязь и беспорядок неотступно нас преследовали. Маме то и дело требовалось отдохнуть, она ложилась на кушетку и начинала сетовать на жизнь. Я придиралась к ней при каждом удобном случае, а она говорила, что я еще узна́ю, как жестоки бывают дети, когда заведу собственных. Мы тогда зарабатывали продажей яиц — они стояли повсюду в больших корзинах, их нужно было отчищать от прилипшей соломы, и перьев, и куриного помета. Мне казалось, что запах курятника проникает в дом с обувью и одеждой и от него нет никакого спасения.

В столовой у бабушки висели две темные картины маслом. Их написала другая бабушкина

сестра, она довольно рано умерла. На одной картине был дом над рекой, на другой — собака с птицей в зубах. Моя мама однажды заметила, что по сравнению с собакой птица великовата.

— Если и так, то Тина ни при чем, — вступилась за покойную сестру бабушка. — Она ее срисовала из календаря.

— У Тины был талант, но когда она вышла замуж, то сразу бросила рисовать, — добавила тетя Мэдж с одобрением.

Там же, в столовой, стояла семейная фотография: бабушка и тетя Мэдж с родителями и сестрой — с той, которая умерла, и еще с одной, которая вышла за католика, а это немногим лучше, чем если бы она тоже умерла, хотя в конце концов родные с ее выбором смирились. Я никогда не обращала на эту фотографию особого внимания — стоит и стоит, но после того как бабушка умерла, а тетю Мэдж определили в дом для престарелых (где она живет и поныне, все живет и живет, неузнаваемая, не узнающая, полностью потерявшая себя, высохшая, как обезьянка, живет избавленная от всякой памяти и, вероятно, уже не способная страдать, не способная ничему удивляться, — абсолютно свободная), я забрала фотографию себе и никогда

с ней не расстаюсь.

Родители на снимке сидят. Мать строгая, без улыбки, в черном шелковом платье, с жидкими, расчесанными на прямой пробор волосами и поблекшими глазами навыкате. Отец еще видный, бородатый, приосанился, опирается рукой о колено, настоящий патриарх. Пожалуй, есть в нем что-то от ирландского позерства: мол, оцените, как я вжился в свою роль, хотя как не вжиться, если деваться уже некуда? По молодости лет он во всех кабаках был свой человек; и даже когда пошли дети, за ним тянулась слава выпивохи и кутилы. Но потом он оставил старые привычки, порвал с друзьями-приятелями, перевез семью сюда, на берега Гурона, и осел на земле. Эта семейная фотография — словно грамота за достижения: респектабельность, достаток, присмиревшая жена в черном шелковом платье, нарядные, статные дочери.

Хотя, если честно, наряды у дочерей — тихий ужас: на оборки и рюши материи не пожалели, а вид все равно деревенский. У всех, кроме тети Мэдж. На ней простое прилегающее платье с высоким горлом, черное с блестками. Видно, что одеваться она умеет, у нее врожденное чувство стиля; она стоит, чуть наклонив голо-

ву, без тени смущения улыбается в объектив. Она была рукодельница и наверняка сшила себе платье сама, отлично зная, что́ ей идет. Но скорее всего она и сестер обшивала — и как тогда прикажете это понимать? На бабушке нечто с пышными рукавами, широким бархатным воротником, а поверх подобие жилета с бархатной отделкой; на талии все вкривь и вкось. Кажется, будто одежда на ней с чужого плеча, и выражение лица соответствующее, — видно, что она не в своей тарелке, ей страшно неловко, она зарумянилась, пряча смущение под виноватой полуулыбкой. Она похожа на мальчишку-переростка; пышные волосы старательно зачесаны кверху, но того и гляди упадут на глаза. Однако на пальце у нее обручальное кольцо; мой отец тогда уже появился на свет. На тот момент она единственная была замужем — старшая и самая рослая из сестер.

За ужином бабушка спрашивает: «Как чувствует себя твоя мама?» — и в ту же секунду настроение у меня портится.

— Хорошо.

Я говорю неправду. Мама не может — и уже никогда не будет — чувствовать себя хорошо. У нее медленно прогрессирующая неизлечимая

болезнь.

— Бедняжка, — вздыхает тетя Мэдж.

— По телефону с ней говорить — сущая пытка, ничего не понять, — жалуется бабушка. — Такое впечатление, что чем хуже у нее с голосом, тем больше ее тянет поговорить.

Голосовые связки у мамы частично парализованы. Мне нередко приходится играть при ней роль переводчика, и каждый раз я сгораю от стыда.

— Представляю, как ей там, на отшибе, одиноко, — причитает тетя Мэдж. — Бедняжечка!

— Какая разница, где жить, — возражает бабушка, — если все равно тебя никто не понимает.

Затем бабушка требует от меня дать ей полный отчет о нашем житье-бытье. Белье выстирано? Высушено? А кто гладит? Кто печет? Кто чинит моему папаше носки? Бабушка жаждет помочь. Она готова что-нибудь нам испечь — только скажи: кексы, печенье, пирог (давно ли у нас пекся пирог?), а если нужно что залатать-заштопать, привози, все мигом будет сделано. И с глажкой то же самое. Вот как дороги от заносов расчистят, так она приедет к нам на денек помочь по дому.

Мысль о том, что мы нуждаемся в помощи, повергала меня в страшное смущение, и я всячески старалась ее отговорить. Перед ее набегом

мне пришлось бы затеять генеральную уборку, разобраться в кухонных шкафах, задвинуть под раковину или рассовать под кровати разный хлам — сковородку, которую мне все недосуг было отдраить, корзинку с одеждой, отложенной для починки, хотя я заверяла бабушку, что давно все сделано. Но мне никогда не удавалось довести уборку до конца: в шкафах снова возникал кавардак, позор всякий раз вылезал наружу, и становилось очевидно, до чего мы беспомощны, как катастрофически далеки от того идеала чистоты и порядка, правильного домоустройства, в который я, несмотря ни на что, тоже верила. Но одной веры было явно недостаточно. А краснеть мне пришлось бы не только за себя, но и за маму.

— Твоя мама больной человек, ей с домашними делами не справиться, — говорила бабушка таким тоном, словно сомневалась в способности моей мамы вообще справиться с чем бы то ни было.

Я старалась представлять ей только радужные отчеты. В прежние дни, когда маму иногда еще на что-то хватало, я докладывала, что мама заготовила на зиму несколько банок маринованной свеклы или что она разрезает пополам прохо-

дившиеся посредине простыни и сшивает целые края, чтобы простыни послужили подольше. Бабушка замечала мои усилия и насквозь видела фальшь нарисованной мною картины (даже если детали были верны); на все рассказы о маминых подвигах она только качала головой — надо же, кто бы мог подумать?

— Она теперь красит шкафчики на кухне, — сообщаю я.

Я не вру. Мама нашла себе новое занятие: принялась красить все шкафы в желтый цвет, а на ящиках и дверцах рисовала где цветочек, где рыбку, где парусник или флажок. Руки у нее тряслись, но какое-то короткое время она довольно сносно управлялась с кисточкой. Так что картинки получались неплохие. И все равно в них сквозило что-то резкое, угловатое, выдающее сверхусилия, которые требовались, чтобы преодолеть скованность мышц, — так проявлялась мамина болезнь на этой стадии. Про картинки я решила помалкивать, наперед зная, как бабушка к ним отнесется: глупое чудачество, лишний повод для огорчений. И бабушка, и тетя Мэдж, как большинство людей, были уверены, что в доме все должно выглядеть по возможности как у всех. Должна признать, некоторые мамины

идеи и их воплощение заставляли меня стать на сторону большинства.

Кстати, краску, кисти, скипидар и все прочее убирать приходилось мне, поскольку мама всегда работала до изнеможения и после могла только со стоном растянуться на кушетке.

— Вот-вот, — с досадой и в то же время с удовлетворением закивала бабушка. — Она будет заниматься всякой ерундой, хотя прекрасно знает, что потратит на это последние силы, вместо того чтобы сделать что-то полезное. Чем красить шкафчики, лучше бы твоему отцу обед сготовила.

Золотые слова.

После ужина я пошла прогуляться, невзирая на непогоду. Метель в городе меня не пугала: разве это метель? Ветру здесь негде разгуляться, дома со всех сторон, и жилые, и разные городские постройки. На улице я встретила одноклассницу, Бетти Госли, она тоже осталась в городе — у замужней сестры. Настроение у нас было приподнятое, оттого что мы в городе и можем вот так «выйти в свет», поучаствовать в вечерней городской жизни, а не сидеть у себя на ферме, глядя в окно, где только тьма, и холод, и метель, и поблизости никого и ничего. А в городе одна улица перетека-

ла в другую, и через каждые десять шагов горели фонари, здесь рукотворное начало пустило глубокие корни и принесло обильные плоды. На катке для керлинга люди играли в керлинг, на катке «Арена» катались на коньках, в кинотеатре «Лицей» смотрели кино, гоняли шары в бильярдной, сидели за столиками в двух городских кафе. Возраст, пол и отсутствие денег не позволяли нам на равных присоединиться к горожанам, но мы могли сколько угодно бродить по улицам, могли зайти в «Синюю сову», взять по стакану лимонной колы (самой дешевой), посидеть там, разглядывая входящих, и поболтать со знакомой официанткой. Мы с Бетти, мягко говоря, не принадлежали к кругу сильных мира сего и поэтому массу времени проводили как зеваки в зале суда и обсуждали чужие дела: перемывали косточки тем, кому повезло больше нас, пытались понять причины их падений и взлетов, выносили суровый приговор всем, кто не соответствовал нашим моральным стандартам. Мы заверяли друг друга, что даже за миллион долларов не согласились бы встречаться с Томом Д. или Джеком П. — на самом деле мы бы растаяли от счастья, если бы эти мальчики хотя бы раз заметили нас и обратились к нам по имени, не говоря про все остальное.

Мы судачили о знакомых девчонках, гадали, не забеременела ли та или эта. (На следующий год Бетти Госли сама забеременела от соседнего фермера с дефектом речи и стадом племенных коров, о котором в доверительных разговорах со мной она ни словечком не обмолвилась. Смущенная, но довольная собой, Бетти замкнулась и зажила вожделенной жизнью замужней женщины, а говорить могла исключительно про душ на кухне, постельное белье, детские одежки да тошноту по утрам, отчего мне было сразу и противно, и завидно.)

Мы прошли мимо дома, где жил мистер Хармер. Его окна были наверху. Там горел свет. Чем он занимается по вечерам? Он не принимал участия в городских развлечениях, его нельзя было увидеть ни в кино, ни на хоккейном матче. Честно сказать, в школе его недолюбливали. Потому я его и выбрала. Мне лестно было думать, что я не как все. Мне нравились его бесцветные редкие волосы, мягкие усики, узкие плечи под поношенным твидовым пиджаком с кожаными заплатами на локтях, его ехидные реплики — так он утверждал свой авторитет перед учениками, сознавая, что не может впечатлить их физической силой. Наш единственный разговор произошел

в городской библиотеке: он порекомендовал мне роман из жизни валлийских шахтеров. Роман мне не понравился, там ничего не было про секс, одни стачки и профсоюзы, одни мужчины.

И теперь, проходя мимо его дома с Бетти Госли, замедлив шаг под его окнами, я ничем не выдала свой сердечный интерес — наоборот, принялась высмеивать мистера Хармера, обзывать его слюнтяем и бирюком, намекать на какие-то грязные тайные страстишки, которым он предается в своих четырех стенах по вечерам. Бетти включилась в игру, правда не вполне понимая, с чего это я вдруг так разошлась: сколько можно? Тогда, чтобы подогреть ее интерес, я начала ее поддразнивать — сделала вид, будто знаю, что она сама к нему неравнодушна. Будто бы я своими глазами видела, как она вертела задом, когда шла вверх по лестнице, а он смотрел ей вслед. Вот сейчас залеплю снежком ему в окно, говорила я, пусть к тебе спустится. Поначалу мои фантазии ее позабавили, но скоро она стала ныть, что замерзла, не понимает, чего я от нее хочу, и в конце концов повернулась и решительно зашагала в сторону главной улицы, вынудив меня пойти следом.

И как же все это буйство, разнузданность, неуемное веселье, как все это было далеко от мо-

их тайных грез! А там были нежные встречи, целомудренные объятия, сладкое томление и священный огонь страсти, печальная красота неизбежной разлуки… словом, возвышенная романтическая любовь.

С мужем тете Мэдж повезло. Это был общеизвестный факт, о нем помнили и говорили, хотя в тогдашнем окружении обсуждать такие вещи вообще-то было не принято. (Да и в наши дни, если вы спросите, как поживают такие-то, в ответ услышите, что дела у них идут неплохо: купили второй автомобиль, приобрели посудомойку, — и отвечают вам так не из одного только естественного, воспитанного годами бедности уважения к материальным благам. Причина еще и в суеверной боязливости, в привычке избегать слов вроде *счастлив-несчастлив — удручен — убит горем.*)

Муж тети Мэдж держал ферму, работой себя не изнурял, зато интересовался политикой; он был человек нетерпимый, упрямый и очень занятный. Детей они не заводили, и ее чувство к нему сохранялось в неразбавленном виде. Она всегда хотела быть рядом с ним. Никогда не отказывалась съездить с ним в город или прокатиться по окрестностям, хотя всякий раз, садясь

в машину, всерьез рисковала жизнью. Водитель он был просто кошмарный, а в последние годы еще и наполовину слепой. Но она ни за что не пошла бы учиться водить, чтобы самой сесть за руль: так унизить мужа она не могла. Ее преданность ему была безгранична. Она могла бы служить образцом идеальной жены — и при этом не производила впечатления человека, который постоянно чем-то жертвует и от чего-то отрекается во имя долга (а идеал всегда предполагает нечто подобное). Манера держаться у нее была беспечная, нередко дерзкая, а потому достойным подражания примером добродетельной супруги она не слыла: все склонялись к тому, что она просто везучая, а может, малость чокнутая, кому как больше нравилось. После его смерти она утратила интерес к жизни и рассматривала свои последние годы как затянувшееся ожидание: она нерушимо и буквально веровала в Царствие Небесное, но хорошее воспитание не позволяло ей раскисать.

Бабушкин брак — тоже интересная история. По слухам, она вышла замуж за деда назло другому мужчине, в которого была влюблена и который ее чем-то страшно обидел. Я знаю это от мамы. Она любила рассказывать про всякие

трагедии, про самопожертвование и диковинные выверты судьбы. Ни тетя Мэдж, ни бабушка, само собой, об этом факте не упоминали. Но когда я стала старше, то обнаружила, что все вокруг всё знают. Тот, другой, никуда не уехал и по-прежнему жил в нашей округе. Он держал ферму и был женат уже в третий раз. Он состоял в родстве и с дедом, и с бабушкой и потому часто бывал у них в доме, а они бывали у него. По маминым словам, перед тем как сделать предложение своей третьей жене, он приехал повидаться с моей бабушкой. Она вышла к нему из кухни, и они долго ездили в его двуколке взад-вперед по проселку у всех на глазах. Зачем он приезжал — за советом, за разрешением? Мама не сомневалась, что он уговаривал ее бежать с ним. Вряд ли. В то время им обоим было уже под пятьдесят. Куда им было бежать? Кроме всего прочего, они были пресвитерианцы. Никто ни в чем не мог их обвинить. Жить по соседству и не иметь возможности быть вместе — и принять это как должное, отказаться друг от друга сознательно: на этом любовь может держаться долгие годы. И я уверена, что бабушку устроил бы именно такой выбор: рискованная, возвышающая душу, чуждая эгоизма страсть длиною в жизнь, так и оставшаяся

неутоленной, неизведанной. Чувство, в котором она никому, даже себе, не признавалась — кроме, пожалуй, одного случая… одного или двух, под давлением чрезвычайных обстоятельств. *И не будем больше никогда об этом говорить.*

Мой дед был не из тех, кто ропщет на судьбу. Он ценил одиночество, женился сравнительно поздно, в жены взял девушку, которая вышла за него назло другому, а почему, знал он один. Зимой он управлялся с делами рано, сноровки ему было не занимать. И садился за чтение. Он читал книги по экономике, по истории. Изучал эсперанто. По нескольку раз перечитал викторианские романы, в изобилии имевшиеся в домашней библиотеке. Прочитанное он ни с кем не обсуждал. В отличие от мужа тети Мэдж, дед свое мнение держал при себе. От людей он многого не ждал, и вообще его жизненные запросы были столь незначительны, что его невозможно было разочаровать. Кто знает? Пожалуй, только моя бабушка сумела разочаровать его в каком-то глубоко личном плане — и разочаровать так основательно, что он раз и навсегда оставил всякие попытки сближения и полностью ушел в себя.

Да и кому откуда знать, думаю я, пока пишу это, откуда мне самой знать то, что я якобы

знаю? Я уже не в первый раз использую этих людей — не всех, но некоторых — в своих литературных целях. Я рядила их в разные одежды, изменяла, переделывала, вертела так и сяк. Сейчас я действую иначе, я прикасаюсь к ним предельно осторожно и все-таки время от времени себя одергиваю, совесть моя неспокойна. Чего, собственно, я опасаюсь? Ведь я всего-навсего *рассказываю историю*, то есть делаю то же, что делалось всегда, — правда, аудитория у меня побольше. Бабушкину историю я знаю не только от мамы: ее рассказывали многие, на разный лад. Даже в узком мирке моего детства, где молчание ценилось на вес золота, без пересудов не обходилось. Люди обрастали историями и несли их с собой по жизни. И за моей бабушкой тянулась ее история, хотя говорить с ней об этом прямо никому бы в голову не пришло.

Но кроме фактов существует и другой план. Я пишу, что моя бабушка предпочла бы романтический вариант любви, то есть всю жизнь держалась бы, тайно и упорно, за губительную для нее самой романтику. Это ничем не подтверждается — она ничего подобного не говорила ни мне, ни другим при мне. И в то же время я это не выдумала, я верю в то, что пишу. Верю, несмот-

ря на отсутствие доказательств, и следовательно допускаю, что мы способны постигать истину иным путем, что мы связаны нитями, которые нельзя пощупать, но невозможно отрицать.

Буря разыгралась не на шутку, непогода растянулась на целую неделю. Однако на третий день, сидя в классе, я взглянула в окно и увидела, что ветер как будто стих, метель улеглась и в толще облаков наметился просвет. Я с облегчением подумала, что вечером смогу вернуться домой. После нескольких ночевок у бабушки наш дом всегда становился для меня намного притягательнее. Дома мне не надо было каждую минуту следить за тем, что и как я сказала или сделала. Мама часто ворчала, но в целом я была в доме главная. В конце концов, не она, а я грела на плите кастрюли с водой, каждую неделю приволакивала в кухню с веранды стиральную машину и устраивала большую стирку; я скоблила полы и без конца заваривала маме чай, не особенно стараясь скрыть свое недовольство. Поэтому я могла чертыхнуться, если вытряхивала в печку мусор с совка и часть просыпáла мимо; я могла безнаказанно заявлять, что замуж выходить не буду, а заведу любовника и стану предохраняться, потому что детей

не хочу (по правде говоря, в мечтах мне виделся идеальный брак, материально благополучный и в то же время страстный; мне даже представлялся пеньюар, который будет на мне, когда я рожу первенца и муж, он же любовник, придет поздравить меня в родильное отделение); я могла утверждать, что описывать в книгах секс — это нормально и что никаких неприличных слов вообще нет. Та бойкая на язык, скандальная особа, какой я представала дома, была так же далека от моего истинного «я», как и скрытная тихоня, какой я была в доме бабушки, но если исходить из того, что я в том и в другом случае только играла роль, то понятно, что в первой простора для самовыражения было куда больше. Эта роль приедалась мне не так быстро, вернее, не приедалась никогда.

А вот от чистоты и порядка устаешь довольно скоро. Отутюженные простыни, мягкие перины, душистое мыло. Я не раздумывая отдала бы все это за возможность бросить куртку где вздумается, выйти за дверь, не доложив, куда я направляюсь, читать задрав ноги — и хоть в духовку их засунуть, если пожелаю.

После школы я пошла предупредить бабушку и тетю Мэдж, что возвращаюсь домой. К этому

времени ветер снова усилился. Я знала, что на дорогах будут снежные заносы, буря еще не совсем утихла. Но мне не терпелось попасть домой. Когда я открыла дверь, и на меня пахнуло горячим яблочным пирогом, и я услышала старушечьи голоса (тетя Мэдж всегда встречала меня вопросом: «Кто это к нам идет?» — как маленькую девочку), я поняла, что не в силах больше выносить все это — образцовый порядок, обходительность, вечное ожидание. Все их время было занято ожиданием. Они ждали, когда принесут почту, когда пора будет ужинать, когда ложиться спать. Казалось, ожиданием скорее должна была бы определяться жизнь моей мамы, но нет — ничего подобного. Больная, увечная, она без сил лежала на кушетке, но в голове у нее роились самые невероятные планы и фантазии, рождались несбыточные желания, возникали пустяшные поводы для ссоры — это помогало ей жить. В доме всегда царил хаос и дел было невпроворот. Отчистить от грязи яйца, принести дров, следить за печкой, чтобы огонь не потух, приготовить еду, прибраться. Я вечно спешила, вспоминала одно, забывала другое — и наконец после ужина усаживалась посреди домашнего разгрома и, пока на плите грелась вода для посуды, с головой

погружалась в очередную библиотечную книгу.

Книги тоже читались по-разному дома и у бабушки. У бабушки книги были отодвинуты на задний план. Что-то в само́м воздухе противилось им, сдерживало, не выпускало на свободу. Для них не находилось места. Дома, несмотря на все, что там творилось, места хватало для всего.

— Я ужинать не буду, — объявила я, — поеду домой.

Пока что я разделась и села к столу. Бабушка разливала чай.

— Куда ты поедешь, вон что творится! — строго возразила она. — Беспокоишься, что вся работа в доме встала? Боишься, без тебя не управятся?

— Да нет, просто мне надо домой. Ветер уже не такой сильный. Снегоуборочные машины, наверно, работают.

— На шоссе, может быть, и работают. А на вашу дорогу технику ни в жизнь не пошлют.

(Разумеется, мы жили в самом неудачном месте — это была наша ошибка, одна из многих.)

— Ее мой пирог испугал, вот в чем дело! — в шутливом отчаянии всплеснула руками тетя Мэдж. — Она просто-напросто решила спастись бегством от моего пирога.

— Очень может быть, — подтвердила я.

— Съешь хоть кусочек перед дорогой. Погоди только, остынет чуток.

— Никуда она не пойдет, — сказала бабушка, пока еще без нажима. — Кто отпустит ее пешком в такую метель?

— Да нет никакой метели! — сказала я, с надеждой бросив взгляд на окно, сплошь затянутое белой пеленой.

Бабушка поставила свою чашку, и она забрякала по блюдцу.

— Ладно. Ступай. Хватит разговоров. Иди, раз тебе надо. Иди замерзай в сугробе!

На моей памяти не было случая, чтобы бабушка потеряла самообладание, такое мне и в голову прийти не могло. Теперь мне это странно, однако я действительно ни разу не слышала обиды или гнева в ее голосе и не видела на лице. Она всегда высказывалась сдержанно, сохраняя общее невозмутимое спокойствие. Ее суждения носили скорее безличный характер, больше выражали общепринятый, традиционный взгляд на вещи, чем ее собственный взгляд. И сейчас ее отказ от всегдашних принципов просто потряс меня. У нее в голосе были слезы. И слезы стояли у нее в глазах, а потом ручьями полились по ли-

цу. Она плакала, она была в ярости и плакала от бессилия.

— Что смотришь? Ступай. Иди замерзай в сугробе, вон как бедная Сюзи Хеферман замерзла.

— О господи, — запричитала тетя Мэдж, — это правда. Чистая правда.

— Бедная Сюзи, вот каково жить одной, — сказала бабушка, глядя на меня с укоризной, будто я в чем-то провинилась.

— Ты ее не знаешь, детка, мы с ней раньше жили по соседству, в школе вместе учились, — поспешила успокоить меня тетя Мэдж. — Сюзи Хеферман, она потом стала миссис Белл. Вышла за Гершома Белла. Ну, для нас-то она по-прежнему Сюзи Хеферман.

— Сам Гершом в прошлом году умер, а обе дочери повыходили замуж и уехали, — продолжила бабушка, промокая глаза и нос чистым платочком, который она достала из рукава; она немного успокоилась, но смотрела все так же сердито. — Бедной Сюзи хочешь не хочешь нужно было самой ходить за коровами. Не хотела избавляться от скотины, надеялась одна управиться со всем хозяйством. Вот и вчера вечером пошла в хлев доить, нет бы бельевую веревку привязать к двери, так нет, на обратном пути сбилась с тро-

пинки — и только сегодня ее нашли.

— Нам Алекс Битти позвонил, — сказала тетя Мэдж. — Он был с теми, кто ее нашел. Расстроился, конечно.

— Она насмерть замерзла? — глупо спросила я.

— Вряд ли можно человека разморозить обратно, — проворчала бабушка, — если он пролежал в сугробе всю ночь, при такой-то погоде! — Плакать она перестала.

— Бедная Сюзи! Подумать страшно — от хлева до дома не добраться! — подхватила тетя Мэдж. — Не надо ей было цепляться за этих коров. Да ведь она считала, что как-нибудь справится. А у самой нога больная. Думаю, нога ее и подвела.

— Ужас, — поежилась я. — Лучше я никуда не пойду.

— Иди, если хочешь, — вскинулась бабушка.

— Нет уж, останусь.

— Никогда не знаешь, что с кем может приключиться, — подытожила тетя Мэдж.

Она тоже всплакнула, но у нее, по сравнению с бабушкой, это выглядело более естественно: просто глаза слегка на мокром месте. И кажется, ей полегчало.

— Кто мог подумать, что Сюзи ждет такой конец, она ведь по возрасту ближе ко мне,

чем к твоей бабушке, а какая плясунья была! Помню, говорила, что готова хоть двадцать миль трястись на санях, лишь бы потанцевать. Мы с ней один раз платьями поменялись, просто для смеху. Знать бы тогда, как все обернется!

— Никто наперед не знает. Да к чему и знать? — сказала бабушка.

За ужином я наелась вволю. О Сюзи Хеферман уже не вспоминали.

Теперь я понимаю гораздо больше, чем раньше, только какой в этом прок? Я понимаю, что тетя Мэдж могла сочувствовать моей маме, потому что и до ее болезни воспринимала ее как не вполне здорового человека. Все, что выходило за рамки обычного, она попросту рассматривала как признак нездоровья. А бабушка видела в мамином поведении только пример того, как не следует жить. Бабушка вышколила себя, годами не давала себе спуску, назубок выучила, как себя вести и что говорить; она рано усвоила, как важно — и как трудно — уметь смириться, она к этому стремилась и этого достигла. Тетя Мэдж ничего такого не сознавала. Возможно, бабушка чувствовала в моей маме скрытую угрозу всем своим принципам, возможно, могла даже понять — каким-то шестым чувством, в чем она ни за что

не призналась бы, — те мамины чудачества, которые она так успешно, хотя и не впрямую высмеивала и порицала.

Теперь я понимаю, что моя бабушка, оплакивая гневными слезами судьбу Сюзи Хеферман, оплакивала и свою собственную, что она знала, почему я так стремлюсь домой. Знала, но не могла понять, каким образом это произошло, и могла ли ее жизнь сложиться иначе, и как вышло, что она сама, когда-то жестоко обманутая в своих надеждах, но не сломившаяся, превратилась в обыкновенную старуху, которой родственники вынуждены потакать, но которой никогда не скажут правду и от которой мечтают поскорей избавиться.

Поминки
Перевод Андрея Степанова

Когда Эйлин проснулась, было уже совсем светло. Возле кровати стояла Джун с подносом в руках. На подносе — кофейник, сливки, сахар и тосты из пшеничного хлеба домашней выпечки.

— О господи! Это мне следовало сделать!

— Что — это?

— Ну, принести тебе кофе в постель. Я же рано проснулась. Просто лежала и ждала. Ждала, когда солнце взойдет.

Эйлин не стала рассказывать, что не спала всю ночь. Или почти всю ночь. Матрас казался слишком жестким, простыни слишком гладкими, а сама она — каким-то ненужным и чужеродным приложением к ним.

— И как ты только живешь без часов? — сказала Джун, ставя поднос на столик. — Впрочем, хорошо, что ты не встала и не начала тут хозяйничать. Ты бы все равно не справилась с кофемолкой.

Ну да, про это Эйлин забыла. Они же пьют свой

особенный кофе. Покупают несколько видов зерен в магазине импортных товаров в центре города, потом перемалывают их и готовят особую смесь.

— В любом случае мне надо было встать пораньше, — добавила Джун. — Дел еще невпроворот.

— Давай я тебе помогу.

— Будь добра, помоги мне сейчас: пей кофе и не высовывайся, пока я там не управлюсь с этой дикой оравой.

Джун имела в виду детей — всегда их так называла. Держалась она как обычно. Та же ясность суждений и то же отсутствие церемоний. Уже одета: оранжевые брюки и вышитая мексиканская блуза из небеленого хлопка. И выглядит как всегда. Светлые волосы зачесаны назад и перехвачены эластичной лентой, из-под которой на лоб выбиваются кудряшки. Просто лопается от энергии, уверенности в себе, деловитости — и трогательно, и жутко. Прямо какая-то жена миссионера. Румянец густо покрывает щеки и шею: после утраты, которую она понесла, он, похоже, стал даже ярче.

Теперь Эйлин понимала, как наивно было ждать, что сестра изменится: похудеет от горя, осунется, утратит прежнюю самоуверенность

или вообще перестанет говорить, замкнется. Но еще вчера вечером, когда они обнялись в аэропорту, Эйлин почувствовала, как тело Джун дрожит от скрытой энергии. А как только она начать бормотать слова соболезнования, сестра прервала ее — нетерпеливо, настойчиво, чуть ли не победоносно:

— Ну и ветрило, а? Представляю, какой жуткий был полет!

Младших Джун отправила в школу. У них с Эвартом было семеро детей. Семеро — вместе с Дугласом. Родилось подряд пять мальчиков, и тогда Джун и Эварт усыновили двух девочек: одну чистокровную индианку, другую — полукровку. Младшая еще ходила в садик, а Дугласу уже исполнилось семнадцать.

До Эйлин доносился голос сестры — та говорила по телефону:

— Не хочется подавлять чужие чувства, но искусственно их подогревать я бы тоже не стала. Понимаешь, что я имею в виду? Ну да. Это их обычный круг общения. Я думаю, им лучше не приезжать, но если нужно — пожалуйста. Надо же дать им возможность выразить соболезнования. Если они хотят их выразить. Да. Совершенно верно. Да. Спасибо. Спасибо боль-

шое.

Затем она позвонила заказать новую кофеварку.

— Когда покупала у вас машину на тридцать чашек, то так и знала: надо брать на пятьдесят, рано или поздно понадобится, не раз могла в этом убедиться. Нет, нет. Нет, все уже решено. Нет, я предпочитаю именно эту модель. Тысяча благодарностей.

Потом она позвонила нескольким знакомым — спросила, не надо ли их подвезти на похороны и на так называемую поминальную службу. Затем позвонила другим знакомым — узнать, не подвезут ли они тех, у кого сложности с транспортом. После этого перезвонила первым и растолковала, где и когда их заберут. Эйлин к этому моменту была уже на ногах: одевалась, ходила туда-сюда между ванной и спальней. Снизу, из комнаты для игр, доносились звуки рок-музыки, включенной необыкновенно тихо — должно быть, из почтения к происходящему. Там, видимо, собрались старшие дети. Интересно, а где Эварт?.. Ей казалось, что многие приготовления, которые делает сестра, совершенно лишние. По крайней мере, Джун не обязательно этим заниматься. Гости и сами договорились бы

о транспорте. Эйлин покоробил даже тон, каким Джун разговаривала по телефону. «Доброе утро, привет! Привет, это Джун!» Таким деловито-жизнерадостным голоском. Разве не чувствуется в этой жизнерадостности желания кому-то что-то доказать, не дать прорваться настоящим чувствам? Или ей хочется, чтобы все ею восхищались? А почему бы и нет? Если ей это поможет. Что угодно, лишь бы помогло.

И все-таки Эйлин не нравился этот тон, он ее обескураживал.

Она вымыла на кухне свою чашку и тарелку. Больше никакой посуды там не наблюдалось. В четверть десятого утра кухня сияла, как на рекламной фотографии. Тарелки отыскались в посудомоечной машине — про нее Эйлин сначала забыла. Сама она жила в другом городе в старом съемном доме. Жила одна: с мужем развелась, а единственная дочь болталась где-то в Европе. Посудомоечной машины у нее не было и пользоваться ею она не умела.

На тарелке оставались корки от тостов, и Эйлин их доела, потому что не могла понять, в какое из мусорных ведер их следовало выкинуть. Ей, наверное, понадобится целый день, чтобы попривыкнуть к здешним порядкам. Только вче-

ра вечером она узнала о существовании новой, очень сложной системы разделения мусора в целях переработки.

— Надо будет и мне перейти на такую систему, — сказала Эйлин.

— А ты до сих пор не перешла? — подняла брови сестра.

Эйлин готова была честно признать: в сравнении с Джун она жила безответственно. Лень заставляла ее сбрасывать весь мусор в одно ведро. Буфет у нее хоть и был снаружи чистый, но внутри царил хаос. Однажды они с Джун чуть не поссорились из-за коричневых бумажных пакетов. Эйлин совала их в ящик буфета не глядя, а Джун аккуратно разглаживала, складывала и утрамбовывала. Вместимость ящика значительно увеличивалась, и вынимать оттуда пакеты становилось гораздо легче и удобнее. Под конец сестры, так и не придя к согласию, натянуто рассмеялись.

— Я только про то, что так *легче*, — сказала Джун. — Удобнее. Это же в конечном итоге экономит твое время.

— У тебя просто мания, — ответила Эйлин. От отчаяния она пыталась обратить против Джун ее же собственную манеру говорить и спо-

рить, с безапелляционным видом пуская в ход хлесткие выражения. — Страсть к порядку — это следствие анальной перверсии. Ты меня удивляешь.

Но она и сама старалась соблюдать порядок. По крайней мере, когда бывала на кухне у Джун. Пыталась соответствовать всем ее очень логичным, но не всегда предсказуемым правилам. И всегда ошибалась. Если Эварт обнаруживал ее оплошность, например не туда положенную вещь, то он только молча постукивал ее пальцами по руке повыше локтя — с видом соучастника и в то же время как бы извиняясь, а затем одним быстрым, чуть заметным движением перемещал вещь на ее законное место. По этой пантомиме, в которой проявлялась его доброта и забота о ней, Эйлин понимала: у них в доме подобный проступок — дело совсем не шуточное, он может вызвать у Джун целую бурю гнева. В этом доме остро чувствовалась весомость предметов. Вещи словно предъявляли какие-то требования, настаивали на тонких различиях, которые в других домах игнорировались. Здесь царила особая этика, диктовавшая, как следует приобретать и как использовать вещи, этика консюмеризма. Эйлин же вечно не хватало денег,

и потому она могла позволить себе быть расточительной, неряшливой и довольной жизнью. А Джун и Эварт, у которых денег было завались, к любой покупке подходили более чем серьезно. Ими не просто руководило убеждение, что следует брать все самое лучшее — только практичные, надежные и безусловно подлинные вещи, — то есть ответственность перед самими собой; нет, они еще, по их собственному выражению, осознавали ответственность перед обществом. Те, кто не читает «Консьюмер рипортс», вероятно, казались им такими же безответственными, как те, кто не ходит на выборы.

Труднее всего им давались покупки, не имеющие практического назначения, — картины и другие украшения для дома. В конце концов они решили эту проблему, остановившись на изделиях эскимосов — резных фигурках и рисунках на ткани, а также на индейских пепельницах, плошках и домотканых ковриках. Кроме того, они купили несколько серых ноздреватых глиняных горшков — их делал бывший заключенный, которому после освобождения унитарианская церковь платила деньги, чтобы он занимался гончарным ремеслом. Во всех этих предметах заключалась некая моральная ценность, а кроме

того, они не так уж плохо смотрелись в гостиной. Над камином висела пара ритуальных масок индейцев племени квакиутль, — этими масками с тяжелым, застывшим выражением свирепой злобы обычно все восхищались. Эйлин же всегда хотелось спросить: ну для чего вешать такое в гостиной? В последнее время она вдруг осознала, что сделалась неприятно привередлива по части некоторых вещей — одежды, например, или украшений. Захотелось избавиться от подделок и перестать использовать изготовленные для серьезных целей предметы в качестве игрушек. Перестать унижать вещи, превращая их в модные штучки. Несбыточные желания! Она и сама не без греха. А Эварт и Джун, кстати, вовсе не думали кого-то унижать или над кем-то насмехаться, когда вешали маски: они искренне восхищаются искусством индейцев. Только и слышишь: «Смотри, какая злющая рожа! Ну правда прелесть?» У самой Эйлин в гостиной висят какие-то мутные акварели с изображением цветов и стоит целая коллекция разрозненной подержанной мебели. И что, разве такое убожество, такое отсутствие стиля лучше, чем выставка индейских масок и щербатых каменных богинь плодородия?

В дверь заглянул Эварт — прямо из гаража, в рабочей одежде. Волосы у него отросли так, что полностью закрывали уши.

— Хочешь посмотреть мой японский сад? — спросил он у Эйлин. — Я как раз там занимаюсь кустами. Когда все зацветет, будет такая красота — глаз не оторвать.

Говорил он весело, но Эйлин, стоя рядом, чувствовала идущий от него запах — несвежее, тяжелое, бессонное дыхание, которое он пытался, но так и не сумел заглушить полосканием для рта.

— Конечно хочу!

Она прошла за ним через гараж в сад. День был обычный для февраля — влажный и облачный.

— Могло бы уже и солнышко показаться, — заметил Эварт.

Он придерживал ветки, чтобы они не хлестнули ее, а перед выходом на лужайку предупредил, что спуск скользкий, — в общем, держал себя таким же гостеприимным и заботливым хозяином, как всегда. Богатство сделало его вежливым сверх всякой меры, молчаливым, уступчивым и загадочным. Когда Джун познакомилась с ним в университете (обе сестры, получив пособие, поступили в местный университет), он не имел

друзей и казался одиноким. Джун взялась за него с тем же рвением, с каким потом хлопотала о студентах из Африки, наркоманах, заключенных и индейских детях. Она стала таскать его за собой на вечеринки, и там он быстро нашел свою роль: подавал напитки, помогал хозяину и хозяйке, успокаивал соседей, а иногда и полицию, провожал в ванную тех, кто перебрал, выслушивал жалобы девиц, с которыми плохо обошлись их кавалеры. Джун говорила, что знакомит его с жизнью. Она считала его ущербным, почти инвалидом: его фамилия и деньги в ее глазах были таким же несчастьем, как лиловое родимое пятно на лице или деформированная стопа. Никто не думал, что она собирается за него замуж, да она и сама не думала. Эйлин казалось, что сестра пришла к такой мысли далеко не сразу. Джун, правда, привозила Эварта в родительский дом, но это укладывалось в программу знакомства с жизнью.

Эйлин, Джун и их мать тогда еще жили в квартире на втором этаже дома по Бекер-стрит, позади парикмахерской. В комнатах было темно, но имелись и плюсы. Из парикмахерской тянуло свежими запахами мыла и мужского одеколона. По вечерам в квартиру проникали вспышки

розовых лампочек из кафе на углу. У матери на обоих глазах была катаракта. Она лежала на диване — величественная даже в такой позе — и раздавала указания. То стакан воды ей подай, то пилюли, то чай. То сними с нее одеяло, то подоткни его. То причеши ей волосы, то заплети косички. А то вдруг она требовала позвонить на радио и отругать дикторов за вульгарную, жаргонную и неграмотную речь. Или посылала в парикмахерскую или бакалейную лавку — высказать претензии хозяевам. Она желала, чтобы старые подруги и приятельницы получали отчеты об ее ухудшающемся здоровье и объясняли, почему не приезжают ее повидать. Вот в такую обстановку Джун и привезла Эварта: посадила его в комнате и заставила слушать. Джун в университете стала специализироваться по психологии, надеясь с помощью этой науки решить проблемы с матерью, а Эйлин для решения тех же проблем выбрала английскую литературу. Усилия Джун приводили к реальным результатам, а Эйлин только утешалась чтением книг, в которых изображались безумные матери, но применить свои знания на практике не умела. Джун представляла мать приятелям без всяких оговорок и извинений, хотя до и после знакомства подроб-

но обсуждала с ними ситуацию. У приятелей возникало ощущение, будто им оказана великая честь. Эварту приходилось выслушивать в исполнении матери длинные, скучные, путаные и попросту лживые истории про их семейство, которое якобы состоит в родстве с Артуром Мейеном, бывшим премьер-министром Канады. Джун объясняла своему подопечному, что тому выпала редкая возможность непосредственно познакомиться с иллюзиями, которые внушает людям определенного темперамента современная тупиковая социально-экономическая ситуация. (Она моментально освоила научный жаргон и потом успешно пользовалась им всю жизнь.) На Эйлин производили большое впечатление те преимущества, которые сестра извлекла из своего образования, ее независимый ученый тон.

— Мне вообще легче, потому что я вторая дочь, — говорила ей Джун в присутствии других. — Я свободна от чувства вины. Вся вина лежит на Эйлин.

И, ощущая на себе доброжелательные, но пристальные взгляды будущих психологов и социологов, Эйлин, уже превратившаяся в серьезную угрюмую старшекурсницу, сгибалась под чувством вины. Она продолжала уныло посещать

напрасно выбранные, ненужные ей курсы по литературе. Не радовал и хмурый любовник (Хауи — за этого человека она потом вышла замуж, а позже развелась). В общем, Эйлин беспомощно металась туда-сюда, как летучая мышь при свете дня. И при этом диву давалась, глядя на сестру: как Джун сумела всего за год избавиться от своей подростковой пухлости, от полного неумения говорить, от наивности, зависимости, робости и чувства благодарности? Кто бы мог вообразить, что у нее откуда-то возьмется громкий смелый голос, румянец на щеках и нервное, вечно куда-то спешащее, всегда жаждущее новых ощущений тело? Кто бы мог представить, что она станет такой уверенной в себе? Всего пару лет назад Джун еще писала стихи, читала книги, которые уже прочла Эйлин, и, похоже, подумывала — не пойти ли по пути старшей сестры? Как бы не так.

То, что она не стала подражать старшей, оказалось в высшей степени разумно. Эйлин вышла замуж за Хауи, журналиста со странностями, который бросил ее с маленькой дочерью на руках. Джун же вышла за Эварта и принялась устраивать гнездо. Эйлин никак не могла наладить свою жизнь, она то продиралась сквозь кризисы, то отвлекалась на соблазны. Жизнь Джун, напротив,

была распланирована, выстроена, осознанна, эта жизнь была *полной*. Ничто не могло изменить ее целенаправленного движения. Никаких срывов, никакой хандры. Непредвиденные ситуации были только исключениями, подтверждающими общее правило.

Может быть, и теперь возникла такая «непредвиденная ситуация»?

— Вот смотри, это Дуглас помогал мне сажать на прошлой неделе, — сказал Эварт, указывая на низкорослый колючий куст.

Он произнес имя сына так же, как Джун, — самым обыденным тоном, без запинки. Впрочем, природная деликатность и неуверенность несколько смягчали его решимость, и она пугала не так, как железная твердость Джун. Он заговорил о японских садах. Рассказал, что некогда в Японии существовали строгие правила, регулирующие высоту камней, которыми выкладывали дорожки для прогулок. Для императора устанавливалась высота шесть дюймов, а для нижестоящих — пониже, в зависимости от ранга, вплоть до полутора дюймов для простолюдинов и женщин. Затем он пустил воду.

— Звук воды в японском саду не менее же важен, чем планировка. Вот здесь она должна

перелиться, смотри. Получится что-то вроде миниатюрного водопада, разделенного скалой. Все выполнено в определенном масштабе. Возникает удивительный эффект: если смотреть только сюда, и никуда больше, то через некоторое время покажется, будто ты глядишь на настоящий водопад и видишь реальный пейзаж.

Он принялся рассказывать о том, как подведена вода, — о системе подземных труб. Чем бы Эварт ни занимался, он всегда входил во все тонкости и пылал энтузиазмом. Казалось, он знает даже больше тех, кто посвятил подобному делу всю жизнь. Возможно, это происходило оттого, что у него самого не имелось такого важного занятия: ему не надо было зарабатывать на хлеб.

Значит, для них несчастье — только случай, непредвиденная ситуация? А почему бы и нет? Случай продемонстрировать и проверить те ценности, которыми мы живем. Эварт и Джун обязательно подчеркнули бы, что придерживаются определенных ценностей. *Почему бы и нет?* — думала Эйлин, слушая лекцию о трубах, а потом, когда эта тема исчерпалась, лекцию о кустах. А что, было бы лучше, если бы все глядели смерти в глаза, каждую минуту сознавая ее неотвратимость? Но без религии такое невозможно.

В том-то все и дело. Если представить, что ее дочь Марго… Эта мысль мелькнула у Эйлин, когда она узнала про смерть Дугласа: ее обдало ужасом — и сразу отпустило. Как если бы Дуглас навлек на себя молнию и тем дал другим детям возможность свободно вздохнуть, хотя и напомнил им об опасности небесного электричества. Марго может сесть в протекающую лодку или в самолет, который выберут угонщики, в автобус со сломанными тормозами. Может зайти в здание, где террористы заложили бомбы. Да, Марго рискует куда больше, чем Дуглас, живший дома с родителями. Но вот, надо же…

Он погиб в автокатастрофе. Три других мальчишки, ехавшие с ним в машине, отделались легкими травмами.

Пухлый мальчик. Сидя в самолете, Эйлин пыталась как следует припомнить Дугласа. Волосы белокурые, длинные, он перехватывал их ленточкой — прямо как его мать. Но увлечений своего длинноволосого поколения не разделял. Измененные состояния сознания, сверхчувственный опыт — все это было не его. Он тяготел к сиюминутному, материальному, интересовался наукой, полетами на Луну, спортом (правда, только как зритель), даже биржей. Был похож

на отца страстью к собирательству и педантичностью. Обожал все объяснять. Друзей у него было мало. Гулял один вокруг дома — замкнутый, неприступный, высокомерный, попивая диетическую кока-колу. У Эварта и Джун было принято заполнять выходные и праздники разными мероприятиями для всей семьи. У них имелась своя яхта. Они ходили в походы: поднимались в горы и спускались в пещеры. Катались на лыжах и коньках, а недавно приобрели еще и спортивные велосипеды с десятью скоростями. Эйлин думала, что Дуглас наверняка принимал во всем этом участие — попробуй уклонись, — хотя при его неуклюжей фигуре и склонности к домашней жизни… вряд ли все это было ему по душе. Он посещал экспериментальную школу, которая сильно зависела от финансовой поддержки его родителей. Там исповедовали свободу, там царил культ творческого усилия, — и все это тоже вряд ли было ему по вкусу. Впрочем, Эйлин могла только строить догадки. Сам Дуглас не подал бы виду. Он не был романтиком в душе и не стал бы разыгрывать из себя ни бунтаря, ни скептика.

Его отец присел, чтобы дотянуться до куста и показать ей разные виды игл. Он рассказывал

о требовательности этого растения, о составе почвы, о воде, об удобрениях. Неужели он за ней ухаживает? Вообще-то Эварта нельзя было назвать привлекательным мужчиной. Толстый зад, самодовольный вид. Нет, ничего хорошего, особенно со спины. Однажды Джун поведала Эйлин, что они с Эвартом ходили на порнофильмы вместе с другими семейными парами из «группы роста» при унитарианской церкви. Хотели получить свежий импульс. Эйлин потом рассказывала про это знакомым — иронизировала над сестрой, даже превратила это в дежурную шутку. Теперь ей казалось, что смеялась она зря. Не потому, что это нехорошо, как одно время она сама себя попрекала, а потому, что это свидетельствовало о ее полном непонимании. Серьезность Джун исключала шутки. У них тут была выработана система усвоения знаний, которая перемалывала все — и все обращала себе на пользу. Японские сады, порнофильмы, случайную смерть. Они ни от чего не отворачивались, все тщательно пережевывали, разлагали на составные части, перерабатывали и уничтожали.

После поминальной службы в дом приехало множество друзей семьи, соседей, а также приятелей детей. Эти последние расположились

внизу, в комнате для игр, напротив огромного камина. Многие из подростков называли себя друзьями Дугласа. Возможно, это так и было. Привезли с собой гитары, блок-флейты, свечи. Одна девушка явилась завернутая в лоскутное одеяло. Позвонив в дверь, она спросила чистым голоском:

— Скажите, тут проходят поминки?

На других были шали с бахромой, легкие длинные платья. Внешне они не так отличались от старших, как им бы хотелось. Молодежь зажгла внизу свечи: так и сидели там в полутьме, при камине и свечах. Жгли какие-то благовония. Пели и играли на инструментах. Запах, поднимавшийся наверх, отдавал марихуаной.

— Вот как они прощаются с Дугласом, — сказала длинноволосая, странно одетая женщина (тоже закутанная в шаль), склонившись вниз через перила. — Как мило, как трогательно!

Понравилась бы Дугласу эта затея — поминки? Он, скорее всего, ничего не сказал бы. Походил бы здесь немного из вежливости, а потом заперся в своей комнате и принялся изучать финансовый отдел в газете.

— Мне кажется, они там травку покуривают, — отозвался какой-то мужчина, встав у женщины

за спиной.

Та ничего не ответила и только слегка отстранилась, — Эйлин догадалась, что это муж. В отличие от жены, он был одет консервативно. Как человек, привычный к похоронам и знавший, в каком виде надо на них являться. В наше время часто встречаются такие пары: муж — серьезный, солидный, разве что позволит себе отпустить волосы подлиннее и отрастит скромные бакенбарды. В остальном ничего необычного: галстук, чистые манжеты. Выражение лица как бы слегка извиняющееся: мол, простите, у меня водятся деньги, и вес в обществе имеется, так уж получилось. А жена — сама беспечность, никакой косметики, ни намека на солидность, и одета как нищенка, для экзотики. Правда, иногда попадается и обратный вариант: жена — в пастельного цвета костюме, волосы завиты и уложены, в ушах сережки-гвоздики, зато муж — в вышитой бархатной безрукавке, с амулетами и крестами на волосатой груди.

Этот мужчина и Эйлин прошли в гостиную, где было уже полно самого разного народу. Шали и женские платья в «восточном» стиле, бесформенные хлопчатобумажные балахоны из узорчатых индийских тканей, обычные джинсы,

а рядом — пошитые у кутюрье дорогие костюмы. Еще пару лет назад не составляло труда отличить богатых друзей Эварта и Джун, жителей того же престижного района, от тех, с кем они познакомились в «группе развития». Теперь это стало невозможно. К тому же некоторые, вероятно, принадлежали к обеим группам.

Эварт ходил среди гостей, предлагая напитки. Джун оставалась в столовой, у столика с кофе и сэндвичами. Рулеты мясные и со спаржей — и когда она успела приготовить все это? И одета безупречно: длинное вязаное оранжево-золотое платье и очень подходящая к нему накидка — наверное, мексиканская или испанская. А вот серебристо-зеленые тени на веках явно были ошибкой — они выдавали что-то болезненное, ненадежное.

— Ну как ты, все в порядке? — спросила Джун. — Прости, не успеваю тебя со всеми познакомить. Ты уж справься как-нибудь сама, ладно?

— Ладно, — ответила Эйлин. — Я пью.

Она уже не спрашивала, чем помочь, и перестала искать себе тут дело. И в кухне, и в столовой было полно женщин, отлично знавших, где что лежит, но им тоже нечем было заняться: Джун все предусмотрела, все устроила, обо всем подумала.

Стены и высокий скошенный потолок в гостиной были обшиты теплым деревом. Ковер и занавески — тяжелые, мягкие, сливочного цвета. Эйлин отхлебывала водку. Занавески не были задернуты до конца, и в оконном стекле она видела собравшихся — странная толпа в непонятных нарядах на фоне сумерек, так что не поймешь, день или вечер, — переходящих с места на место, готовых пить и беседовать без конца. Видела и саму себя в темно-синем восточном платье, вышитом серебряными нитями, — по лицу можно догадаться о злых мыслях. Когда стемнело и пошел дождь, это только создало дополнительный фон для блестящего собрания. За окном было целое море огней — город, и полоска тьмы — вода.

— А вы знаете, где находитесь? — спросил у нее тот самый чужой муж, который говорил про травку. — Почти на вершине горы Холлиберн. А вон там Пойнт-Грей.

Он подвел ее поближе к окну и протянул руку в направлении моста Лайонз-гейт. Там вдали высилась тиара из движущихся огней.

— Обалденный вид, — сказал он.

Эйлин кивнула.

Он оказался соседом Джун: построил дом чуть выше на горе. Как многие богатые люди, он,

похоже, не мог понять, не промахнулся ли он с выбором, и переживал по этому поводу.

— Мы раньше жили в Северном Ванкувере, — рассказывал он. — И я долго сомневался: может, зря мы оттуда уехали? Так ли уж нужен нам этот вот вид? Там, где мы раньше жили, выглянешь в окно — увидишь склон горы, как раз этот, где мы сейчас, дальше мост, город, а в ясный день виден даже Ванкуверский остров. А на западе — закаты. Величественно. Но теперь мне и здешний вид нравится не меньше, уже не тянет возвращаться назад.

— Вам всегда нравятся виды? — спросила Эйлин.

— Нравятся ли мне виды? — повторил он, склонив голову.

По его лицу, по тому, как он сдвинул брови, было ясно: ему хочется, чтобы она с ним пококетничала.

— Ну, представьте, что вы в плохом настроении. У вас ведь может случиться плохое настроение? Поднимаетесь утром, а перед вами вот такой величественный вид. И так каждый день, никуда от него не деться. Разве не бывало у вас чувства, что вы не вполне, так сказать, соответствуете?

— Не соответствую?..

— Не бывало у вас чувства вины? За то, что вы хандрите, — объяснила Эйлин. — За то, что вы сегодня… не вполне достойны этого прекрасного вида.

Она отпила большой глоток. Ох, не надо было затевать этот разговор.

— Но ведь как только я посмотрю на этот прекрасный вид, — ответил мужчина и победоносно взглянул на нее, — так хандра сразу и улетучится. Этот вид на меня действует посильнее, чем выпивка. И сильнее, чем то, что они курят там внизу. Да и зачем мне какая-то хандра? Жизнь слишком коротка.

Последняя фраза напомнила обоим, что они все-таки не на праздничной вечеринке.

— Да, жизнь коротка. Никогда не знаешь, как все повернется… А сестра у вас потрясающая. И Эварт тоже молодец.

Эйлин спустилась вниз и налила себе еще бокал. Прошла мимо комнаты, где играли младшие дети. Игра называлась «Рыба». Она постояла в дверях, наблюдая за ними. Ее почему-то всегда смущали девочки-индианки, рядом с ними она чувствовала себя словно на скамье подсудимых. Такое чувство, впрочем, возникало, только когда поблизости находилась Джун. И сейчас Эйлин

как будто чувствовала, что сестра здесь, рядом: смотрит, слушает и прямо дрожит от желания обнаружить намек на предвзятое отношение. Кто теперь поверит, что Джун вместе с Эйлин когда-то бегали вокруг дома, распевая песню на ломаном английском — пародировали акцент китайской пары, хозяев лавочки с их улицы? Эйлин всматривалась в плоские смуглые лица девочек-индианок. Что они для Джун — знаки отличия, трофеи? Она смотрела на них, а видела Джун.

Эйлин зашла к себе в гостевую комнату, закрыла дверь и прилегла в темноте на кровать. Скрестила ноги, подоткнула поудобнее подушку. Бокал был все еще в руке, и она поставила его на живот. Вот и пришел тот момент, который она всегда переживала в гостях у сестры. И Дуглас не помешал, смерть не помешала. Эйлин почувствовала себя как будто парализованной, перестала владеть собой. В этом доме ее жизнь, тот путь, который она выбрала (если только она что-нибудь выбирала), вся она, наконец, выглядели совсем жалкими и никчемными. Да, надо признать: она жила наугад, потеряла массу времени зря, ничего не научилась делать как следует. И неважно, как все это выглядит,

когда она не здесь, вдали от этого дома. Неважно, в какие забавные истории она превращает свою жизнь, рассказывая о ней друзьям… Да что говорить, если она в такую минуту даже помочь ничем не сумела.

В самолете Эйлин думала, что испечет печенье к чаю. Словно это возможно — на кухне у Джун!

О том, что их отец погиб на фронте, им почему-то сообщили по телефону. Звонок раздался в десять или одиннадцать вечера. Мать испекла печенье к чаю и позвала Эйлин попробовать. Только Эйлин, не Джун — та была тогда совсем кроха. На столе стояло еще и варенье. Эйлин очень хотелось есть, но она боялась прикасаться к еде. Мать была непредсказуема и почти всегда опасна. Она то обижалась неизвестно на что, то начинала высказывать непонятные претензии. Но в тот день она ничего не требовала, держалась необыкновенно спокойно, даже как-то присмирела. Она не сказала Эйлин о случившемся. (Уже потом, утром, разбудила их, страшно бледная, театрально расцеловала и произнесла заранее отрепетированную фразу: «Папочки больше нет».) Много лет спустя Эйлин пробовала поговорить с Джун об этом ночном чаепитии с печеньем и о своем удивительном открытии:

оказывается, их мать могла быть тихой, ранимой, почти что — как же они тогда об этом мечтали! — обыкновенной женщиной. Джун ответила, что разобралась в этом вопросе.

— Да, много лет назад. С помощью гештальтпсихологии. Именно это помогло, гештальтпсихология. Я полностью с этим разобралась.

А я ни с чем не разобралась, — думала Эйлин. — *И я не верю, что все в мире происходит для того, чтобы с этим «разбираться».*

Люди умирают. Так устроено: мы страдаем, мы умираем. Их мать после долгих лет сумасшествия умерла от самой обычной пневмонии. Болезни и несчастные случаи. Их не надо объяснять, их надо просто принимать всерьез. А слова — они какие-то стыдные. Они ничего не способны объяснить.

Слова из книг пророков, звучавшие на поминальной службе, неприятно поразили слух Эйлин. Какая ложь, какое высокомерие, думала она. Ложь, конечно, ненамеренная и вполне соответствующая современным религиозным представлениям, но это не оправдание. Теперь же, на пьяную голову, она решила, что любые слова здесь были бы неуместны. *Ныне с верой и в надежде на воскресение и жизнь вечную…* В самих

словах нет фальши, фальшь только в том, что они произносятся в такой момент. Молчание — вот единственное, что нужно.

В прошлом и она, и Джун были более достойны размышлений, чем сейчас. И не были такими лицемерками. Ведь не были? И Эварт, и соседи, и все эти унитарианцы тоже. Когда-то нашим словам можно было доверять, мы говорили то, что думали, а теперь — совсем не то, хотя мы и знаем больше, чем раньше. Джун посещала «группу развития», обучалась йоге, занималась трансцендентальной медитацией. Погружалась — голая, вместе с другими — в теплое озеро на каком-то дорогом острове. А Эйлин все читала и читала и все болезненнее реагировала на пошлость во всех ее проявлениях. Казалось бы, жизнь сестер сложилась лучше, чем у их матери. Но что-то все равно не так. Единственное, чего еще можно ждать от жизни, — тех редких моментов, когда удается с головой погрузиться в реальность… Глаза Эйлин слипаются, она погружается в сон, но уже через несколько секунд испуганно вздрагивает, пробуждается. Пальцы сжимают бокал.

Чуть не пролила. Залила бы покрывало, ковер. Эйлин допила до дна и поставила бокал на тумбочку — и в ту же секунду снова провалилась

в сон.

Проснулась она все еще пьяной, не понимая, сколько времени проспала. В доме было тихо. Эйлин встала с намерением переодеться в ночную рубашку. Сперва зашла в ванную, так и не сняв своего темно-синего восточного платья. Затем на кухню — взглянуть на электронные часы. На кухне горел свет. Оказалось всего лишь четверть двенадцатого.

Эйлин выпила целый стакан холодной воды. Она знала по опыту, что это уменьшит неизбежную головную боль поутру. А если повезет, и совсем ее снимет. Затем вышла через боковую дверь в гараж: там можно было постоять, спрятавшись под навесом от дождя, и подышать воздухом. Дверь была открыта. Нетвердо ступая и держась за стену, она прошла мимо свернутых поливальных шлангов и висевших на гвоздях садовых инструментов. Услышала, что кто-то приближается, но не испугалась. Она была совсем пьяна. Ее не волновало, кто там ходит и что подумает, когда увидит ее здесь.

Это оказался Эварт: он тащил куда-то садовую лейку.

— Джун! — позвал он. — Джун, это ты? Ах, это ты, Эйлин. А я удивился, откуда тут Джун?

Она же приняла две таблетки снотворного.

— Что ты делаешь? — спросила Эйлин.

Голос был тоже пьяный — задиристый, хотя она вовсе не собиралась ни с кем ссориться.

— Поливаю.

— Так ведь дождь идет. Эварт, ты идиот!

— Дождя нет.

— Ну, значит, прошел. Он шел, когда мы были в гостиной, я видела.

— Надо полить новые кусты. В первое время они пьют очень много. Тут одного дождя маловато. Даже в первый день.

Он поставил лейку на пол и, обогнув машины, подошел к ней.

— Эйлин, иди-ка ты лучше в дом. Ты перебрала. Джун заходила к тебе в комнату и сказала, что ты спишь как мертвая.

А он ведь тоже пьян. Эйлин поняла это не по голосу и не по мимике, но по тяжести и тупому упорству, которые чувствовались в нем сейчас, когда он стоял прямо перед ней.

— Эйлин, ты плакала? Спасибо, я тронут.

Не по Дугласу. Она плакала, но не по Дугласу.

— Эйлин, ты очень помогла Джун тем, что приехала к нам.

— Я ничего не сделала. Хотела чем-нибудь по-

мочь, но не сумела.

— Неважно. Одно то, что ты здесь… Джун так тебя ценит…

— Правда? — спросила Эйлин, веря и не веря.

Эварт заставлял себя быть вежливым даже теперь, хотя оба они были пьяны.

— Она просто не может выразить то, что чувствует. Она кажется… ну, в общем, ты понимаешь. Иногда она выглядит… командиршей. Она и сама это знает. Но ей трудно измениться… Эйлин!

Эварт шагнул вперед и в два шага преодолел разделявшее их расстояние.

Эйлин была женщиной уступчивой, особенно если выпьет лишнего. Да и нельзя сказать, что объятие Эварта застало ее врасплох. Этого можно было ожидать, хотя она затруднилась бы ответить почему. Вероятно, мужчинам часто казалось, что к Эйлин — одинокой, переменчивой, иногда удивительно безвольной, а иногда живой и проворной — можно попробовать подкатиться. И она позволила ему, даже почти поощрила. Да и трудно было высвободиться, не проявив самую настоящую грубость. Даже если это не входило в ее планы, она их моментально поменяла и расширила, подумав, как обычно в такие мину-

ты: а почему бы и нет?

Женщин, которые так думают, считают апатичными, безвольными, пустыми, жалкими. Так считают другие женщины, и им вторят мужчины — те самые мужчины, которые во время совокупления выражают апатичным и жалким женщинам свое восхищение и безграничную благодарность. Эйлин все это хорошо знала. Она себя безвольной не считала, она просто очень легко возбуждалась. Правда, на этот раз выходило не очень: вряд ли она получит большое удовольствие от собственного зятя. А он тем временем потащил ее — причем неожиданно решительно и ловко — на заднее сиденье того автомобиля, который был побольше. Эйлин не просто подчинялась ему, но и помогала. Она почти всегда помогала мужчинам. Ей нравились их лица в такие моменты, нравилась их серьезность, почти молитвенная, их сосредоточенность на настоящем, на реальности.

Все, что она от него услышала, — это бесконечное повторение ее имени. Такое ей доводилось слышать и раньше. Что Эварт хотел сказать, повторяя ее имя, что́ для него Эйлин? Женщине остается только гадать. Зажатые не самым удобным образом на узком сиденье — одну ногу

пришлось закинуть за спинку так, что могла случиться судорога, — любовники не думали о том, что и зачем происходит, все размышления были отложены на потом. Но хотелось верить, что за происходящим таится какой-то скрытый смысл, — может быть, напрасно.

Позже Эйлин нашла ответ на вопрос, что она значила для Эварта. Сумбур — вот что. Она была противоположностью Джун. Для мужчины, который только что перенес сильнейший удар, который и любит, и боится свою жену, вполне естественно искать утешения с другой — ее прямой противоположностью. Встреча с такой женщиной для него — нечто вроде краткого восстановительного лечения. И Эйлин подходит как нельзя лучше: она не отличается ни целеустремленностью, ни ответственностью, она явилась оттуда же, откуда являются на свет несчастные случаи. Он переспал с ней, чтобы подчинить себя — ненадолго и без особого риска — той стихии, которая унесла жизнь его сына и о которой нельзя говорить в их доме. Сама же Эйлин, с ее начитанностью и способностями к анализу (отличного по материалу и направленности от того, которым занимается Джун, — хотя привычка все анализировать в конце концов

делает их похожими), впоследствии объяснит себе случившееся и все расставит по местам. Правда, так и не сможет решить, нашла ли она верное объяснение или все выдумала. Женское тело. До полового акта и во время него мужчины, похоже, наделяют женское тело некими особыми, только ему присущими качествами. Они произносят имя женщины так, словно оно указывает на нечто неповторимое, на то, что они всегда искали. А потом оказывается, что они передумали и эта истина должна быть всем очевидна: женские тела одинаковы. Просто женские тела.

Эйлин укладывала вещи. Сложила помятое, все в пятнах платье и сунула его на дно чемодана — поскорей, пока Джун, которая уже несколько раз прошла мимо ее двери, не заглянула в комнату. Они с Джун остались в доме одни. Все дети отправились в школу, а Эварт поехал в город, чтобы докупить тру́бы для своей водной системы. Джун должна была отвезти Эйлин в аэропорт.

Вот она вошла.

— Как жаль, что тебе приходится уезжать так скоро. Мы ничего не успели для тебя сделать, никуда не свозили. Может, останешься еще на пару деньков?

— Да я и не ждала, что вы свозите, — ответила

Эйлин.

Она уже успокоилась, смятение первого дня пребывания здесь прошло. Эйлин понимала: если остаться, Джун и впрямь начнет показывать город, несмотря на то что сестра уже все видела раньше. Наверняка повезет на канатную дорогу над парками, потом — к индейским тотемным столбам.

— Ты должна приехать еще раз и побыть у нас подольше, — сказала Джун.

— Жаль, что я не смогла помочь тебе, как я хотела, — ответила Эйлин.

Фраза вылетела сама собой, а потом как бы ухмыльнулась ей. Видимо, такой уж выдался день — даже сказать ничего толком не получается.

— Я всегда кладу вещей больше, чем нужно.

Джун присела на кровать.

— А знаешь, он не погиб в автокатастрофе, — сказала она вдруг.

— Не погиб?

— Я имею в виду: не погиб во время самой аварии. Она ведь была не страшная. Те ребята, которые с ним ехали, отделались царапинами. Он был в шоке, вероятно. Да, я думаю, он был в шоке, когда вылез после аварии вслед за други-

ми. Машина стояла на крутой обочине под очень странным углом. Влетела на склон и накренилась набок. Вот так…

Джун поставила одну ладонь — вытянутые пальцы слегка дрожали — на другую.

— Вот так, под углом, как бы под наклоном. На самом деле я не понимаю, как это произошло. Пытаюсь представить себе, но не получается. То есть не понимаю, что это был за угол и как машина могла так высоко забраться. Короче, она свалилась на него. Машина. Упала и убила его. Не знаю, где именно он стоял. А может, и не стоял. Может быть, он, не знаю, пытался отползти или подняться на ноги. Не могу представить, как это было. А ты можешь?

— Нет, — ответила Эйлин.

— Вот и я не могу.

— А кто тебе рассказал об этом?

— Один из мальчишек. Он… В общем, он рассказал своей матери, а та мне.

— Наверное, ей не стоило этого делать.

— Нет, — ответила Джун задумчиво. — Стоило. Лучше знать.

Эйлин видела лицо сестры в зеркале над комодом: голова повернута к ней в профиль и склонена вниз. Джун словно ждала чего-то, смущенная

своим признанием. А собственное лицо удивило Эйлин столь подходящим к этому моменту выражением тактичности и заботы. Ей было холодно, она устала, хотелось поскорей уехать. Даже протянуть руку получилось после большого усилия. Поступки, совершенные без веры, способны возвратить веру — вот во что следует верить. И она верила, со всей энергией, какую только могла отыскать в себе в эту минуту. Надо верить и надеяться, что это правда.

Долина Оттавы
Перевод Ирины Комаровой

Иногда я вспоминаю о маме в больших универсальных магазинах. Сама не знаю почему — ведь с ней я в таких магазинах не бывала. Просто мне кажется, что ей бы понравилась атмосфера деловой суеты, изобилие и разнообразие товаров. И разумеется, я вспоминаю о ней, если вижу на улице человека с симптомами болезни Паркинсона. И еще — в последнее время все чаще — когда гляжусь в зеркало. И конечно, на вокзале Юнион в Торонто, куда я впервые попала вместе с мамой и младшей сестренкой. Дело было летом, во время войны; в Торонто у нас была пересадка, и мы довольно долго должны были ждать следующего поезда. Мы все втроем ехали на мамину родину, в долину Оттавы[38].

Во время пересадки нас обещала приехать повидать мамина родственница, но она почему-то не приехала. «Наверно, не смогла отпроситься», — предположила мама. Она сидела

---

[38] Сноски: 38

Оттава — река в юго-восточной части провинции Онтарио; дала название столице Канады.

в кожаном кресле в тогдашней дамской комнате отдыха — стены там были обшиты темными деревянными панелями; теперь это помещение закрыто и вход наглухо забит досками. Мамина родственница служила секретаршей в какой-то юридической конторе, а по маминым словам — «занимала ответственный пост при главном партнере ведущей адвокатской фирмы города». Помню, она один раз приезжала к нам погостить, в большущей черной шляпе и черном костюме, с кроваво-красным лаком на ногтях и такой же губной помадой. Приезжала она одна, без мужа. Муж у нее был алкоголик. Моя мама не упускала случая упомянуть, что он алкоголик, — обычно сразу после слов о ведущей адвокатской фирме и о том, какой важный пост там занимает наша родственница. Эти факты соседствовали не случайно — они как бы уравновешивали друг друга, между ними прослеживалась неизбежная, почти зловещая связь. О каком-нибудь знакомом семействе мама могла сказать: у них есть все и даже больше, денег куры не клюют, а единственный сын — эпилептик. Или передавала слова родителей единственной знаменитости, вышедшей из нашего городка, — пианистки Мэри Ренвик: те якобы повторяли, что готовы променять всю

славу своей дочери на крохотные детские ручонки. *На детские ручонки?!* Счастье, в мамином представлении о мире, всегда бывало чем-нибудь омрачено.

Мы с сестренкой пошли побродить по вокзалу, похожему сразу и на городскую улицу — из-за ярко освещенных магазинчиков, — и на церковь, из-за высокого сводчатого потолка и огромных окон в противоположных концах зала. Казалось, что невидимые поезда гремят и грохочут прямо тут, за стеной, а откуда-то сверху гремел усиленный динамиком раскатистый голос, перечислявший разные пункты отправления и прибытия, только названий было все равно не разобрать. Я купила иллюстрированный журнал про кино, а сестренка — шоколадный батончик (мама дала нам немножко денег). Я хотела сказать сестренке: «Дай мне тоже откусить, а то я тебя назад к маме не отведу», — но она была потрясена размерами вокзала и понимала, что полностью зависит от меня, поэтому сама, не дожидаясь просьбы, отломила и протянула мне кусочек шоколадки.

В поезд на Оттаву мы сели ближе к концу дня. Вагон был весь забит военными. Сестренку маме пришлось взять к себе на колени. Один солдат — он сидел перед нами — повернулся и стал надо

мной подшучивать. Мне показалось, что он очень похож на Боба Хоупа[39]. Он спросил, из какого я города, а потом сказал: «Как там, второй этаж уже надстроили?»[40] И сказал он это без улыбки, с таким же непроницаемым видом и таким же нахальным тоном, как настоящий Боб Хоуп. Я подумала: может, он и взаправду Боб Хоуп, просто переоделся в военную форму, чтоб его не узнали, и едет куда-то по своим делам. Для меня в этом не было ничего невероятного. Мне вообще казалось, что за пределами нашего городка — а к тому времени мы уже довольно далеко от него отъехали, — всякие разные знаменитости живут как вольные птицы, путешествуют инкогнито и могут неожиданно возникнуть где угодно.

Тетя Доди встретила нас на станции. Уже стемнело, когда она посадила нас в машину и повезла к себе — жила она за много миль от города. Приземистая, с резкими чертами лица, она без умолку тараторила и каждую фразу сопровождала смешком. Автомобиль у нее был старый, с плоским

---

[39] Сноски: 39

Боб Хоуп (1903–1992) — американский эстрадный артист и киноактер, англичанин по происхождению; был знаменит своими короткими шутками (one-liners).

[40] Сноски: 40

Намек на то, что провинциальные города в Канаде и США долго оставались одноэтажными.

квадратным верхом и длинной подножкой.

— Ну-с, как там ее величество? Соизволила осчастливить вас своим присутствием?

Она имела в виду секретаршу из адвокатской фирмы, которая, между прочим, приходилась ей родной сестрой. С мамой они были двоюродные, так что тетя Доди была нам не родная тетка. А со своей собственной сестрой она была в ссоре, и они не общались.

— Нет, она не смогла прийти. Наверно, была занята, — ответила мама.

— Занята! — фыркнула тетя Доди. — Знаем мы ее занятия — куриный помет с башмаков соскребать! Что, не так?

Она рулила рывками, машина без конца подпрыгивала на промоинах и рытвинах. Мама обвела рукой окружавшую нас с обеих сторон темноту:

— Смотрите, дети! Дети, это долина Оттавы!

Вообще-то долины никакой не было. Поутру, проснувшись, я ожидала увидеть горы, на худой конец холмы, но перед глазами тянулись только поля и перелески, а под окном стояла тетя Доди и поила из ведра теленка. Теленок так нетерпеливо тыкался головой в ведро, что расплескивал молоко, а тетя Доди смеялась, пошлепывала его

и уговаривала не жадничать. И обзывала засранцем: «Ну ты смотри, какой засранец!»

Она была одета для дойки — во что-то бесформенное, многослойное и многоцветное, трепыхавшееся на ветру; в таких отрепьях могла бы выйти на сцену нищенка в школьном спектакле. На голову — неизвестно зачем — она нахлобучила старую мужскую шляпу с дырявой тульей.

Мамино воспитание не подготовило меня к тому, что мы окажемся в родстве с людьми, которые способны так одеваться или употреблять слова вроде «засранец». Мама всегда повторяла: «Я терпеть не могу грязь». Но тетю Доди она спокойно терпела. Говорила, что они росли вместе и всегда были как сестры. (Бернис, адвокатская секретарша, была старше на несколько лет и давно уехала из родительского дома.) И еще мама обычно добавляла, что в жизни у тети Доди случилась трагедия.

Дом у нее был очень бедный, прямо голый. Самый бедный из всех, где мне доводилось гостить. По сравнению с ним наш собственный дом (который я тоже считала бедным, потому что мы жили далеко от города, без водопровода и ватерклозета, и могли только мечтать о такой роскоши, как жалюзи на окнах) показался бы

вполне благоустроенным: у нас было пианино, много книг, приличный столовый сервиз и даже ковер — покупной, а не самодельный, какой можно связать крючком из лоскутков. А в доме у тети Доди, в самой большой комнате, не было ничего, кроме ветхого кресла, набитого конским волосом, и полки со старыми брошюрками из воскресной школы. Тетя Доди держала коров и продавала молоко. Возиться с обработкой земли, да еще в одиночку, смысла не имело. Каждое утро, закончив дойку и пропустив молоко через сепаратор, она загружала полные бидоны в свой грузовичок и ехала за семь миль на сыроварню. Жила она в постоянном страхе перед санитарным инспектором, который регулярно объезжал все фермы в окру́ге, обследовал коров и в любой момент мог выявить у них туберкулез — просто из вредности или в угоду владельцам крупных молочных хозяйств. Тетя Доди уверяла, будто они хотят пустить по миру мелких фермеров и нарочно подкупают санинспектора.

Трагедия ее жизни состояла в том, что перед самой свадьбой ее бросил жених. Она так и сказала нам с сестрой:

— Вы слыхали, что мой жених сбежал из-под венца?

Мама строго-настрого запретила нам касаться этой больной темы, а тут пожалуйста — она сама! Мы были на кухне втроем, я с сестрой и тетя Доди: тетя мыла тарелки, я вытирала, а сестренка убирала на полку (мама прилегла отдохнуть). И тетя задала этот вопрос с оттенком гордости, как человек, который мог бы спросить: «Вы слыхали, что я переболел полиомиелитом?» — или похвастаться еще какой-нибудь серьезной и опасной болезнью.

— Представляете, уже испекли свадебный пирог, — продолжала она. — И я надела подвенечное платье.

— Белое? Атласное?

— Нет, не белое, но тоже красивое — темно-красное, из дорогой тонкой шерсти: свадьба-то была поздняя, осенняя. Священника пригласили сюда, домой, все было готово, ждали только жениха. Папаша то и дело выбегал на дорогу посмотреть, не едет ли мой суженый. А потом на дворе совсем стемнело, тогда я встала и говорю: ну все, пора браться за вечернюю дойку! Сняла я свое красное платье, да так больше его и не надела. Отдала кому-то. Другие на моем месте глаза бы выплакали, а я хоть бы что, только смеялась.

Наша мама, рассказывая ту же историю, заканчивала ее иначе: «Года через два я приехала домой и несколько раз ночевала у Доди. И каждую ночь слышала, как она плачет. Каждую ночь».

Я у церкви поджидала молодца,
Жда́ла молодца,
Жда́ла молодца,
А он, обманщик, улизнул из-под венца –
Уж как я тогда горева-а-ла![41]

Тетя Доди спела нам эту песенку, не прекращая мыть посуду. Стол на кухне был круглый, покрытый отскобленной добела клеенкой, а сама кухня большая, как дом, с двумя дверьми, одна напротив другой, так что через кухню всегда продувал ветерок. Холодильник у тети был самодельный — я раньше ничего подобного не видела: просто шкафчик, а в нем большущая глыба льда. Лед она привозила в детской тачке из ледника во дворе. Ледник тоже был очень интересный: глубокий погреб, вырытый в земле, с покатой крышей; там все лето хранился пересыпанный опилками лед,

[41] Сноски: 41
Первая половина припева популярной песни, автором которой был композитор и поэт Фред Ли (наст. имя Уильям Фредерик Бриджер, 1871–1924).

который зимой вырубали из замерзшего озера.

— Только не у церкви я стояла, — уточнила тетя Доди. — Венчаться мы должны были дома.

За полем, на соседней ферме, жил мамин родной брат, дядя Джеймс, и его жена, тетя Лина. У них было восемь человек детей. В этом доме выросла моя мама. Он был больше, чем тети-Додин, и мебели там было намного больше, но снаружи дом тоже был некрашеный, просто обшитый серым тесом. Из мебели имелись кровати — высокие, деревянные, с резными изголовьями и пухлыми перинами. Под кроватями стояли ночные горшки, которые опорожнялись явно не каждый день. Мы с мамой ходили туда одни, без тети Доди. Они с тетей Линой не жаловали друг друга и не разговаривали. Тетя Лина вообще мало с кем разговаривала. По словам моей мамы и тети Доди, дядя Джеймс женился на ней, едва ей минуло шестнадцать, и вытащил ее из захолустья (помню, я задумалась, что такое Холустье и где оно находится). Ко времени нашего приезда они были женаты уже лет десять-двенадцать. Тетя Лина была прямая, высокая и плоская, как доска, сзади и спереди одинаково — притом что к Рождеству она ждала девятого ребенка. Лицо с темными пятнами веснушек, глаза тоже

темные, тревожные, чуть воспаленные, похожие на звериные. Все дети унаследовали глаза от матери: у дяди Джеймса глаза были совсем другие, бледно-голубые, безмятежные.

— Когда твоя мать слегла, — рассказывала тетя Доди нашей маме, — эта идиотка без конца ее дергала. Как сейчас слышу: это полотенце не трогай! Это не бери! Утирайся своим! Она думала, что раком можно заразиться, как корью. Ну что с нее взять? Дура дурой.

— Никогда ей этого не прощу, — отзывалась мама.

— И ребятишек к бабушке близко не подпускала. Пришлось мне самой туда ходить — и мыть больную, и обихаживать. Видела все своими глазами.

— В жизни ей этого не прощу!

Тетя Лина жила в постоянном тревожном напряжении — как я поняла много позже, ее всю жизнь преследовал страх. Она не позволяла детям купаться в озере из страха, что они утонут; зимой не разрешала им кататься с горок на санях из страха, что они свернут себе шею; не разрешала им учиться бегать на коньках из страха, что они переломают ноги и навсегда останутся калеками. И при этом нещадно их колотила

из страха, что они вырастут лентяями, или привыкнут врать, или не научатся бережно обращаться с вещами и будут все ломать и портить. В лени упрекнуть их было нельзя, но с вещами они и правда обращались как попало, сплошь и рядом что-то разбивали и ломали, потому что наперегонки носились по дому и выхватывали все друг у дружки. И разумеется, чуть ли не с пеленок дети привыкли врать. Врали все как один, даже самые маленькие, врали упоенно, изобретательно, часто без всякой надобности, просто для практики, а возможно — и для собственного удовольствия. Все они непрерывно ябедничали и доносили друг на дружку, у всех были свои секреты; между ними то и дело заключались и распадались временные союзы. С малых лет у них проявлялись инстинкты безжалостных, циничных политиков. Когда их пороли, они вопили во весь голос. О сохранении собственного достоинства речь не шла — о нем они давным-давно забыли, а скорее и не догадывались. Надо орать, если мать тебя бьет, иначе она вообще не остановится. Руки у тети Лины были длинные и по-мужски сильные, лицо во время порки принимало выражение глухой безудержной ярости. Но проходило пять минут или три — и дети на-

чисто обо всем забывали. Окажись на их месте я, подобное унижение запомнилось бы мне надолго, может быть, навсегда.

У дяди Джеймса сохранился ирландский акцент, от которого наша мама избавилась полностью, а тетя Доди наполовину. Голос у него особенно теплел, когда он называл детей по имени: Мэ-э-ри, Ро-о-нальд, Ру-у-ти. Он произносил это нараспев, с такой нежной грустью и ласковым укором, словно не понимал, откуда в его жизни взялись детские имена и даже сами дети и не разыгрывает ли его кто-нибудь. Но он никогда не заступался за них, не пытался уберечь от побоев, не противоречил жене. Могло показаться, будто все это его не касается. Могло показаться, что и сама тетя Лина не имеет к нему никакого отношения.

Самый младший из детей спал в одной постели с родителями, пока на свет не появлялся очередной младенец, который занимал его место.

— Твой брат раньше частенько наведывался ко мне, — рассказывала тетя Доди маме. — Нам с ним было что вспомнить, было над чем посмеяться. Поначалу он и ребятишек приводил, то двоих, то троих, потом перестал. И я поняла почему: боялся, что матери наябеднича-

ют. А со временем и сам перестал появляться. В доме-то она всему голова. Но он тоже своего не упустит — согласна?

Вместо ежедневной газеты тетя Доди получала только еженедельную, которая печаталась в городке, где мы сошли с поезда.

— Смотри-ка, тут пишут про Аллена Дюрана! Помнишь, кто это?

— Аллен Дюран? — повторила мама с сомнением в голосе.

— Ну да. Он теперь важный человек в Холстейне[42]. Женился на девице из Вестов.

— А что о нем пишут?

— Что-то в связи с Ассоциацией консерваторов. Держу пари — он рассчитывает, что его выдвинут. Точно, вот увидишь.

Она сидела в старой качалке, скинув башмаки, и посмеивалась. Мама сидела рядом, прислонившись спиной к деревянному столбу, на котором держалась крыша веранды. Они резали стручковую фасоль, чтобы закрутить в банки на зиму.

— Я вспоминаю, как мы его лимонадом напоили, — сказала тетя Доди и, повернувшись ко мне, пояснила: — Он тогда был совсем молоденький,

---

[42] Сноски: 42

Холстейн — город в провинции Онтарио, к северо-западу от Торонто.

приезжал на заработки, проводил у нас на ферме пару недель. Обычный парень, французский канадец.

— Ничего в нем французского не было, кроме фамилии, — сказала мама. — Он и говорить-то по-французски не умел.

— Теперь его не узнать. Он и религию сменил — в нашу церковь ходит, Святого Иоанна.

— Он всегда был неглуп.

— Да уж, это точно. Неглуп-то неглуп, но с лимонадом мы тогда над ним здорово подшутили. Вообрази себе, — тут тетя обратилась ко мне, — разгар лета, жарища несусветная. Нам-то ничего, мы с твоей мамой самую жару могли в доме пересидеть. А вот Аллену приходилось тяжко: он на сеновале вкалывал. Мой папаша возил сено с поля, а растрясать и ворошить должен был Аллен. По-моему, и Джеймса тогда звали помочь.

— Джеймс работал на погрузке, подавал сено снизу, — уточнила мама. — А твой отец нагружал подводу, утрамбовывал и отвозил.

— Вот я и говорю — Аллена определили на сеновал. Ты представить себе не можешь, что там творится в такое пекло. Просто ад кромешный. Вот мы с твоей мамой и решили отнести ему лимонаду. Нет, погоди, я что-то забегаю вперед.

Сперва надо сказать про комбинезон. В середине дня мужчины делали перерыв, и вот, когда все уже садились за стол обедать, подходит ко мне Аллен, протягивает свой рабочий комбинезон и просит его подлатать — что-то там порвалось или по шву разъехалось. Так или иначе, ему с утра до самого обеда пришлось работать в старых брюках от костюма и в рубашке, он чуть не помер. Ну, рубашку-то он, наверно, во время работы мог скинуть. Ясное дело, в комбинезоне способней, все-таки воздух хоть чуть холодит. Видно, парню уже совсем стало невмоготу, если он решился меня попросить, он вообще-то был страшно застенчивый. Это сколько же ему тогда было?

— Семнадцать, — сказала мама.

— А нам с тобой по восемнадцать. Да, точно, ты на другой год уехала учиться. Короче, я взяла его балахон и стала зашивать, там была какая-то ерунда, на пару минут работы. Сижу я за швейной машинкой, там же на кухне, в углу, а ты обед подаешь. И тут меня осенило. Помнишь, я тебя окликнула, попросила подойти подержать мне материю ровно. А на самом деле я хотела тебе показать, что придумала. Только смеяться вслух было нельзя, мы даже переглянуться боялись —

помнишь?

— Помню, помню.

— Потому что я надумала… зашить ему ширинку! Наглухо! Ну вот, все отобедали, снова взялись за работу, и тут нам пришла в голову идея насчет лимонада. Приготовили мы целых два ведра. Одно отнесли мужчинам на покос — поставили под дерево и крикнули им, чтобы пили, — а со вторым поднялись на сеновал и вручили Аллену. На этот лимонад мы извели все лимоны, какие были в доме, и еще уксуса добавили для крепости. Но даже если вышло слишком кисло, он бы все равно не заметил, до того ему хотелось пить. В жизни не видела человека, у которого была бы такая зверская жажда. Он зачерпывал ковшик за ковшиком, выпивал одним глотком, а под конец поднял ведро, запрокинул голову и допил все до дна, до последней капельки. А мы обе стояли и смотрели. И как мы только удержались, ничем себя не выдали?

— Ума не приложу, — откликнулась мама.

— Так вот, забрали мы пустое ведро, отнесли домой, выждали пару минут, а потом тихонько прокрались и спрятались в сарае рядом с сеновалом. Там тоже было пекло, не знаю, как мы не задохнулись. Короче говоря, уселись мы

на мешки с комбикормом, вплотную к стене, нашли себе каждая по щелочке между досок или по дырке от сучка и давай смотреть во все глаза. Мы знали, что по малой нужде мужчины ходят в один и тот же угол амбара. Там к стене был приколочен желоб для дождя, вот они им и пользовались — это если работали наверху. А когда работали внизу, в коровнике, то скорее всего писали прямо в канаву для навоза. И вот проходит несколько минут — смотрим, Аллен направляется в тот самый угол. Бросил вилы и прямиком шагает в ту сторону, а рукой держится за причинное место. С нас обеих пот лил ручьем — и жара, и смех душит, а смеяться-то нельзя. Такие две заразы бессердечные! Аллен поначалу не особо спешил, но потом его, видать, совсем приперло, невтерпеж стало. Он засуетился, стал тянуть, дергать туда-сюда, никак не возьмет в толк, что́ там заело. Но я сработала на совесть, застрочила все крепко-накрепко. Кстати, как ты думаешь, когда до него наконец дошло?

— Думаю, быстро. Он ведь был не дурак.

— Да уж, ума ему было не занимать. Сообразил, что к чему, понял, чьи это проделки: не зря его девчонки лимонадом поили! Только одного

не мог предположить: что мы спрячемся в сарае и будем оттуда шпионить за ним. Иначе он бы, наверно, не посмел.

— Точно бы не посмел, — решительно подтвердила мама.

— А впрочем… кто его знает? Может, он просто до ручки дошел, когда уже на все плевать. Короче, рванул он на себе этот несчастный комбинезон, содрал его к чертовой бабушке — и такую струю пустил! А нам открылась вся картина.

— Неправда! Он к нам спиной стоял!

— Нетушки. Не спиной, а вполоборота. И все его хозяйство оказалось на виду. Целиком и полностью. Все как на ладони.

— Что-то я не помню…

— А я так очень даже помню. Такое не скоро забудешь.

— Доди! — укоризненно сказала мама, хотя, честно говоря, с предупреждением она безнадежно опоздала. (У нее было еще одно любимое присловье: «Я не выношу непристойностей».)

— Да уж помолчала бы! Что ж ты сидела, как приклеенная? Тебя силком было не оттащить от стенки!

Мама переводила взгляд с тети Доди на меня и обратно, и на лице у нее появилось непривыч-

ное выражение беспомощности. Она изо всех сил старалась подавить смех, но было видно: еще чуть-чуть — она не выдержит и расхохочется.

Начало болезни мало заметно; могут пройти годы, прежде чем пациент или его близкие обратят внимание на признаки недомогания. Болезнь выражается в постепенном повышении мышечного тонуса (естественного напряжения), сопровождающемся дрожанием головы и конечностей. Наблюдаются также тик, подергивание, мышечные спазмы и другие неконтролируемые симптомы. Слюноотделение увеличивается, нередко отмечается слюнотечение из углов рта. Научное название болезни — paralysis agitans; более известна как болезнь Паркинсона, или дрожательный паралич. Типичным для болезни является дрожание, начинающееся с пальцев рук и переходящее на всю руку, затем на ногу с той же стороны, позднее на другую руку и ногу. Лицо теряет обычную подвижность, мимика ослабевает или исчезает полностью, лицо становится маскообразным. Болезнь поражает по преимуществу людей пожилого возраста, от шестидесяти лет и старше. Случаи полного выздоровления неизвестны. Лечение симптоматическое, проводится с целью устранить или уменьшить дрожание

и чрезмерное слюноотделение. Однако стойкого эффекта лекарственная терапия не дает. («Энциклопедия медицины и здоровья Фишбейна».)

В то лето маме было едва за сорок, сорок один или сорок два, примерно столько же, сколько сейчас мне самой. И у нее только начиналось это самое дрожание. Дрожали в основном пальцы левой руки, меньше сама рука, от кисти до локтя. Большой палец все время постукивал по ладони. Мама пыталась спрятать его, складывала пальцы в кулак, а локоть поплотнее прижимала к телу.

После ужина дядя Джеймс пил портер — темное пиво, чуть горьковатое на вкус: он и мне дал попробовать. Тут я нашла еще одно противоречие. Мама мне когда-то говорила: «Перед тем как выйти замуж, я взяла с твоего отца обещание, что он капли в рот не возьмет. И он свое слово сдержал». Но муж — одно, а брат — совсем другое, так что дядя Джеймс мог пить в свое удовольствие и ни перед кем не отчитываться.

В субботу мы всей компанией съездили в город: мама и сестренка с тетей Доди в ее машине, а меня посадили в машину к дяде Джеймсу, вместе с тетей Линой и всеми их отпрысками. Дети немедленно предъявили на меня свои права.

Я была уже большая девочка, старше их всех, и они наперебой соперничали за мое внимание, как за военный трофей, толкаясь и перекрикивая друг дружку.

Автомобиль у дяди Джеймса был большой, старый, с квадратной крышей, как тети-Додин. По дороге домой всем стало жарко, пришлось опустить оконные стекла, и тут дядя Джеймс вдруг запел.

Голос у него был замечательный — печальный, задушевный. Как сейчас помню мелодию песни и самый звук дядиного голоса, разносившийся далеко в темноту. Но слова в памяти не удержались. Остались отдельные, не связанные между собой отрывки, хотя я много раз пробовала вспомнить всю песню — так она мне тогда понравилась. Кажется, вначале говорилось про какие-то горы, где бродит герой, потом шла жалоба — его за что-то посадили в тюрьму, а под конец перечислялись разные людские пристрастия: кому-то по нраву одно, кому-то другое… Самые последние строчки звучали решительно, но в то же время грустновато:

Один рыбак, другой игрок, у третьих бой в чести,

А мне милее вечерок за кружкой провести.

В машине, пока он пел, стояла тишина. Ребята перестали ерзать и получать подзатыльники, кое-кто успел задремать. Тетя Лина с грудным младенцем на коленях превратилась в безмолвный темный силуэт. Автомобиль несся вперед, подпрыгивая на рытвинах, и казалось, что дороге нет конца, что мы будем ехать и ехать в полной тьме, видя перед собой только зыбкую полосу света от фар. На дорогу внезапно выскочил кролик и тут же пустился наутек, но никто не крикнул, не свистнул ему вслед, никто не посмел прервать песню, нарушить ее нежную, унывную печаль:

А мне милее вечерок за кружкой провести...[43]

В церковь мы приехали загодя, потому что хотели успеть зайти на кладбище. Церковь Святого Иоанна была недалеко от шоссе — белая, деревянная, а за ней церковный погост. Мы постояли

---

[43] Сноски: 43

Имеется в виду старинная ирландская народная песня; существует в нескольких вариантах, с упоминанием различных географических названий и с разными припевами. Герой — разбойник, который ограбил правительственного чиновника и за это попал в тюрьму; он бежит из заключения и мечтает вернуться к красивой жизни. Здесь приводится концовка песни.

у двух могильных плит; на одной сверху было написано «Мать», на другой «Отец», а ниже шли имена и даты жизни покойных маминых родителей. Две небольшие плоские плиты, наполовину скрытые травой, напоминали каменные плитки, которыми мостят улицы.

Мы с сестренкой пошли дальше и обнаружили памятники поинтереснее — траурные урны, фигуры в молитвенных позах, барельефы с изображением ангелов.

Вскоре к нам присоединились и мама с тетей Доди. Тетя Доди махнула рукой в сторону пышных надгробий:

— Кому нужны все эти финтифлюшки?

Сестренка, которая в то время училась читать, стала разбирать надписи на памятниках: *Придет день… Не умер, но почил… In расет…*[44]

— А что значит *расет*?

— Это латынь, — уважительно пояснила мама.

— Я знаю одно: люди хотят перещеголять друг друга, платят огромные деньги, а потом годами не могут с долгами развязаться. Многие еще участок под могилу не успели выкупить, а за сам памятник выплачивать вообще не начинали.

---

[44] Сноски: 44

Прав. in pace — часть распространенной надгробной надписи: requiescat in pace — да покоится с миром *(лат.).*

Вот взгляни-ка на это чудо.

И она указала пальцем на огромный гранитный куб, серовато-синий, с белыми вкраплениями, как на эмалированной кастрюле. Он каким-то непостижимым образом держался на одном углу.

— Современный стиль, — рассеянно заметила мама.

— Вдова Дейва Маккола поставила. Утес, а не могильный камень. Кстати, ее предупредили: если срочно не рассчитается за землю, останки выкопают и выкинут прямо на шоссе.

— Разве это по-христиански? — возмутилась мама.

— Кое-кто христианского обращения не заслуживает, вот что я тебе скажу.

И тут я почувствовала, что у меня под платьем лопнула резинка от трусиков. Я еле успела подхватить их руками — на бедрах они бы не удержались, бедер у меня тогда практически не было.

— У тебя есть английская булавка? — сердито шепнула я маме.

— Зачем тебе английская булавка? — поинтересовалась мама — и не шепотом, а в полный голос, даже громче обычного. Увы, в подобных ситуаци-

ях мама вела себя на удивление бестактно.

Я молчала и только кидала на нее испуганные, умоляющие взгляды.

— У нее, наверно, резинка на трусах лопнула! — со смехом предположила тетя Доди.

— Действительно лопнула? — строго спросила мама, по-прежнему не понижая голоса.

— Да.

— Ну так сними их совсем!

— Только не здесь, — вмешалась тетя Доди. — Сбегай в уборную.

За церковью, как на задах сельской школы, стояли два деревянных домика известного назначения.

— Но тогда же на мне ничего не будет! — вознегодовала я. Как можно войти в церковь в нарядном платье из голубой тафты — и без трусиков?! Сесть на церковную скамью, прямо на прохладные доски, потом вставать, когда начнут петь гимны, садиться снова — и все это без трусов? Стыд-то какой!

Тем временем тетя Доди рылась у себя в сумочке.

— Я бы тебя выручила, одолжила булавку, да вот нету у меня ни одной. Давай беги быстренько, сними их от греха подальше, никто

ничего не заметит. Хорошо хоть ветра сегодня нет.

Я упрямо стояла и не двигалась с места.

— Вообще-то булавка у меня есть, — сказала мама с сомнением в голосе. — Но она мне самой нужна. Я утром торопилась одеться, одна бретелька на комбинации оборвалась, я ее приколола булавкой. И как же я теперь отколю?

В то воскресенье на маме было платье из тонкой, почти прозрачной светло-серой материи в мелкий цветочек — цветочки на светлом фоне казались выпуклыми, как вышитые, — а под низ она надела комбинацию, тоже серенькую, чтобы платье не просвечивало. Шляпка на ней была бледно-розовая, украшенная искусственными розочками под цвет самой шляпки. Длинные перчатки были тоже розовые, а туфли белые, с открытыми носами. Весь этот праздничный убор мама привезла с собой из дома и, я думаю, долго и тщательно подбирала одно к другому, чтобы появиться в знакомой церкви при полном параде. Может быть, ей заранее виделось вот такое солнечное воскресное утро и слышался перезвон колоколов, которые в эту минуту звонили над нами. Должно быть, она все спланировала заблаговременно, представила, какое впечатле-

ние произведет: я сама теперь нередко планирую свой выход «в свет», прикидываю, что лучше надеть и как я буду выглядеть.

— Понимаешь, не могу я просто взять и отколоть булавку: комбинация вылезет из-под платья, неудобно.

— Народ уже заходит в церковь, — напомнила тетя Доди.

— Не упрямься, добеги до туалета, сними ты эти несчастные трусики. А нет, так иди посиди в машине, подожди, пока кончится служба.

Я повернулась и направилась к машине. Но не успела я пройти и полдороги до ворот, как мама меня окликнула и сделала знак идти за ней. Мы вместе закрылись в деревянной уборной, и там, не говоря ни слова, она просунула руку под ворот платья, отстегнула булавку и подала мне. Я была так поглощена своей бедой и так уверена в законности своих требований, что даже спасибо ей не сказала, а просто повернулась спиной и дрожащими руками сколола верхний край трусиков. Мама вышла наружу, я за ней, мы обогнули церковь и заспешили к главному входу. И все равно опоздали: люди уже успели зайти внутрь. Пришлось ждать, пока церковный хор в полном составе, в сопровожде-

нии священника, чинно проследует по проходу между рядами скамей.

Наконец певчие заняли свои места, священник повернулся к прихожанам, и тут мама решительно двинулась вперед, к тому месту, где сидели тетя Доди и моя сестренка. Торопясь следом за мамой, я заметила, что серая комбинашка с одного боку торчит из-под платья на добрых полдюйма. Это и правда выглядело неряшливо.

После службы мама встала и повернулась ко всем. Завязался оживленный разговор. Люди спрашивали, как зовут меня и сестренку, спорили, кто из нас больше похож на маму; один дяденька заметил: «А вот эта девчушка в свою бабку пошла!» Спрашивали, сколько лет мне, сколько сестре, в каком я классе учусь, скоро ли в школу младшей. Когда этот вопрос задали ей самой, она под общий смех заявила: «Я в школу ходить не буду!» (Ее слова вообще часто принимали за шутку, хотя она вовсе не думала шутить, а просто не по возрасту самоуверенно высказывалась на разные темы, не всегда понимая, о чем речь. И сейчас она всерьез считала, что ходить в школу ей не придется: ближайшую к нам начальную школу недавно снесли, и мы еще не успели объяснить сестренке, что она будет

ездить на автобусе в другую.)

Раза два-три незнакомые обращались ко мне: «Угадай-ка, кто меня учил, когда я сам в школу ходил? Твоя мама!»

— Лично меня она мало чему смогла научить, — признался какой-то потный дядька, с которым маме явно не хотелось здороваться за руку, — но одно скажу: такой красивой учителки у меня в жизни не было!

— Ну как? Заметна была комбинация?

— Нет, конечно. Тебя же спинка скамейки заслоняла.

— А раньше? Когда я по проходу шла?

— Никто ничего не заметил, успокойся. Все стояли лицом к алтарю и пели.

— Все-таки кто-то мог…

— Да брось ты. Меня другое удивило: почему Аллен Дюран не подошел, не поздоровался хотя бы?

— А он там был?

— Ты что, не видела? Сидел на семейной скамейке Вестов, прямо под новым витражом, они его подарили церкви в память о жениных родителях.

— Нет, не видела. И жена с ним была?

— А как же! Ее-то трудно было не заметить.

Разодета в пух и прах. Вся в голубом, а шляпа что у телеги колесо. Кстати, и ты сегодня здорово прифрантилась — любой дашь сто очков вперед!

Сама тетя Доди тоже принарядилась: на голову водрузила темно-синюю соломенную шляпу с поникшими матерчатыми цветами и надела свое лучшее платье из искусственного шелка с застежкой спереди.

— Может быть, он меня не узнал. Или просто не заметил.

— Как он мог тебя не заметить? Ты что?

— Ну мало ли…

— Прямо красавец стал, такой высокий, статный. Если идешь в политику, на внешность смотрят первым делом. Особенно на рост. Коротышек на важные посты не выбирают.

— А Маккензи Кинга[45] забыла?

— Я имею в виду здешних политиков, местных. Между прочим, если бы Маккензи Кинг выдвигался в наших округах, мы бы его нипочем не выбрали.

— У твоей мамы был удар. Небольшой.

---

[45] Сноски: 45

Уильям Лайон Маккензи Кинг (1874–1950) дважды был премьер-министром Канады (с 1921 по 1930 г. и с 1935 по 1948 г.). Особую популярность — несмотря на невысокий рост — он приобрел во время Второй мировой войны.

Она не признаётся, но я-то вижу. У меня глаз наметан. Не с ней первой такое приключается. Удар небольшой, это верно, но он может повториться — и раз, и второй. А в один прекрасный день глядишь — и хватит настоящий удар. И тогда, учти, тебе придется самой за ней ходить, как за ребенком. У меня так и было. Моя мать слегла, когда мне было десять. А умерла, когда мне стукнуло пятнадцать. И за эти пять лет чего я только с ней не натерпелась! Ее всю раздуло по-страшному, у нее была такая хворь — водянка. Один раз со «скорой» приехали, так из нее прямо ведрами откачивали.

— Что откачивали?

– *Жидкость*. Она старалась по силе возможности сидеть, часами просиживала в кресле, ложилась, когда делалось совсем невмоготу. А лежать надо было все время на правом боку, чтобы жидкость ей на сердце не давила. Разве это жизнь? У нее начались пролежни, мучилась она просто ужасно. И один раз утром попросила: Доди, пожалуйста, поверни меня на другой бок, не могу я больше лежать на одном, поверни хоть ненадолго, устала, мочи нет. Уж так она меня просила, умоляла. Ну, я и уступила. Взяла ее за плечи, с трудом сдвинула — она была тяжеленная,

неподъемная. Повернула я ее, положила на левый бок, где сердце, — и в тот же миг она умерла. Ну и чего ты плачешь, дурочка? Я не хотела тебя расстраивать. Выходит, ты еще маленькая и глупая, если боишься слушать про жизнь.

Она смеялась надо мной, пыталась меня развеселить. А я молча смотрела на ее смуглое, с резкими чертами лицо, на широко раскрытые, пылавшие горячечным огнем глаза. Голову она в тот день повязала разноцветной косынкой и внезапно показалась мне похожей на цыганку: коварная и обольстительная, она грозилась обрушить на меня тайны, справиться с которыми мне было бы тогда не по плечу.

— Мам, у тебя был удар? — спросила я угрюмо.

— Что?

— Тетя Доди говорит, что у тебя был удар.

— Да ничего подобного. Я же ей объясняла. И доктор подтвердил: не было никакого удара. А твоя тетя Доди — она все знает лучше всех. Разбирается лучше любого доктора.

— А когда-нибудь потом у тебя будет удар?

— С какой стати? У меня давление низкое, а удары случаются при высоком давлении.

— А чем-нибудь еще ты не можешь заболеть? — продолжала я допытываться. Я обрадовалась,

что удар маме не грозит, и сразу успокоилась: значит, мне не придется за ней ходить, как за ребенком, мыть ее, обтирать, кормить с ложечки прямо в постели, как было у тети Доди с ее матерью. Во мне всегда сидела уверенность, что мама все решает сама и самостоятельно может выбрать, чем ей болеть. И всю ее жизнь, до последнего дня, наблюдая за происходившими в ней переменами, услышав медицинский диагноз ее недуга, я пребывала в убеждении, что она сама дала согласие, сама сделала выбор. Из каких-то своих соображений. Не знаю, что именно ею руководило. Желание порисоваться? Кого-то проучить? Или просто хотелось заставить всех теряться в догадках?

На мой вопрос в тот день она не ответила и продолжала как ни в чем не бывало идти вперед. Мы шли от дома тети Доди к дяде Джеймсу — шли короткой дорогой, через пастбище, изрытое коровьими копытами: так можно было добраться быстрее.

— А рука у тебя перестанет дрожать? — не унималась я, отчаянно добиваясь ответа. Я надеялась, что она обернется и пообещает сделать так, как я прошу.

Но она не обернулась. Она осталась непреклон-

на, впервые в жизни не пожелала мне уступить. И по-прежнему шагала вперед, словно и не слышала моих слов. Знакомая до мелочей мамина фигура вдруг начала отдаляться, отделяться от меня, постепенно темнея, теряя очертания, превращаясь во что-то чужое, безразличное. Но в то же время я видела, что мама продолжает идти по тропинке, которую они с тетей Доди протоптали через пастбище еще девчонками, когда вместе росли и постоянно бегали друг к дружке. Удивительно, что за столько лет она не заросла.

Однажды вечером мама с тетей Доди сидели на веранде и вспоминали стихи, которые учили в школе. Не помню, с чего все началось; вероятно, кто-то вспомнил известную хрестоматийную строчку, кто-то другой подхватил… Дядя Джеймс тоже присутствовал — стоял, прислонившись к перилам, и курил трубку. По случаю нашего визита он нарушил запрет и пришел сам.

И смерти нет почетней той, –

продекламировала тетя Доди бодрым голосом, –

Чем ты принять готов
За пепел пращуров твоих,

За храм твоих богов[46].

Так целый день гром битвы грохотал, –

продолжила мама, –

У моря зимнего, среди холмов…[47]

Не бил барабан перед смутным полком,

Когда мы вождя хоронили,

И труп не с ружейным прощальным огнем

Мы в недра земли опустили[48].

…Я уплываю с ними

На остров Авалон средь теплых вод,

Где нет ни града, ни дождя, ни снега…[49]

---

[46] Сноски: 46

Томас Бабингтон Маколей (1800–1859). Гораций. Из книги стихов «Песни Древнего Рима» (анонимный русский перевод).

[47] Сноски: 47

Альфред Теннисон (1809–1892). Смерть Артура. Из цикла «Королевские идиллии» (перевод Светланы Лихачевой).

[48] Сноски: 48

Чарльз Вольф (1791–1823). На погребение английского генерала сира Джона Мура (перевод Ивана Козлова).

[49] Сноски: 49

Строки из стихотворения «Смерть Артура» (перевод Григория Кружкова). Остров Авалон упоминается в кельтских легендах; по преданию, там покоится прах короля Артура.

Тут мамин голос подозрительно дрогнул, и я обрадовалась, когда тетя Доди ее перебила:

— Боже, до чего они печальные, все эти стихи из старых школьных учебников!

— А я что-то ничего оттуда не помню, — заметил дядя Джеймс. — Хотя, пожалуй… — И тут же прочел без запинки:

Оделась роща за рекой
В багряный с золотом наряд,
И крики сойки день-деньской
В притихшем воздухе звучат.

— Молодец! — похвалила его тетя Доди, и все трое — она, мама и дядя Джеймс — хором закончили:

Тускнеет солнце, вянет луг,
Туман клубится вдоль болот,
И стаи птиц, спеша на юг,
Вершат осенний перелет[50].

— По правде говоря, тут тоже чувствуется какая-то печаль, — подвела итог тетя Доди.

---

[50] Сноски: 50

Уильям Уилфред Кэмпбелл (1860–1918). Бабье лето. Здесь приводятся первая и последняя строфы хрестоматийного стихотворения популярного канадского поэта.

Если бы я задалась целью сочинить рассказ по всем правилам, то скорее всего закончила бы эпизодом на пастбище, когда мама не удостоила меня ответом, а просто шла и шла вперед. Тут бы и поставить точку. Но мне хотелось вспомнить как можно больше, отыскать какие-то отгадки, порыться в памяти, вытащить на свет все, что хранилось там все эти годы. И теперь, бросая последний взгляд на то, что получилось, я вижу набор моментальных снимков, сделанных старым фотоаппаратом, какой был у моих родителей: на коричневатом фоне, с фестончиками по краям. На этих снимках все семейство — и тетя Доди, и дядя Джеймс, и даже тетя Лина с ребятишками — получилось вполне узнаваемо. (Все они уже на том свете, кроме детей, которые, кстати, выросли порядочными, работящими людьми: насколько мне известно, среди них нет ни преступников, ни неврастеников.) Осталась одна-единственная загадка: моя мама. А мне, разумеется, важнее всего именно она. Разобраться, *добраться* до нее — это и была цель моего долгого путешествия в прошлое. Чего я хотела? Отделить ее от других, описать, высветить, воспеть — и наконец избавиться от памяти о ней. Но у меня ничего не вышло: она по-прежнему

на первом плане, она, как раньше, заслоняет и оттесняет всех, подавляет всё и вся своей тяжестью. И в то же время ее трудно рассмотреть, контуры размываются, тают. И я понимаю: она не утратила связь со мной, она не желает меня отпускать, и я могу сколько угодно биться, использовать все испытанные приемы, изобретать все новые и новые уловки — и ничего не изменится, все останется так же, как было.